



П. ЖУРБА

Александр
Матросов

ДЕТГИЗ · 1958



П. ЖУРБА

Александр
Матросов

П о в е с т ь



Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Ленинград 1958

Рисунки Ю. Непринцева

Оформление В. Ветрогонского

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ, ДОПОЛНЕННОЕ

В книге рассказывается о жизни и бессмертном подвиге Героя Советского Союза — гвардии рядового — Александра Матросова. Создавая эту повесть, ленинградский писатель Павел Терентьевич Журба опирался на факты биографии, документальные материалы. Писатель побывал на родине героя — в городе Днепропетровске, в Уфимской трудовой колонии, в полку, где служил Матросов.

П. Т. Журба прошел весь двухсоткилометровый путь, который зимой 1943 года проделал Матросов со своим полком. В глубоком снегу, по болотам и непроходимым лесным чащам двигался полк к исходному боевому рубежу. Много дали писателю встречи с людьми, близко знавшими Сашу Матросова, — воспитателем Трофимом Денисовичем, который, отвоевав, вернулся в колонию; учительницей Лидией Власьевной (она и поныне работает там), другом Матросова — Виктором Чайкой (он сам стал воспитателем в той колонии); замполитом капитаном Климских. В книге правдиво показан жизненный путь Александра Матросова, светлый образ которого будет вечно служить примером бесстрашия и беззаветной любви к Родине.

Отзывы и пожелания о книге присылайте по адресу: Ленинград, наб. Кутузова, 6. Дом детской книги Детгиза.

Часть первая



Глава I

АЛМАЗНАЯ ГОРА

Скорый поезд «Москва — Севастополь» остановился утром на станции Запорожье. Веселые пассажиры, едущие на крымские курорты, сразу заполнили перрон, залитый щедрым августовским солнцем. После вагонной духоты приятно подышать свежим воздухом, напоенным запахами ночной фиалки, душистого табака, петунии. На привокзальной площади гремел духовой оркестр. Там встречали или провожали очередную партию строителей Днепрогэса.

В ящике под вагоном чуть приоткрылась дверца. Никто не подозревал, что и в этом тесном ящике может быть пассажир. Показалась всклоченная голова, черное, запыленное лицо мальчика-оборвыша, настороженно блеснули голубые глаза.

Оглядевшись, он быстро выпрыгнул из ящика. В растегнутом рваном, не по росту большом, ватнике хлопчик юркнул под вагон. Рукавом мазнул по лицу, стирая пыль, но лицо чище не стало.

Он подошел к ящику следующего вагона и тихо окликнул:

— Тимошка, живой?

— Та трошки живой, — послышался тонкий хриплый голос. — Только дышать нечем. В глотку пылига набилась. Просто погибаю. Пить дай, Сашка!

— Ладно, принесу. Не вылазь, а то отстанем.

Сашка выбрался из-под вагона, отряхнул одежду и, щуря на солнце глаза, пошел искать воду.

Ночью посадил он в ящик дружка и считал себя ответственным за его удобства и благополучие. Жалобу Тимошки он принял равнодушно. Он и сам задыхался в дороге от пыли в таком же проклятом ящике; глаза на лоб лезли от страшного грохота колес и тряски. Вихрь, бушующий под вагоном, казалось, вот-вот сорвет его — и тогда конец. Что поделаешь? Надо же терпеть и некоторые неудобства, если мечтаешь чуть ли не о кругосветном путешествии.

Хорошо разгуливать по станции этим беспечным пассажирам: веселятся, на курорт едут. А у бездомных Тимошки и Сашки много тревог и забот. Решено разыскать где-то на Памире Алмазную гору с ее сокровищами. Но прежде чем пуститься в это далекое рискованное путешествие, рассудительный Тимошка предложил «по пути» заехать в Крым: там много санаториев, садов и виноградников, где можно подкормиться; там его дядя работает каким-то морским начальником, может устроить их на любой пароход. На худой конец в теплом Крыму и перезимовать легче. Вот и решили друзья ехать в Крым. Но легко сказать — решили! У них не было ни гроша.

Когда Сашка собирался бежать из детского дома, эта беспокойная жизнь представлялась ему совсем иной. Он хотел стать вольным, как ветер степной, как птица: куда захотел, туда и пошел, что захотел, то и сделал. Но в первые же дни после побега, наголодавшись, он заколебался: не вернуться ли в детдом? Там он был сыт, чисто одет, спал в чистой постели. По вечерам в красном уголке всегда было весело. Неплохо жилось в детдоме! Но как только Сашка вспоминал директора с прокуренными порыжевшими усами, сразу ожесточался. Он не мог забыть непростительную обиду: «Не поверил моему честному слову Плук (так за глаза звали ребята Петра Лукича), опозорил перед всеми ребятами на линейке. Нет, с голоду помру, а ни за что не вернусь!»

Сашка жадно вдыхал свежий воздух. Все его тело, избитое о стенки тесного ящика, было в синяках и болело. Во рту сухо и горько. Язык от пыли шершав, как суконка. Нетерпеливо сжимал он рукой в кармане ватника ржавую консервную банку, из которой всласть напьется сам и напоит дружка. Наслаждаясь чистым воз-

духом и думая о своем трудном путешествии, он шел по перрону, не обращая внимания на людей. Он даже немного зазевался, завидуя грачам, которые с беззаботной веселостью перекликались на верхушках привокзальных тополей и кленов. Внезапно его окликнули.

— Сашка, ты?

Он обернулся. Этого еще не доставало! К нему подбежала знакомая смуглая девчонка. Ну да, Людка Чижова, с которой в детдоме он часто вместе рисовал, играл в жмурки в последний детдомовский вечер. Но теперь эта встреча так нестати.

— Ой, Сашечка, до чего ж я рада, что встретила! — щебетала она. Ей всегда нравился этот прямой, бесхитростый хлопчик. И сейчас в глазах ее черных, как спелые вишни, горела неподдельная радость.

Сашка поверил в искренность ее слов и хотел уже протянуть ей руку, которой растерянно сжимал в кармане консервную банку.

Но Людка, разглядев сухие травинки и соломинки в пропыленных и сбившихся волосах Сашки, его замызганный ватник, с дырами, прожженными у костров, матросскую тельняшку, испачканную так, что трудно различить синие и белые полосы, испортила дело:

— Ой, Сашечка, ой, лышечко, чего ж ты стал такой... — начала она и запнулась.

Но Сашка понял по ее взгляду: «Грязный» — хотела она сказать.

— Никакого «лышечка» нету, — резко ответил он и с деланным пренебрежением взглянул на ее белоснежную блузку, на шелковый алый галстук. — Как хочу, так и делаю. Это вы, как те курчата, любите под крылышком...

Неприятна ему эта неожиданная встреча. Хотелось провалиться сквозь землю, чтобы не смотреть в глаза этой чистенькой девчонке. «Подумаешь, воображает! Так и дурак сумеет путешествовать. А попробуй, как мы с Тимошкой, тогда и узнаешь, почем фунт лиха». Боясь привлечь внимание милиционера, Сашка хотел убежать, но Люда спросила:

— Ты, может, есть хочешь? — И протянула большую грушу-медовку. — Бери, у нас много!

От голода и приятного запаха груши у хлопчика заняло в желудке, но он отвернулся.

— Отстань, я не голодный. Я пирожных, может, объелся.

— А я круглая отличница, — похвасталась Людка. — Еду с ребятами в Артек. А ты, вижу, не отличник!

Сашку даже передернуло от этих слов. Отличник! Девчонка явно издевается! Он гордо выпрямился:

— Езжай себе в Артек да не суйся не в свое дело!

Вдруг по перрону стрелой промчался такой же испачканный, как Сашка, беспризорник, крича на бегу:

— Атанда!

Сашка увидел, как милиционер и проводник открывали ящик под вагоном, и тоже побежал, крикнув:

— Тимошка, вылазь!

Но было поздно. Прозвенел станционный колокол. Люди поспешили в вагоны. Сашка из-за пакугаза смотрел на уходящий поезд, и сердце его сжималось от досады: отстал! Что же с Тимошкой? Уехал он или его поймали милиционеры?

На станцию возвращаться Сашка боялся — поймут. Там одного беспризорного милиционеры уже задержали. Сашка предусмотрительно спрятался за кучи каменного угля и стал наблюдать, что делается на станции.

А все из-за Людки... Замешкался...

Накаленный солнцем уголь жег босые ноги, а Сашка все смотрел, — не покажется ли Тимошка.

Когда перрон опустел, Сашка снова пробрался на станцию. Озираясь по сторонам, обшарил все углы, но Тимошки так и не нашел.

Куда теперь податься вольному, как ветер, Сашке? В этом городе, видно, беспризорникам не житье. С поездов их снимают и на станции ловят.

Увидел через окно в буфете разную соблазнительную еду, и его даже затошнило от голода. Где добыть хоть заваливший сухарь? Если попросить, в городе, конечно, ему подадут что-нибудь съестное. Но просить стыдно, а главное — поймать могут.

Он уже знал, что в летнюю пору безопаснее всего и вдоволь можно подкормиться на колхозных огородах, бахчах и в садах. В колхозе скорее и подадут что-нибудь. А колхозные угодыя начинаются сразу за городом.

Сашка с предосторожностями в порожних грузовиках выбрался за город и побрел по берегу Днепра.

Глава II

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

Вскоре шумный город остался далеко позади. Тропка тянулась по берегу реки, то изрытому буераками, то поросшему колючей дерезой, кустарником. Голубая ширь Днепра почти недвижна, только вспыхивали на воде сверкающие солнечные блики. На курганах лениво кивали белые султаны ковыля. Порой ветерок доносил запахи истомленных зноем чебреца, шалфея и полыни. Все шире открывалась бескрайняя степь, уходящая в белесую дрожащую мглу горизонта. Сашка раньше часто мечтал о таком раздолье в степи, где когда-то запорожцы и кочевники, как буря, проносились на своих низкорослых лошадках. А теперь ему грустно и одиноко в этих необъятных степных просторах.

Накаленная солнцем земля жгла босые ноги. Он не раз уже припадал к студеным криницам,¹ вырытым на берегу, видно пастухами, и жадно пил.

Еще сильнее томил голод. Сашка пробовал есть травы. Знал, что стебли копыря, козельца, листья конского щавеля съедобны. Но теперь, в конце лета, стебли копыря и козельца жестки, как веревка, а конский щавель шершав и горек.

Тоска по Тимошке все больше щемит сердце. Где он

¹ К р и н и ц а — родник, колодец.

теперь? Что с ним? И, главное, как теперь быть без него и куда податься?

Неужели, и правда, он теперь пропащий, как говорила о таких, как он, покойная бабуся? И в самом деле, утони он тут в Днепре — никто и не вспомнит. Один-одинешенек на всем свете.

А разве он виноват, что папку его убили? Бабуся говорила: в Днепропетровске на металлургическом заводе отца уважали. Лучший горновой был. Потому партия и послала его в самое трудное глухое степное село помогать крестьянам объединяться в колхозы. Куркули¹ за это и убили отца. А через два года умерла и мать. С горя умерла, говорила бабуся. Вот и остались они вдвоем. А как много интересных сказок знала бабуся! Век бы слушал. И про гусей-лебедей и про бабу-ягу. И про дудочку-сопилочку, что выросла на могиле матери и все пела про ее жизнь. А когда ходили смотреть на Днепровое половодье, бабуся рассказывала про его отчаянного прадеда — днепровского лощмана, который не боялся самых бурных речных порогов и даже царских жандармов не боялся. Тогда и захотелось ему, Сашке, стать матросом, смелым и сильным, как прадед. Бежав из детдома, он первым делом обзавелся матросской тельняшкой. А когда бабуся провожала его в школу, приговаривала: «Хорошо, Сашуля, учись — человеком будешь...»

Эх, бабуся, прости-прости твоего Сашулю! Не выполнил твой завет, спознался с босяками...

Когда заболела бабушка и, видно, чуя свою смерть, все гладила его по голове обеими руками и приговаривала: «Сироту, как траву по дороге, притопчет кто хочет. А ты, Сашуля, не гнись. Не старое время, чтоб гнуться. Наступили на тебя, а ты не поддавайся!» Он и не поддавался. Когда хоронили бабуся, часто сдавливали ему горло будто железной рукой, а он не плакал. И директору детдома не поддался, сбежал куда глаза глядят...

Почему ты решил, Плук, что именно Сашка взял мед, и почему не поверил честному слову? Не раз думал об этом Сашка, ночуя где-нибудь под базарным ларем.

Хорошо, что встретился с Тимошкой. С ним сразу

¹ Кулаки.

стало веселее и легче. А как впервые познакомились,— даже и теперь смешно вспомнить. Сашка бродил по городскому базару голодный и злой. Просить он еще стеснялся, а красть не умел. И вдруг его внимание привлекла странная картина. Смешной, веснушчатый, с кудрявой огненно-рыжей головой хлопчик лет десяти сидел на пригорке и баюкал завернутого в тряпье ребенка, хлопая его по задку и припадая к нему лицом. Ребенок, надрываясь, кричал: «Уа-а-а-а, у-а-а-а». И когда на минуту, будто захлебнувшись, затихал, хлопчик обращал к собравшимся вокруг людям мокрые от слез глаза и просил подать на молочко сиротке.

Люди щедро бросали в шапку деньги.

Сашка смотрел с завистью на рыжего оборванца, прятывшего уйму денег за пазуху. Сашка решил выпросить или отнять у него сколько-нибудь, хоть на хлеб, и стал незаметно наблюдать за ним.

Вот, наконец, хлопчик встал, небрежно прижал к животу умолкшего ребенка и пошел. За ларями оглянулся по сторонам, быстро свернул ребенка в узел и понес под мышкой. Сашка сразу сообразил: никакого ребенка там нет. Но кто же так искусно вопил? Рыжий, насвистывая, купил себе пряников, конфет и пошел, запихивая их в рот. Сашка догнал его за ларями и схватил за узел.

— Ах ты, жулик! Как ты можешь так обманывать людей?

Паренек взъерошился, грозно блеснув зеленоватыми глазами, и поднял кулачок:

— Не чепляйся! Не подходи! Я есть сам Жак Паганель. Убью!

— Кто, кто? — рассмеялся Сашка, оглядывая шупленького шепелявого паренька с облупленным от загара носом. На голове его топоршились жидкие, запыленные рыжие волосы. Несмотря на угрожающий вид, Сашка схватил его в охапку и легко повалил на землю. — Тоже мне Жак Паганель! Я хочу есть. Дай пряников и денег.

— Так бы и говорил, а не дрался, — примирительно сказал паренек. — Подумаешь, — мне не жалко. А что я обманываю, так это, понимаешь, им самим приятно жалеть кого-нибудь.

Они поднялись, отряхнулись и через минуту уже мирно беседовали, жуя пряники.

— Где ж ты научился так ловко пиццать?

— Чудак, я ж прошел театральный фидультет в промышленной академии.

— Как? Где?

— В промышленной... Промышлять, значит... Там смотря на какой фидультет попадешь — тяжелой чи легкой промышленности. Тяжелая — это которые замки и двери ломают, а легкая — моя. Там я и научился плакать, как дите, молитвы с постной рожей жалобно читать, — кое-каким бабам до слез это нравится, и они щедро подают, особенно на паперти. Птичий концерт можно представить... Потому, значит, как артист я и прозвание мне — Жак Паганель, а по-самделешнему — Тимошка Шукин.

— Ну ты ж и хлюст! А родители у тебя есть?

Тимошка махнул рукой:

— Матка есть, да вроде и нет... Хотя, говорят, разыскивает меня. — И свистнул: — Ищи ветра в поле...

— Не любишь ее, что ли?

— Матку люблю чи не люблю — не знаю, а Нечипура стерпеть не мог. Папка ж мой был в миллион раз лучше его. Слесарь-лекальщик, седьмой разряд. Понял? А когда папка помер, мать и привела того мордастого Нечипура. Самогоном и табачишем разит от него — спасу нет, а он все варнякает и варнякает, выхваляется перед мамкой. И на кого только променяла папку? А тут еще стал он меня воспитывать, за водкой и папиросами посылать, за уши драть... Потому что он мне слово, а я ему десять. Я и ушел в шайку Короля-Бурлая. Это тебе и есть промакадемия.

— Значит, оба мы с тобой пропащие.

— Чудак человек, — засмеялся Тимошка, — а мне, видишь, и пропадать весело...

Сашка и Тимошка решили крепко держаться друг друга.

На другой день Сашка был свидетелем его базарной славы. Поражая толпящихся вокруг зрителей своим искусством, Тимошка с особым блеском выполнял самый трудный номер своей программы, изображая птичий концерт, в котором участвовали соловей, ворона, аист, со- рока, индюк и гусь. Маленький артист, с рыжей вскло- коченной головой, смешно гримасничал и, шепелявя, подражал голосам птиц и давал пояснения.

Зрители хохотали до упаду, дивясь искусству разбитного паренька, и опять бросали в шапку деньги.

— Ну и смешной же, как клоун! Настоящий артист!

Сашке нравился худенький, но цепкий и смысленный Тимошка. С таким не пропадешь. К тому же он был великодушен и щедр, как и все умелые люди. Подружившись, он делился с Сашкой всем, что имел.

Но скоро их базарный «театр» кончился скандалом. Главварь шайки, Бурлай, решил извлечь двойную пользу от «театра» Тимошки. И когда тот изображал «плачущего ребенка», а Сашка наблюдал издали, вдруг на базаре поднялся переполох. Люди кричали, что у одних деньги из кармана вытащили, у других — часы, а у кого-то даже сало с мешком утанули. Чужая недоброе, Тимошка прекратил представление. Но одна недоверчивая тетя разгадала секрет Тимошки, дернула за одеяльце, в которое завернут был мнимый ребенок, и на землю упала неуклюжая тряпичная кукла. Тетя решила, что Тимошка и есть наводчик и пособник воровской шатии, закричала, чтоб поймали его. С большим трудом удалось тогда Тимошке и Сашке убежать от погони. После этого легкий заработок у них бывал редко и они часто голодали.

Да не такой Тимошка человек, чтобы растеряться. Однажды на берегу Днепра под опрокинутой лодкой он предложил:

— А давай махнем к Алмазной горе, на Памир! — Глаза его отчаянно сверкали. — Я знаю тайную дорогу к Алмазной горе! Дедушка мой все мне разъяснил. В пещере той горы, понимаешь, так много драгоценных камней, что люди, как только зажигают свет, сразу же слепнут от блеска самоцветов. Понял? Но дед научил меня, какой водой надо умыться, чтобы не ослепнуть в пещере. Понятно? Так что будет полный порядочек. Наберем драгоценностей, понимаешь, сколько захотим, а каждый маленький камушек стоит большие тысячи. Приведем эти камни в Москву, отдадим правительству и расскажем про Алмазную гору. Все газеты про нас напишут, портреты напечатают! Понял? Ученые нас признают и, понимаешь, как отчаянных следопытов, станут брать в дальние путешествия. Попадем на Кавказ, в Бразилию, в Сингапур!..

Со страхом и восхищением слушал Сашка о далеких краях, полных сказочных соблазнов и опасностей. Емму и

раньше страстно хотелось путешествовать, подняться на заоблачные вершины Кавказа, Памира, увидеть горные озера и пустыню Кара-Кумы, океанские пароходы и непроходимые джунгли. Он с жадностью читал книги о знаменитых путешественниках.

Но Сашка не знал, как начать путешествие, чем питаться в пути, чтобы не умереть с голода. Да и милиционер мог поймать на любой станции и сдать в детдом. Но с Тимошкой Сашка смело покинул родной город. Тем обиднее теперь ему так неожиданно и нелепо потерять верного друга.

Глава III

ПОЧЕМУ ЦВЕТЕТ МАК

Сашка брел, сам не зная куда.

Все сильнее припекало солнце. С завистью смотрел он на людей, едущих на паромовых, в баржах вверх и вниз по Днепру. С далеких полей доносился рокот комбайнов, косилок, слышались веселые голоса. Но Сашка обходил людей: они трудятся, обливаясь потом, стыдно у них попрошайничать. Да и не любят они шатающихся бездельников, особенно в горячую пору полевой страды. Не вернуться ли обратно в город?

Из-за косогора неожиданно открылся большой сад. Он широкой полосой протянулся вдоль Днепра. Истомленный мальчик обрадовался и побежал к саду. У глубокого рва он остановился, посмотрел в сад сквозь густые кусты боярышника — и замер от изумления. Перед ним открылось вдруг такое сказочное диво, что с минуту он стоял как вкопанный. Рябило в глазах от обилия яблок, груш, слив. Отягченные крупными румяными плодами, зеленые ветки клонились к земле, гнули подпорки или в изнеможении опирались о землю. Из сада веяло прохладой и запахами яблок, дынь, груш, меда.

Он прислушался. Тихо. Только жужжали пчелы, стрекотали кузнечики да изредка глухо стучалось о землю упавшее яблоко. Не в силах больше терпеть голод, Сашка протиснулся сквозь густую колючую ограду из кустов боярышника и оказался в саду. Впопыхах он схватил

с земли яблоко, надкусил его. Оно было червивое. Сердце у Сашки сильно билось: и красть дело нелегкое. Злясь на себя за нерешительность, он с ожесточением тряхнул дерево. И с десятков больших груш с желтыми подрумяненными боками упало в скошенную траву. Торопясь, Сашка жадно ел сладкие, сочные плоды, совал их за пазуху.

— Стой, а то стрелять буду! — вдруг раздался хрипловатый строгий голос.

Седобородый дед в длинной холщовой рубахе и в соломенной широкополой шляпе-брыле стоял шагах в двадцати, направив ружье на мальчика.

Сашка замер, как зверек, застигнутый врасплох.

— Чей ты? — спросил дед.

— Ничей, — вызываясь ответил воришка.

— Бреешь! Знаю вас. Батько и маты есть?

— Нет. Я сам себе хозяин.

Дед усмехнулся:

— Ого, jakый хозяин! От горшка два вершка. А чего не плачешь?

— Не умею... пустите, — осмелел Сашка, определив по дедовой усмешке, что стрелять тот не будет.

Но дед опять строго насупил сивые косматые брови:

— Ну, не растабарывай тут! Иди вон туда, до куреня. А я за тобою. Ты арештованный, понятно?

Еще чего доставало — «арештованный»! Именно этого Сашка и опасался. И уже совсем глупо — быть арестованным этим дряхлым дедом. Надо вежливее просить его.

— Дидуся, ну пустите, что вам стоит? А то... а то все одно убегу!

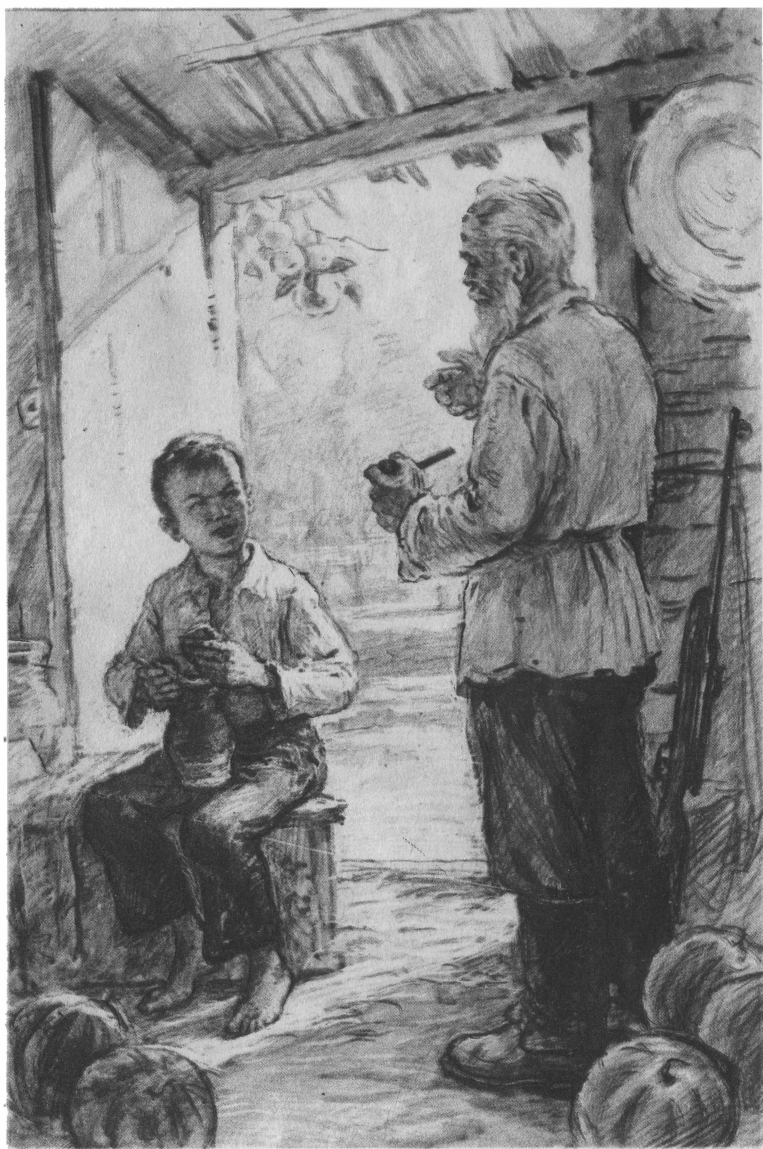
Но дед твердо стоял на своем:

— Будешь тикать — стрельну! Чуешь, хлопче?

— А как не буду тикать?

Первое желание у деда было — выдрать за уши дерзкого мальчугана, чтоб не лазил в чужие сады, но хлопок этот, смысленный и смелый, понравился деду, и жалость к нему тронула стариковское сердце: «Он же голодный, мабуть, як цуцык. И видно, такой же завзятый, як Петрик мой».

А для деда черноголовый внучек Петрик — может, самая большая отрада в жизни. Только деды понимают, как сильно можно любить внуков. И возраста Петрик,



К стр. 17.

кажется, такого же. Да что там говорить! Ведь и этот замурызанный и драный хлопчик тоже чей-то внук.

И деду хочется скорей узнать, каким ветром занесло его сюда. Есть еще у деда неутолимая страсть: ему всегда хочется с кем-нибудь говорить о своем новом восторженном чувстве, обретенном на старости, а говорить не с кем. Колхозники давно перестали удивляться тому, что волновало деда. А с этим бездомным хлопцем можно наговориться вволю.

— Слухай, хлопче, не будешь тикать — до отвала нагодую тебя медом, дынями сладкими и всем, що сам тут бачишь. Нам не жалко. У нас всего вдосталь. Тільки воров, як тех паразитов и трутней, сністожаєм... Иди до куреня!

— А после того, как нагодуете, чего со мной сделаете?

— Погомоню и отпущу! Верь совести, отпущу... А захочешь — заночуешь тут. Распалим костер, сказку расскажу. А зовут меня дед Макар.

Сашка колебался. Не задумал ли дед какую-нибудь злую шутку? Не отправит ли в тюрьму? Но надо пока слушаться деда, а то еще стрельнет. И сказал: «Верь совести»... Нельзя не верить совести. Да и есть хочется нестерпимо.

Мальчик шел под конвоем, жадно глядя на обилие фруктов и подозрительно косясь на деда.

В курене на сене лежали кучи яблок, груш, арбузов, большая надрезанная дыня с толстой сочной розоватой мякотью. Пчелы вились вокруг покрытого полотенцем кувшина с медом. Соблазнительные запахи кружили голову Сашке. Он все еще недоверчиво озирался, будто выжидая подходящей минуты, чтобы сбежать.

Хитровато улыбаясь, старик достал из подвешенной торбы белый пшеничный хлеб, кусок сала, завернутый в капустный лист, положил на разостланный перед гостем вышитый рушник¹ груши, яблоки, дыню. Нашлись у него в макитре² и жареные лини и караси, а в миске — белые пухлые пампушки.

Выставил он и глечики:³ один — с медом, другой —

¹ Рушник — полотенце.

² Макитра — большой расписной горшок.

³ Глечик — глиняный кувшин.

с фруктовым соком. Мед — янтарно-золотистый, пахучий и прозрачный, какого Сашка никогда еще не видел.

— Ну, хлопче, — с улыбкой сказал дед, — приступай до пиршества. Ешь, що тебе больше нравится.

Что нравится?! Сашке так есть хочется, что разом на все набросился бы. Но он для солидности отвел глаза от соблазнительной еды.

— Я не голодный.

— Бреешь, по глазам бачу. Ешь, хлопче, на здоровье. Не стесняйся. Сам таким был. — Дед подвинул к нему миску и хлеб. — А звать же тебя як?

— Сашка.

— Так. Сашкó, значит. Ну, угощайся, Сашкó.

Сашка с минуту поупрямился из приличия, но, не в силах больше сдерживаться, накинулся на еду.

Дивясь странному виду незваного пришельца и тому, как жадно ест он, дед осторожно спросил:

— Где ж ты бывал, человеце, и куда путь держишь?

— Путешествую, — нехотя буркнул хлопчик.

— Ого, путешественник! Ты, мабуть, такой путешественник, як то перекаати-поле. Бурьян есть такой катучий. Ветер гонит его, а оно катится и катится невесть куда.

— И совсем не бурьян, — возразил Сашка и загадочно подмигнул. — Мы направляемся на Памир, к Алмазной горе...

Дед усмехнулся:

— Эге, большое дело задумал ты. По-моему, за такое путешествие на тебя надо воздействовать батогом по заду. Понял?

— Некому батогом воздействовать.

— А родители твои куда смотрят?

Хлопчик нахмурился и перестал есть.

— Я уже сказал: нету родителей. Не верите?

— Умерли чи покинули тебя?

— Ну и умерли. Вам не все равно?

Дед сразу смягчился.

— Так-так... Значит, сирота... А ты ешь, серденько, чего перестал? Ешь, ешь, бедолага. Сам бачу, драный ты, як та сидорова коза. Може, и добра ты от человека ще не знал? Ишь, колючий какой, неначе тот ежак.

Сашке совсем не хотелось сейчас тратить время на разговоры о человеческих отношениях. Немало гоняли

его, как соленого зайца. А сказать худо о людях, — старик еще обидится. Сашка и повторил подходящие к случаю чужие слова:

— Каждый только о своем брюхе думает.

Дед Макар глубоко вздохнул:

— Эге, ото ж я и говорю: растешь, як дичок в бурьяне, а так добра и не увидишь. Оно правда: к человеку, як та короста, липнет старое, плохое. А ты не суди про человека по его одежке, по его первому слову. Бывает, попервоначалу и поцапаешься с человеком, невзлюбишь его, а приглядишься, — он, как и ты, добра людям хочет. Значит, свой брат.

Сашка доверчиво посмотрел деду в синие простодушные глаза. Понравились ему дедовы слова. По всему ясно, что и его, Сашку, дед принимает не по одежке.

Дед взял огромный кавун,¹ покрытый от хвоста до лобовины белыми и темно-зелеными полосами. Пошелкал его, определяя спелость. Кавун почти звенел, а от прикосновения ножа лопнул. Сахаристая мякоть его, красная, как жар, таяла во рту.

Сашка с восхищением думал: «Вот это дед! Не пожалел для меня лучший кавун разрезать».

— Сроду такого не ел, — сказал он, обеими руками держа скибку кавуна.

— Ну и ешь на здоровьечко, Сашко... Так ото ж и говорю... Я, дед Макар, мабуть, сто годов неслучено прожил и знаю: жить надо так, щоб людям легче было оттого, що ты живешь. А ты красть хочешь. Тоже мени вор-горобец! По совести надо жить. Совесть — око народа, вот и служи народу по совести. Чуешь, Сашко?

— Чую, дидуся, — отвечал мальчик с полным ртом и широко открытыми от удивления глазами. — Чую... чтоб людям легче было, что ты живешь.

— Так добре ж запомни ци слова, Сашко. На них свет держится. За них люди на смерть шли.

— Запомню, дидуся.

— Ну и добре, серденько... А пить — квас будешь чи молоко? В кринице кубышку держу. Там родники, як лед. А может, винограду гроздочку поспелей найдешь...

Сашка так насытился, что не мог подняться. Склонившись на пахучее сено и вдыхая запахи фруктов,

¹ К а в у н — арбуз.

мяты, шалфея, душицы, он с удивлением смотрит в залитый солнцем сад. Все здесь необычно и красиво, как в сказке. Тихо, не шевельнется ни один листок. Слышно даже, как изредка какое-нибудь тяжелое спелое яблоко упадет на землю.

А вот села на ветку долгоногая птица, играя на солнце пестрым оперением.

— Как жар-птица, — шепчет Сашка, боясь спугнуть ее.

— Первый мой лютый враг, — косится на птицу дед. — Щур. Пчел жрет.

В зелени ветвистой глуши мелькает золотисто-желтая птица и лениво вскрикивает, будто о чем-то спрашивает.

Дед передразнивает:

— «Де я його дила? Де я його дила?» Потеряла, так и шукай, хитрая птаха-иволга, и нечего самые сладкие груши клевать!

Где-то на высоком тополе дремотно воркует дикий голубь: «Ва-вва-урррр, ва-вва-урррр». Голубка ему отвечает: «Угу-у-у, угу-у-у». Синица-пастушок посвистывает: «Фить, фить, фить!»

— До чего ж хорошо тут, дидуся! — говорит Сашка. — А цветы, цветы какие!

Дед степенно называет цветы: чернобрицы, пивники, панычи, горицвет, золототысячник...

— Дивчата насадили. Кажуть, нехай, диду, и коло куреня квитки¹ будут, щоб и вы радовались. То-то ж дурни! Хиба моя радость тильки коло куреня? Моя радость безмежна, як небо... И ты веришь, Сашко, хочеться, щоб все люди добре жили. — И, подумав, нерешительно добавил: — И щоб такие, як ты, хлопче, не блукали по свету, а жили добре... Гадаю так, що и ты ж человек не без роду-племени...

Самолюбие Сашки было задето. Тронула его и забота деда.

— Ясно, я не без роду-племени. — И он рассказал, кто был его отец, что и он хотел добра людям, за это и убили его. Рассказал о матери, о бабушке и задумался.

Плотно сжав губы, смотрел в сад, слушал перезвон птиц. Он вспомнил, как рабочие хоронили отца. Залитые

¹ К в и т к и — цветы.

солнцем цветущие акации так белели, что больно было смотреть. Друзья у могилы отца говорили речи. Плакали бабушка, мать — худенькая, голубоглазая, в белой ко-сынке. А он, Сашка, не плакал. Одна старушка сказала тогда про него: «Не понимает еще хлопчик, не плачет». А бабушка ответила ей: «У него сердце зашлось».

Вскоре слегла с горя и мать и уж больше не встала. Вернувшись с кладбища, Сашка долго стоял один у забора и смотрел на Днепр, на степные просторы, на далекие мглистые курганы. Он очнулся, когда подошла к нему бабушка и окликнула: «Не оглох ли ты, Саша? Кричу, зову тебя, а ты молчишь. Иди ужинать». И тут он особенно остро почувствовал, что остались они с бабушкой только вдвоем, и заплакал безудержно, судорожно. «Ничего, поплачь, внучек, поплачь, легче будет», — говорила бабушка — теперь самый дорогой на свете человек.

Дед Макар смотрел на хмурого хлопчика и не рад был, что заговорил о его родне.

— Ну, чего ж ты, Сашко, не ешь и молчишь? Может, дыни чи винограду хочешь? Ешь, серденько, а я тебе добру песню заспиваю.

Дед взял бандуру,¹ пробежал заскоруждыми пальцами по звонким струнам и хрипловато, но с душой запел:

За Сибиром солнце сходять...
Хлопцы, не зивайте:
Вы на мене, Кармелюка,
Всю надию майте...

Сашка заслушался — он любил песни до самозабвения. Потом стал подтягивать деду.

Когда песня кончилась, повеселевший Сашка уже просил деда, с беспокойным удивлением глядя ему в глаза:

— Дидуся, а какую ж сказку вы знаете? Расскажите.

— Знаю, — усмехнулся дед. — Ты, бачу, до всего жадный. Одну маленьку можу рассказать.

Он подвинулся в тень груши, снял соломенный брыль, пригладил редкие сивые волосы на голове, точно готовясь к чему-то торжественному.

¹ Б а н д у р а — народный музыкальный инструмент.

— Бач, як мы живем! Сами мы земельку распушили и сад цей насадили. И всего тепер у нас в колгоспе вдосталь. И человек стал добрей. А раньше як жили? Паны да куркули душили хлебороба. Известно, горе горбит человека. Грыжа моя ще доси болить с того часу, як у пана надорвался. Очи мои ще доси подслеповаты с того часу, як дым их ел в курной хати. Каганцем¹ и лучиною освещались, да и за нею в другую губернию ходили. А тепер у нас в каждой хати электро и радио, а в клуби, як солнце, лустры сияют.

Дед указал на яблоньку, облепленную краснобокими яблоками. Подпорки держали пышную красавицу и не могли удержать — гнулись под тяжестью ее сочных плодов.

— По-мичурински саженец вѣхидил, прививку сделал, и ось дывысь, шо робится — яблок сила-силуша. Так мы ж скоро засыплем весь мир фруктою разною да пшеницею, як будем робить по-мичурински! Так слухай, Сашко. Было на свете богато царей, князей, панов и всяких там закордонных богачей. А ить мы счастливей, чем те цари, князья и богачи. Верь совести, счастливей! А все через шо? Ты знаешь, хлопче, вид чого у поли мак цвите?

— Не, дидуся, не знаю.

— Слухай, Сашко. Та добре слухай.

Дед расчесал заскоружлыми пальцами белую, как ковыль, бороду, задумчиво посмотрел в сад, пронизанный лучами солнца. Было тихо, только дремотно жужжали пчелы.

— Был колысь на свете такой человек — Данько. Страшно бедовал народ от панов-помещиков. Всему хозяин был пан, а простой человек, мужик, рабом у него был, дни и ночи, всю жизнь работал на пана, а сам с голоду опухал. И степь широкая — глазом не охватишь, а трудящийся человек жил, як в тюрьме. Так вот той Данько и стал учить людей, як им царей и панов скинуть и волю та землю получить. И народ стал гуртоваться, подниматься бунтами.

— То запорожцы были, дидуся?

— Мовчи. Слухай... Данька, известно, паны в тюрьму посадили, долго мучили его и требовали, щоб он

¹ Каганец — плошка, светильник.

отрекся от народа, от правды народной. А Данько на своем стоит. И повели его на казнь. Ведут по степям зеленым та пахучим. Пташки разные под солнцем грают. А на теле Данька раны горят. Чуешь, Сашко?

— Чую, дидуся.

— И в останний час ему говорят паны: «Отрекись от народа — мы сделаем тебя богатым. Жить будешь в золоченых чертогах. Земель и мужиков тебе дадим богато. Всю жизнь в царском довольстве проживешь и николи с горем не спознаешься»...

А Данько на своем стоит.

«Ни, — говорит, не отрекусь от моего народа. Краше смерть за народ приму, а воли он сам теперь добьется, раз познал свою правду и силу».

И с лютою злобою заревели паны:

«Больней бейте его! Огнем палите!»

Тут не стерпела, заплакала Данькова мать:

«Паны-катуги убьют тебя, сыночек».

А Данько и говорит ей:

«Не плачьте, мамо. Вы ж сами учили меня любить народ и жить по правде. А правда сильнее смерти».

И от слов таких зашаталась мать, як та калина от бури. И когда стала падать, люди подхватили ее под руки, сказали ей:

«Спасибо тебе, добрая маты, що такого сына вскормила и взрастила на людское счастье».

И поняла мать: не плакать, а гордиться ей надо таким сыном. И благословила его: «Иди, сынку, прими муки лютые за счастье людское»...

И ведут паны Данька по степи на казнь за народ и плетюгами стальными стегают, рвут его тело белое.

А Данько все идет и голову поднял высоко, будто глядит за горы, за тучи. Кровь его на землю часто-часто капает — кап-кап... И где упадет капля его крови, там и мак расцветает, такой же красный, як та кровь. Вот с тех пор и зачал цвести на полях мак, щоб люди не забывали Данька. Так-то, хлопче...

Сашка, сдвинув тонкие изогнутые брови, зачарованно молчит.

Вспомнил и он свою мать. Вот, будто как во сне: тихо положила свою руку на его голову, нежно погладила: «Баю-бай, баю-бай. Тише, ветры, не шумите и

Сашеньку не будите»... Может, и она так же сказала бы ему: «Иди, Сашенька, прими муки лютые»...

Он устремил ясные, внимательные глаза на деда:

— Дидуся, дидуся, а дальше что?

Дед Макар шевельнул белыми усами, приподнял нависшие седые брови. Глаза его по-детски блеснули:

— Вся, сынку, сказка.

— Ой, до чего ж хорошая сказка, дидуся! Верьте совести, хорошая! На всю жизнь ее запомню. Верьте совести, запомню, — и Сашка быстро вытер глаза.

Дед ласково взглянул в эти пытливые голубые глаза.

— Эге, хлопче, а казав, — плакать не умешь.

— Я не плачу, дидуся... Как про него сказано! «И плетюгами стальными стегают, рвут его тело белое, а он все идет и голову поднял высоко... Кровь его на землю часто-часто капает... И где упадет капля его крови, там и мак расцветает, такой же красный, как та кровь»... И я бы вот так же, как Данько, все шел бы и шел... А как дальше, дидуся?

И Сашка все допытывался, повторяя слово за словом всю сказку.

Потом дед поднялся.

— Ну, добре. А теперь, хлопче, иди до Днипра, вымойся там, одежду свою постирай. И где ж ты тильки так замурился? Иди скорей и вертайся, чуешь?

Сашка, точно проснувшись, удивленно спросил:

— Отпускаете? А как утеку?

— Ежели ты человек, а не хорь, то вернешься... Чи як?

Сашка подумал, потом твердо сказал:

— Вернусь, дидуся. Верьте совести, вернусь!

— Верю совести, — ответил дед. — Бери ось тутечки мыло. Иди. — И сам, не оглядываясь, пошел на пасеку.

Сашка растерянно постоял с минутку, глядя деду вслед, вздохнул:

— Ну и чудной же этот дед Макар! К Днепру отпустил. Да я ж могу сразу убежать!

Отяжелевший от сытного угощения, он медленно побрел к Днепру.

Но тут же он увидел близ куреня маленький круглый столик, на котором что-то блестело.

— Часы! — прошептал он, еле переводя дыхание и глядя на большие старинные серебряные часы. На стол-

бике торчала стрелка, и вокруг нее — цифры. Он догадался: солнечные часы. Дед, видно, сверял с ними свои карманные и позабыл. Мальчик вздрогнул от заманчивой мысли, быстро оглянулся, и у него даже в глазах помутилось: у куреня стояло ружье, прислоненное дулом к стволу груши.

Смятение охватило Сашку. Часы и ружье! Только представить себе, что он, Сашка, может сделать, обладая этим богатством! С ружьем можно одному жить в лесу и охотиться на дичь. Это уже не рогатка разнесчастная. С ружьем можно никого не бояться. Часы продать — вот и деньги на хлеб, на билет. Можно смело ехать в Крым и на Памир. Можно...

Он схватил часы. Они будто ожгли руку.

«Верю совести», — вспомнил он последние слова деда, того деда Макара, кто так щедро накормил его, лаской согрел его сердце.

С минуту Сашка стоял, будто прирос к земле. Две силы боролись в нем, но все громче звучали в ушах дедовы слова: «верю совести», «верю совести». И мальчик, быстро положив часы на стол, побежал, сгорая от стыда и будто убегая от самого себя.

Он торопливо купался и стирал одежду в Днепре, боясь, чтобы дед не подумал, что он сбежал. Потом, в сырой еще тельняшке и веревочкой подвязанных штанов, он подошел к деду — чистый, веселый.

— Диду, что вам помочь сделать?

— Помогай, — сказал дед. — Сбегай, шугни галок на винограднике. Ще и не поспел виноград, а клятая птица шкодит. — Но, всмотревшись в Сашкину голову, тут же спохватился. — Постой, Сашко, ты ж, мабудь, год нечесаный ходишь.

Дед протянул ему большой самодельный деревянный гребешок.

— На, расчешись, внучику.

Но Сашка никак не мог вогнать тупые зубья гребешка в свои запутанные волосы. Тогда сам дед стал причесывать его.

— Волосы у тебя, хлопче, сбились, як у цуцыка на хвосте.

А Сашке приятны ласковые прикосновения дедовых пальцев, его шуточный разговор. После матери и бабушки давно-давно никто так заботливо не прикасался к его

голове. У него так хорошо было на душе, что он с подскоком побежал пугать галок.

Внук деда Макара — Петрик, увидев на винограднике чужого мальчугана с взлохмаченной головой, принял его за воришку-цыганенка. Свои, сельские ребяташки боятся красть в колхозном саду, а если уже кому приспичит, тот лезет в чей-нибудь приусадебный сад. Но когда поблизости располагается цыганский табор, то цыганята без разбору нахально лезут всюду.

Петрик затаился за кустом, а когда чужой хлопчик приблизился, схватил его за руку.

— Ага, поймался!

От неожиданного нападения Сашка вздрогнул, испугался. Опомнясь, разглядел противника: он был чуть выше его, из-под кепки торчала черная челка, на рукаве белой рубахи — узенькая красная нашивка. Не велика птица — можно и сдачи дать. Злясь на себя, что показал свою слабость, Сашка грозно потребовал:

— Пусти, сам ты поймался! — Он дернул было руку, но она оказалась зажатой крепко, как в тисках.

— Я поймался? — удивился Петрик. — Да кто ж ты такой герой?

— А ты кто?

— Я, может, хозяин тут.

— Подумаешь, хозяин — от горшка два вершка.

— А ты просто ворюжка.

Тут Сашка не стерпел оскорбления. Противник был явно сильнее его; тогда он применил свой надежный прием: внезапно головой боднул Петрика в живот. Тот сразу выпустил его руку, качнулся и чуть не упал. Тяжело дыша, Петрик угрожающе снова шагнул к Сашке:

— Как ты смеешь еще драться со мной, если я тут дома?

— И я тут свой, — твердо заявил Сашка.

— Бреешь.

— Меня дед Макар послал.

— Так это ж наш дед.

— Ну и мой, — не сдавался Сашка.

Петрик решил, что мальчуган врет, схватил его опять за руку:

— В таком разе пойдем до деда.

— Пойдем! — решительно сказал Сашка и тоже взял Петрика за руку: пусть видит дед, что и он, Сашка, по-

могает ему сторожить сад. Так и пошли, держась друг за друга.

Дед увидел их и довольно засмеялся.

— О! Так вы уже познакомились, внучики мои.

Недоразумение выяснилось. Смущенные Петрик и Сашка, насупясь, отошли было друг от друга. Но дед скоро помирил их.

— Ты, Петро, привечай Сашка, як и я. Он — мой гость дорогóй. А ты, Сашко, ще не знаешь, за шо Петрика хвалили в газетах? — И тут же погордился внуком: — О, Петрик удался в мою породу. Настырный. Так про него и писали газеты: Петро Антощенко больше всех пионеров колосков насбирал и ховрашков¹ поймал. Расскажи ему сам, Петро...

Мальчики постепенно разговорились. Сашке неловко было, что так недружелюбно встретил дедова внука. Он завидовал Петрику, что у него такой хороший дед, и первый начал спрашивать Петрика, как он сумел так много выловить таких хитрых зверьков, как суслики. Петрик и сам не прочь рассказать, как он перехитрил зверьков своим ловким приспособлением, с помощью которого ловил их. Потом они вместе помогали деду, поочередно крутили медогонку, выкачивая мед, собирали по саду упавшие груши и яблоки.

Когда дед решил разжечь костер, чтобы сварить кулеш, и не мог найти спичек, Сашка протянул ему свой кремень и трут.

Дед и Петрик добродушно рассмеялись.

— Техника твоя — курам на смех, — сказал дед. — При царе Горохе ще ею пользовались. У нас Днепрогэс рядом, а ты мне трут даешь. И рук марать не стану. Пошарь, Петро, там в курене на полочке серники.

Скоро они ели вкусный, заправленный салом и пахнущий дымком, дедов кулеш.

¹ Х о в р а ш о к — суслик.

Глава IV

ДНЕПРОВСКИЕ ОГНИ

Вечером Петрик ушел в село, а дед и Сашка обходили сад. Сашка вертел трещотку, рассыпавшую в тишине дробь, как пулемет. Дед рассказывал о повадках птицы и зверя. И чем больше над садом сгущалась темнота, тем ярче разгоралось на юге над Днепром зарево.

— То пожар какой, дидусь?

— Ни, то Днепрогэс. — Дед вдруг оживился. — Ой, хлопче, такие чудеса я там видел, що и думкою не постигну. Як ввели мене в называемый зал пульта, откуда инженеры управляют всем Днепрогэсом, я и обомлел. Подо мною блещит и надо мною блещит, и кругом все сияет, аж глазам больно. Снял я шапку и кажу: «Тут, — кажу, — краще чертога и храма». А инженер смеется. «Це, — каже, — диду, и есть храм науки». И кругом горят лампочки, лампочки, малюсенькие, як совиный глаз, — красные, зеленые, желтые. Под водою там, в железобетонных каморах, крутятся разные машины, а лампочки всё-всё говорят про них. Такое уже, хлопче, устройство: поверни рогулечку одним мизинцем, и внизу загудят, загуркотят машины. Днипрова сила гоняе поезда, за сотни верст на заводах круте станки, варе сталь, дае свет городам и селам. А ты видел на полях электроплуги? Без вола, без коня — сам плуг паше. Во сказка! А там, в ящичке, Днипрова сила, она и тягне. И чего ще додумались — коров электричеством доить...

Видишь, як раздобрився старый Днипро: всю силу свою человеку дае! Так-то, Сашко...

Дед рад собеседнику. Чувствуя близкий конец своей жизни, старик тем больше любил все, что было в ней нового, а новое — в людях, в их делах — возникало каждый день.

Деду хотелось говорить о новом, а говорить было не с кем. Тогда он говорил сам с собой или обращался к деревцу: «Растешь, яблонько? Расти, расти та будь щедрая».

Дед всем говорил, что и он строил Днепрогэс, хотя был на строительстве просто сторожем материального склада.

— Днепрогэс — то чудо-богатырь света и силы, — вспомнил он слова одного инженера. — А ить я ж его самолично строил!

— И вы, дидуся?

— И я и увесь народ строил его. Вот же я и кажу: два года як пустили его в ход, а уже сколько дива кругом...

Они сели на траву. Дед охотно говорит о чудесах, рожденных Днепрогэсом, о мичуринских прививках и саженцах, о своем саде, который сам сажал.

— Так кто же мае такой сад, як наш колгосп «Червоный партизан»? Ить в нашем же саду все есть! А це ж мы годив за восемь такого дива добились. А через десять, двадцать годив яка жизнь стане?

— Дидусь, а может человек такую машину построить, чтоб управлять тучами и ветрами?

— Ишь ты, куда стрибнул! — удивился дед. — Все вы такие, теперешние. Все вам знать и уметь хочется. Вот и Петрик все допытывается, як ты... Говоришь, управлять тучами и ветрами? — И, подумав, твердо сказал: — Эге, хлопче, може человек управлять всем. Человек все може... И мени, Сашко, умирать не хочется. Ой, не хочется!.. Трех царей пережив я, и косточки мои уже покривились, а умирать не хочу. Жизнь такая пошла — дивуюсь не надивуюсь. Глянь, какое диво: знаю я одного селянина — Дениса Лысенко. Селянин як селянин, — миллионы у нас таких. Так сын его Трохим академиком стал и на весь свет прославился, — чуешь? А колышняя панская батрачка Марыся Недоля, с которой батрачил я у пана Гергелая, теперь членом правительства стала.

В московском Кремле засидае. Та що там казать... Наш учитель Мирон Иванович в реестрик записуе знатных людей, що з народу вышли. И сколько ж их таких, як той Трохим чи Марыся! Так я слухаю, слухаю про наших людей — и гордый становлюсь. Чуешь, в якую силу входим?.. Та ты, хлопче, мабуть, ще ничего и не разумиешь.

— Нет, разумею, дидуся.

— Главное що? — продолжал дед. — Человек становится краше и сильнее. К примеру, бедняк раньше всю жизнь свою бился из-за куска хлеба. И мы на панов, бывало, раньше робили так, що глаза на лоб лезли, а хвалы за то не было, та ще и урядники та стражники по зубам били. И черно было на душе. А зараз куды ни глянь — хозяин ты всему и радый всему. Так-то, хлопче. А сколько дива в садах буде годив через десять, если так будем робить, як Мичурин каже?

Мальчик думает о знатных людях, которые вышли из народа, — что ж, это касается и его семейной чести; пусть дед знает, что он не без роду-племени. Его прадед Матросов, рассказывала бабуся, был тут, на Запорожье, лучшим новокадацким лоцманом. Он ловко проводил суда через все пороги, даже самый страшный порог Ненасытец, где кипящие буруны в щепы разбивали корабли о гранитные скалы. Геройский был прадед! Сильный, как богатырь. И дело свое хорошо знал. Хозяином Днепра люди звали его, от него и фамилия их началась.

И еще был у них в роду знатный Матросов, который в революцию 1905 года вместе с революционером Матюшенко поднимал восстание на броненосце «Потемкин». И его тоже постигла та же доля, что и прадеда, — на каторге замучили. Что ж, и он, Сашка, может стать знатым человеком и добиться того, о чем говорит дед Макар.

— А я вот, дидуся, очень-очень хочу путешествовать. Вы слышали про Тибет или Памир? Нет? И про Алмазную гору не знаете? И на Кавказе и в Крыму не бывали? — Сашка вспоминает о Тимошке, и сердце его сжимается. — Вот и я хотел путешествовать, хотел и... дружка потерял и сам потерялся, — со вздохом говорит мальчик.

— Потерялся? — усмехается дед. — Ты человек, а не иголка. У нас человеку неможно потеряться... Ишь,

путешественник! Говорю, не путешественник ты, а беспутное перекаати-поле. А как будешь учиться и старших слушать, станешь и ты знатным человеком. Будь, як Данько, смелый и честный. Эге, таким будь!..

Зарево Днепрогэса охватило полнеба. По темным, точно бархатом покрытым, берегам широкой реки — сверкающая россыпь огней. Там — невидимые теперь села, куда тоже вошла сила Днепра. Местами по реке струятся золотисто-голубоватые полосы. От реки веет прохладой.

Кругом тихо-тихо. Только все еще дремотно стрекочут кузнечики да вскрикивают в полях перепела и чибисы у реки.

Вдруг над рекой поплыла песня, широкая, как Днепр:

Солнце низенько, вечер близенько.
Спишу до тебе, лечу до тебе,
Мое серденько...

Дед довольно усмехается:

— На човнах от стану до села плывут дивчата и хлопцы. Не хотят, ледащи,¹ пешечком по пыльной дорози, так на човнах... Ну, ходимо, внучеку, до куреня. Костерок растопим, повечеряем, да и спатоньки в курене на сене ляжешь. Укрою тебя кожухом, мягенько, тепло буде.

Сашка задумчиво смотрит на Днепр. В лунном свете челны плывут, похожие на цветочные островки, оттого что у девушек в руках целые охапки цветов и на головах венки. Смотрит на бесконечную звездную россыпь и глубоко вздыхает. Нет, никогда и никто еще не говорил ему таких ласковых слов, как этот дед!

— Ой, до чего ж тут хорошо, дидусь!.. Не, я еще спать не хочу, поговорю с вами. Можно?

— Говори, серденько. Сам бачишь — я радый тому. Но вдруг хлопчик, будто подхваченный бурей, вскочил:

— Ой, диду! Что ж я делаю? Мне-то хорошо, а про Тимошку забыл? Вот так друг! Пойду я, диду, пойду.

Ему теперь показалось, что он недостаточно хорошо искал Тимошку на станции. Может, он не уехал.

¹ Ледащи — ленивые.

Выпрыгнул из ящика и спрятался где-нибудь от милиционеров. А теперь, видно, ждет его, Сашку.

— Прощайте, дидусь...

— Постой, Сашко! — крикнул дед, всполошенный такой неожиданностью. — Чего ж тебе еще надо?

— Эх, дидусь! А Данько, а вы разве бросили бы друга в беде?

— Ой, лышечко, куда ж ты ночью? Утречком и пойдешь.

Сашка заколебался: в самом деле, ночью и заблудиться можно. А Тимошка, если и не уехал, то не будет же на станции торчать на виду. Спит где-нибудь в канаве.

Но и к куреню Сашка шел задумчивый, печальный, тоска по другу щемила его сердце.

Глава V

КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ

На другой день из колхоза «Червоный партизан» отправляли ящики с фруктами — подарок подшефному детскому дому, который был тут неподалеку, на даче. Этому событию дед Макар придавал теперь особое значение.

Дед почти не спал в эту ночь. Сон у него был вообще, по его словам, чуткий, как у старого пивня.¹ В эту ночь деда обуревали тревожные думы. Вчера еще у него созрело решение — отправить бесприютного хлопчика в детский дом. Но он не знал, как действовать в этом тонком деле. Принуждать своенравного гостя нельзя — сбежит. Уговаривать? Но какими словами? И оставить бездомного малыша на произвол судьбы дед тоже не мог. В этом он был непоколебим.

Еще только чуть забрезжил рассвет, как дед надел кожушок, сел около спящего Сашки и просидел все утро, обдумывая свою затею и гадая, что ждет хлопчика в жизни. Дед взмахом руки отпугивал птиц, слишком громко щебетавших поблизости, и сам старался не кашлять, чтобы не разбудить этого чужого мальчугана, которого успел полюбить, как родного внучонка. Вот уже и первые золотые лучи солнца брызнули в курень, а дед все сидел, смотрел на безмятежно спавшего Сашку и вздыхал.

¹ П и в е н ь — петух.

Когда стали нагружать на воз ящики с фруктами, дед осторожно разбудил гостя, помог умыться, расчесал своим самодельным деревянным гребешком его всклокоченные волосы. И лишь во время завтрака, начав издали, осторожно заговорил о том, что так волновало его.

— Они там, басурманы, скачут себе и не знают, что мы гостинцы им готовим, — хитровато кивнул он на нагружаемый поодаль воз.

— А кому это, дидуся? — спросил Сашка, беззаботный, веселый.

— Да таким же сорвиголовам, как и ты, — детишкам, что в детском доме. Мы им туда и овощи разную, и фрукту, и мед, и виноград отправляем — нехай едят на здоровье. Зараз они, бачишь ты, на даче, как паны. Эге, я добре знаю, как жили паны. Так наши дети, что в детдоме, хочь и сироты, а живут, как те княжата. У них там свои и яхты, и клубы, и оркестры, и театры... Та что там казать! Я вон и с родителями рос, а был чистый голодранец и за кусок хлеба водил слепцов-нищих, а в детдоме и харч сытный, и одежда чистая, и разным наукам там обучают.

Дед так увлекательно рассказывал о детском доме, что у Сашки завистливо заблестели глаза. Тут, улучив минуту, дед осторожно спросил:

— А чи не поехать, хлопче, и тебе туда?

Сашка мгновенно вскочил, как и вчера вечером.

— Что вы, диду! Мне сейчас надо идти Тимошку разыскивать, — резко возразил он, подозрительно косясь на старика. Ну и хитрющий этот дед! Ловко расставил ловушку! Потому и вчера отговаривал, чтобы сегодня в детдом отправить.

— Ты, Сашко, не ерепенься, послухай, — строго сказал дед. — Неволить не буду тебя, делай как хочешь. Только негоже отвертаться от людей, которые добра тебе желают. Чуешь? И твой татко¹ и маты, и бабуся сказали б тебе то, что я говорю. Все одно ты сирота, и приголубить некому тебя. Поезжай, серденько, с нашим председателем в детдом. Там и учиться станешь и подрастешь. А може, ще и ученым путешественником будешь, как вырастешь...

¹ Т а т к о — отец.

Сашка задумался: да, ловушки тут вроде и нет, а дед, видно, искренне добра ему хочет. И все, что дед тут говорил ему, Сашке, и делал для него, — так значительно, что пренебречь им нельзя. И упоминание о родителях решительно настраивало Сашку на другой лад. Ясно, родители посоветовали бы Сашке то же, что и дед.

Но, подумав, Сашка с огорчением покачал головой:

— Не примут меня.

— Як так не примут? — повеселел дед.

— Нет у меня никаких документов.

Дед Макар задумался: да, не легко без документов человека определить. Но тут же горячо возразил:

— А ты, хлопче, разумеешь, шо такое рекомендація шефа? Бачу, — не разумеешь. Коли мы, колгосп, тому директору детдома скажем за тебя слово, то примут.

Сашка вздохнул: его все-таки угнетало беспокойство о потерявшемся Тимошке и манили разные пути-дороги.

— Дидуся, а мне ж очень хочется побывать в разных краях.

— И думать, Сашко, про то забудь, — с напускной строгостью сказал дед. — Трошки подрастешь, поумнееешь, тогда и помыкаешься по свету, а теперь загинешь, як травинка на битой дороге

Сашка молчал, напряженно думая: что ж, он уже пробовал путешествовать. Но что это за путешествие в ящике под вагоном! Ясно, добрый этот дед Макар плохого не посоветует. А Тимошка? Где его теперь искать?

А дед уже наказывал председателю колхоза:

— Та скажи тому директору, шо я сам, дед Макар, велел принять хлопца. Скажи: всем колгоспом рекомендуем.

Сашка попрощался с дедом, полез на воз и сел на сено позади ящиков с яблоками и грушами. Он испытывал разноречивые чувства: до слез было жаль покидать этот сад и деда, с которым пережиты незабываемые минуты, и уже манило, звало его то новое, неведомое, что ждало в детском доме.

Дед Макар, опираясь на палку, стоял возле воза и вздыхал.

— Ой, горенько ж ты мое, Сашко! Прирос до сердца мого, неначе родный внучек. Да смотри ж ты, орлику мой, держись добрых людей. А то забродяжничаешь

опять, забудешь до мене дорогу и загинешь под чужим тыном.

— Не, дидуся, я никогда-никогда не забуду вас!

Дед снял брыль, разгладил бороду:

— Ну, в добрый час! Счастливой доли тебе, серденько!

И когда воз уже скрывался за косогором, дед все смотрел и смотрел на дорогу и с тревогой шептал:

— Удержится чи не удержится? Вернется чи не вернется?

Ехали по высокому берегу Днепра. По широкой, сверкающей под солнцем глади реки плыли пароходы, лодки, и оттуда доносились веселые голоса. Вдали поблескивали строения Днепрогэса. Теперь там все казалось низеньким, приземистым и тонуло в серебристой дымке. Не верилось, что ночью оттуда разливалось на всю степь море огня. Вокруг открывались бесконечные степные дали. Как и вчера, доносился рокот полевых машин — комбайнов, тракторов, жаток. Когда воз спустился в балку, поросшую кудрявым леском, обдало утренней прохладой, а веселый птичий щебет заглушил степные звуки.

Сашка смотрел вокруг и все больше успокаивался, настроение улучшалось. Он уже думал, как встретит в детском доме новых товарищей, как будет с ними дружить, играть, купаться, бегать по лесу. Теперь он станет жить совсем по-другому — по-хорошему, так, как советовал дед Макар.

Вскоре Сашка увидел в лесу лагерь детского дома: аккуратные дачи, украшенные ветками и цветами, белые палатки, ровные дорожки, посыпанные песком, воспитанников в белых майках и синих трусах. У него так радостно стало на душе, что он не вытерпел и спрыгнул с воза. Захотелось и самому быть чистым. И чтоб не позориться своим драным ватником, он сунул его под куст акации. Тельняшку аккуратно заправил в брюки.

Но, всмотревшись в ребят, Сашка вдруг остолбенел от удивления: да ведь это был тот же самый детдом, из которого он бежал! Значит, опять надо идти к ненавистному крикливому человеку с прокуренными рыжими усами. Это так неприятно, что даже ледяные мурашки побежали по телу. Потом испарина росинками просту-

пила на лбу. С минуту Сашка колебался: не вернуться ли к деду Макару?

Но к нему со всех сторон уже бежали ребята:

— Сашка вернулся!

— Наш Матрос вернулся!

— Где ты был? Рассказывай!

Сашка отмахивался от вопросов. Сердце его сильно забилося.

А ребята все тараторили:

— Смотри, как у нас хорошо!

— У нас есть свой яхт-клуб, свои капитаны, свои штурманы!

Да, Сашке и самому здесь нравилось. Капитаном не прочь и он стать.

— А где Петр Лукич? — тихо спросил он.

Директор шел от реки, перекинув мохнатое полотенце через плечо. Лицо его уже загорело, пополнело, стало добродушнее, и прокуренные усы не казались такими страшными, как прежде, даже лысина поблескивала весело.

И Сашка приободрился. Орава ребят увлекла его навстречу директору. Сашка готов был вести себя здесь так хорошо, чтобы даже Петр Лукич не жаловался на него и все было благополучно.

— Здравствуйте, Петр Лукич! — по-родственному радушно приветствовал Сашка.

Но директор, пристально разглядев его, сразу помрачнел и сердито спросил:

— Ты откуда, беглец? Кто тебе позволил появляться тут? А какой лохматый, рваный! Еще заразу сюда принесешь.

— Какой есть, — потупясь, ответил Сашка, сгорая от стыда перед ребятами. И уже тихо, с трудом выговорил: — Я пришел проситься. Примите меня обратно!

— Обратно? Это мы еще посмотрим. Да и не могу я без района... Ты, видно, и чужие карманы чистил?

А вокруг директора уже толпились ребята:

— Примите его, Петр Лукич! Примите!

— Ладно, — наконец согласился директор, попыхая папиросой. — Сам похлопochу за тебя. Оставайся. Только ты должен извиниться передо мной, перед воспитательницей и всеми ребятами — на линейке перед строем.

Сашка даже вздрогнул от возмущения: значит, директор все прежнее помнит и по-прежнему несправедлив к нему. С самого начала злить директора было неразумно: «Может, он еще и примет...», но Сашка не сдержался и упрямо сказал:

— Мне не в чем извиняться...

Прокуренные усы Петра Лукича недовольно зашевелились.

— Ах, вот как! — угрожающе сдвинул он брови.

Но ребята опять атаковали его, со всех сторон подталкивали Сашку:

— Да согласись; что тебе стоит. И побежим на Днепр. Или хоть молчи...

Сашку все-таки приняли.

В лагере было так хорошо, что он скоро забыл свои огорчения. Он собирал для гербария растения, запоминал названия насекомых, птиц, рисовал Днепр; ему хотелось, чтобы вода на рисунке сверкала, как живая. Ему нравились пионерские зори, беседы, игры и песни у костра. Он готов был дни и ночи проводить на реке. В «военных» играх он командовал своим «торпедным катером», неожиданно налетал на противника, добиваясь от лодочки особой быстроты и подвижности. С гордостью вспоминал он рассказы бабушки о знатных людях матросовского рода и мечтал стать моряком.

Потом детский дом вернулся в город. И там жилось неплохо. Правда, были у Сашки два больных места: самолюбивый и гордый, он остро переживал, когда кто-нибудь из ребят упрекал его в бродяжничестве. Тогда он замыкался и чувствовал себя одиноким. И сильнее одолевало беспокойство о Тимошке, пропавшем без вести. Но ребята скоро перестали вспоминать о прошлом Сашки; реже думал он и о Тимошке. А спустя год совсем успокоился и жил почти беззаботно.

И вдруг пустяковое, на первый взгляд, событие выбило его из колеи.

В столовой недосчитались плитки шоколада.

Директор вызвал Сашку в кабинет.

— Сознайся, что ты взял. Ты вертелся там.

Сашка помрачнел. Директор задел самое больное место: ну да, ему не верят, его все еще считают здесь чужаком, бродягой, способным на все...

— Я не брал, — глухо сказал Сашка. — Верьте со-

вести, не брал, — раздельно произнес он слова деда Макара, которые стали для него значительными, как клятва.

— Зачем ты отпираешься? Не хочешь со мной быть откровенным, так придется сознаться в своей вине на линейке перед строем ребят. Пусть все знают, что ты за птица...

Сказал это директор и, как показалось Сашке, нарочно презрительно пыхнул в его лицо табачным дымом. И возмущение будто жаром обдало Сашку: значит, Плук по-прежнему несправедлив к нему.

— Как вы можете не верить совести? — крикнул он, и злые слезы брызнули у него из глаз. Презирая самого себя, что «слезу пустил», Сашка быстро повернулся и убежал.

Озлобленный, он долго бродил по улицам города. И когда два оборванца предложили ему ехать с ними на Волгу, он как-то бездумно согласился:

— Да, нам по пути. Где-то на Урале живет моя тетя.

После незабываемой встречи с дедом Макаром ему захотелось иметь свою родню. Он представлял себе тетю такой же доброй, какой была мать. А если не удастся разыскать тетку, — не страшно: детские дома ведь есть везде.

Когда на ночь Сашка не вернулся в детский дом, всех встревожило его исчезновение. Ночью некоторые воспитанники от возбуждения не могли уснуть. Нашлись и такие, которые стали готовиться к побегу.

Утром к директору пришла плачущая девочка.

— Петр Лукич, Саша не виноват... Я во всем виновата... Люблю до смерти сладкое! Я взяла шоколад, — говорила она, обливаясь слезами. — А Саша не такой... Вы его не знаете, — он гордый.

Ошибка воспитателя — самая страшная ошибка. Она может искалечить человека. Не одну бессонную ночь провел директор, вспоминая этот случай. Однако ошибку исправить было невозможно.

Сашу Матросова искали везде, но так и не нашли.

Глава VI

НОВАЯ СЕМЬЯ

Его доставили в Уфимскую детскую воспитательную колонию в начале весны. Уже сильно пригревало солнце. Весело звенели ручьи. В оврагах дотаивал почерневший ноздреватый снег, а на пригорках уже ярко зеленела трава, желтели еще без листьев одинокие маленькие на тонких мохнатых ножках цветы мать-и-мачеха.

С высокого холма Сашка смотрел вокруг. За дощатым серым колонийским забором открывались далекие луга, леса, еще темные, но с еле заметными зеленоватыми оттенками, блестели от солнца разлившиеся реки — Белая и Уфимка. В синем солнечном небе — торжествующий перезвон жаворонков, манящие журавлиные зовы. Всюду в природе веселое весеннее возбуждение. Приподнятое настроение и у колонийских воспитанников, что проходят мимо и с интересом рассматривают его, новичка.

Только у Сашки тяжело на душе, и ни до кого ему нет дела.

Белолицый кургузый паренек в лихо сдвинутой набекрень фуражке, шагая важно вперевалку, остановился против Сашки. Расставив ноги, высокомерно осмотрел новичка — его кепчонку, из дыры которой на макушке торчали волосы, замызганный рваный ватник, подпоясанный веревочкой, стоптанные тапочки.

— Из какой Африки прибыть изволили? — насмешливо спросил он.

— У меня Африка одна, и дорога до нее не длиннее твоего языка, — отрубил Сашка и отвернулся.

На пороге бани уже стоял высокий белобрысый парень.

— Иди, Брызгин, не приставай, — сказал он. — Сам ты был таким.

— Везет тебе, Чайка, — усмехнулся Брызгин. — В прошлое твое дежурство привели графа Скуловорота и рыжего клоуна, а сегодня этого...

— Еще не известно, где потеряешь, где найдешь, — сказал Чайка и обратился к Сашке: — Не обращай внимания на него. Заелся.

— А мне плевать, — важно сквозь зубы чиркнул слюной Сашка. — Все равно сбегу...

Он с тоской и завистью еще раз взглянул на улетающих журавлей и пошел на «санобработку». Ой, не так все пошло в жизни, как он предполагал! Убежал из детства с твердым решением разыскать на Урале тетю Аню, но так и не нашел. По дороге на Урал его увлекли с собой два лихих попутчика, такие же оборванцы, как и он сам. У них оказалось много заманчивых путей, и Сашка заколесил по свету.

Теперь он с горечью вспоминал вечер, когда милиционер задержал его в Саратове, на Чапаевской улице, сняв с подножки трамвая. Кто-то там еще хотел бить его и кричал: «Пора кончить это безобразие, этот дикий пережиток»!

Сашке все было безразлично. Из-за Волги надвигались сумерки. Вечер был свеж и чист. Изредка налетал из-за угла зябкий ветерок. Сашка дрожал от волнения и холода, постукивали зубы. Потрепанная одежда грела плохо. Только в отделении милиции немного согрелся.

Вот как получилось: хотел еще немного попутешествовать, увидеть новые места, но попал в милицию.

В колонии тоже все начиналось с неприятностей и все было ему не по душе.

Вот и этот белобрысый Чайка, который вначале даже понравился ему, теперь стал придирается.

Когда Сашка разделся, Чайка брезгливо подцепил кочергой его одежку и поволок к двери.

— Куда? — спросил Сашка.

— В печку, — невозмутимо ответил Чайка.

— Не тронь! — грозно сказал Сашка и угрожающе прищурил левый глаз, чему научился от одного ухаля.

Чайка, тоже, вероятно, видевший виды, рассмеялся:

— Да что тебе, жаль этого фрака-лапсердака? — ткнул он в рванный и грязный ватник. — Или жаль эту вшивую тряпицу? — поддел он тельняшку. — Я тебе выдам весь комплект одежды. Все новое, чистое, стерильное. Понятно?

Сашка возмутился надругательством Чайки над его фамильной гордостью — матросской тельняшкой.

— Все бери, а тельняшку не тронь.

— Не могу! — твердо сказал Чайка. — Я дежурный и за все отвечаю. Понимаешь? А в каждой твоей тряпке — целый воз инфекции. Ребят еще заразишь...

Сашке казалось, что Чайка нарочно подбирает самые обидные слова. Он сжал кулаки, готовый постоять за себя.

— Говорю, все бери, а тельняшку не тронь! — крикнул он, часто дыша. — И зубы не скаль, когда с тобой говорят серьезно.

Чайка подошел ближе, взглянул на новичка. От гневного дыхания у того ходуном ходили лопатки. Видно, вдосталь хлебнул горюшка этот паренек. О, с ним, Чайкой, еще и не такое бывало!

— Ладно, шут с тобой, — добродушно засмеялся Чайка. — Возьми тельняшку, если она тебе так дорога, но выстирай ее и храни у себя, а белье наденешь чистое, как у всех. И пугать меня больше не надо — пуганный уже. А тебе придется выполнять все требования, иначе заклюют тебя сами же ребята. Договорились?

— А я ненавижу разных указчиков. Ясно?

— Ну добре, иди мойся хорошенько. Не спеши... — пропустив мимо ушей последнее заявление, сказал Чайка.

По пути в общежитие, одетый во все чистое, Сашка упрямо твердил себе: «Все равно убегу! Осмотрю и убегу. Никакие цепи меня тут не удержат. Помотаюсь по свету, погляжу на все, а потом сам пойду в детдом или поступлю на завод. Сам решу, куда мне идти! Сам!... Не маленький, чтоб за нос водили»...

Решение бежать из колонии укреплялось с каждым

днем, — возникали все новые к тому причины. Накапливались неприятности. Вечером с непривычки долго не мог уснуть в чистой постели. Хрустящие простыни сверху и снизу будто щекотали тело; мешали спать и разные думы и тусклый фиолетовый, будто недремлющий и всевидящий огонек. А утром, когда Сашка разоспался, — вдруг побудка. Все воспитанники повскакали со своих коек, засуетились. Ребята заправляли койки, бегали с полотенцами, бойко и весело говорили. И чего веселятся? Кто-то крикнул и Сашке, чтобы вставал, — довольно потягиваться и зевать: через сорок минут санитарный осмотр. И он оказался-таки в смешном виде, когда в спальне вдруг все стихло, умытые и одетые воспитанники выстроились каждый у своей заправленной койки и очкастый сутуловатый воспитатель с дежурным воспитанником-санитаром начали обход. А Сашка ничего еще не успел сделать. Он стал у раскрытой своей койки в одном белье.

— А это что за цирк? — спросил воспитатель, указав на Сашку.

Ребята хмыкнули каждый себе под нос, но громче смеяться над Сашкой не посмели, — видно, из уважения к воспитателю.

— Извините, Трофим Денисович, — сказал Брызгин, покраснев до ушей. — Правила внутреннего распорядка ему объясняли, но... но это такой ухарь из бродячего цирка... Никого не желает признавать.

— Не балагурь, — строго сказал воспитатель Брызгину, взглянул на Сашку своими карими острыми глазами и молча пошел дальше.

И сразу о Сашке будто все забыли. Это его взорвало:

«Плохой воспитатель! Даже не выругал за непорядки. Не сказал мне ни одного слова. Никакого внимания. Да лучше хоть ударил бы»...

Но о нем, оказывается, вспомнили: прибежал запыхавшийся и злой коротконогий Брызгин, накричал:

— Ты что позоришь весь наш отряд? Мы соревнуемся!.. Надо уже начинать уборку помещения, идти на зарядку, потом на завтрак, а ты все копаешься, как старуха.

— Убирайся! — огрызнулся Сашка. — И без тебя тошно...

Его направили в школу — учиться и в слесарно-механический цех мебельной фабрики — работать после уроков.

В школе Сашка сразу же решил показать себя перед ребятами смелым и независимым. Когда бродяжничал, ему казалось, что именно таких и побаиваются, даже выбирают вожаками. Не прочь он и здесь верховодить. Для начала никакой особой выходки он не придумал. Только когда вошла в класс учительница Лидия Власьева и все уселись за парты, он ловко запустил бумажный самолетик. Белая птичка пролетела над головами и, закружившись штопором, упала у двери. Лидия Власьева, сидя за столиком, сделала вид, что ничего не заметила. Она встала, пригладила седеющие волосы, окинула взглядом класс и в упор посмотрела на новичка.

— Ну, нашего полку прибыло, кажется. Кто у нас Матросов?

— Я! — нехотя, с мрачным видом буркнул Сашка.

— Встань, Матросов. У нас принято вставать, когда отвечаешь учителю. Родители у тебя, сынок, есть? — ласково спросила Лидия Власьева. Сама она одинока: мужа-большевика в гражданскую войну замучили белые, а единственный сын Владимир недавно ушел добровольно в Красную Армию. И всю материнскую любовь и ласку она щедро отдавала воспитанникам. — Что же ты, Матросов, не отвечаешь?

Сашка молчал. Теперь он уже был не таким, как у деда Макара: огрубел, пока бродяжил, и к людям стал относиться с недоверием. Ему казалось, что все смотрят на него с жалостью и даже с презрением, как на пропащего. Решив бежать из колонии и не желая притворяться и кривить душой, он избегал откровенных разговоров. И непонятно было ему, почему учительница так ласкова с ним.

«Плохая учительница, — подумал он. — На салазках ко мне подъезжает, вместо того, чтобы меня за шкуру да в угол... Видно, сама меня боится. Веревочки вить из такой можно»...

— Чего пристаєте ко мне? На что я вам сдался? — наконец ответил он вопросом на вопрос, не выдерживая пристального взгляда учительницы.

Лидия Власьева тяжело вздохнула: не легко будет

с этим новичком! Что ж, через ее руки немало прошло таких. Приходили они в колонию грязные, оборванные, грубили, а то и буянили, а уходили через несколько лет настоящими людьми. Каким же станет этот диковатый паренек с прямым и недоверчивым взглядом?

Она понимала, что именно от нее во многом будет зависеть это.

Скрывая свое волнение, твердо и требовательно сказала:

— Убери, Матросов, свой самолет. Зайдет кто-нибудь — всех осудит: в классе намусорено.

Сказала и опять уткнулась в классный журнал, буд-то уж и забыла о пустячном самолетике. Но сама сидела, как на иголках. Не захочет выполнить ее приказание — тогда что?

И вот, когда ее раздирали сомнения, она услышала напряженный шепот: «Что ж ты сидишь? Иди. Или кишка тонка?», «Или ждешь, чтоб мы за тебя убрали?»

Это были первые проблески торжества Лидии Власьевны: «Мы»... «мы»... Они и я — «мы». Они — мои», — мысленно твердила она. Потом услышала нерешительные, медленные шаги...

Лидия Власьевна подняла голову, когда он уже шел обратно. Счастливая от сознания, что все кончилось благополучно, она приветливо улыбнулась ему.

— Видишь, Матросов, какая еще несовершеннолетняя твоя авиатехника? И до порога не долетел самолет. Ничего, друг. Может, именно твой первый самолет и на другую планету полетит... — И обратилась ко всем: — Ну, что на сегодня задано?..

В цехе Матросов в первый же день поссорился с Брызгиным, к которому его определили подручным. Он не забыл, как Брызгин еще там, у санпропускника, насмехался над ним, а в цехе этот невзрачный, но заносчивый паренек, возомнивший себя начальником, стал высокомерно поучать его, как пользоваться молотком, зубилом, когда и какой подавать инструмент.

— Поучишься у меня, — может, и станешь похожим на человека.

Сашке казалось унижительным выполнять его приказы. И когда Брызгин упрекнул его, что он плохой подручный и только зря хлеб ест, он вспылал:

— Сам нос утирать не умеешь, а командуешь.

Видали? Блоха в командиры лезет. Не буду слушаться! Ясно?

— Бродягой и останешься, — язвительно сказал Брызгин.

— Я? Я бродяга?

Сашка готов был тут же наброситься на Брызгина, но тот убежал и пожаловался мастеру.

Седой сухонький мастер слесарно-механического цеха, Сергей Львович Кудрявцев, подошел к Матросову:

— Что невесел? Может, кто обидел тебя?

Матросов не терпел покровительственного отношения.

О мастере ребята сказали ему: «Знающий, но строгий — хоть кого чище утюга выглядит». А Сашке именно и хотелось показать ребятам, что он никого не боится. Мог бы он, Сашка, в свою очередь пожаловаться мастеру, что ему трудно сработаться с чрезмерно заносчивым Брызгиным, но жаловаться — вообще ниже его достоинства.

— Пожалеть хотите? — вызывающе взглянул он на мастера. — Терпеть не могу жалости! Противно...

— Ерш какой! — с изумлением шевельнул седыми усами Сергей Львович. — Гордость ты имеешь, а невежественный гордец вроде мыльного пузыря. Сначала научись уму-разуму, тогда и гордись. А ты еще в трех соснах заблудишься. А?

Матросов отвернулся, буркнул:

— Нужна мне ваша учеба, как хомут ястребу! И так не пропаду.

Ребята у соседних верстаков засмеялись:

— Занозистый парень!

— Норовистый!

Мастер хмуро покрутил кончик уса, из-под насупленных бровей сурово взглянул на новичка и тихо сказал:

— Ну-с, вот что... Не жалеть — учить пришел тебя. Прямо тебе говорю — нянчиться, упрашивать не буду. Хочешь стать человеком — учись, работай честно, помогу во всем. Не будешь слушаться — выгоню из цеха.

«Заядлый старикашка», — подумал Матросов.

— Молотком владеешь? — спросил мастер.

— Это как? — подозрительно усмехнулся Матросов, думая, что мастер потешается над ним.

— Попадание молотком в определенную точку...

Ребята выжидающе смотрели на строптивного новичка.

Матросов не хотел ударить лицом в грязь.

— Подумаешь, «в одну точку». Пустое дело!

Но мастер сразу заметил, что молоток непослушен в руке новичка, и велел ему сначала бить деревянным молотком по деревянной колодке.

— Это насмешка! — вспыхнул Матросов. — Не буду!

— Вот он какой! Видали? — крикнул Брызгин.

Мастер посоветовал Брызгину и всем воспитанникам заняться своим делом, а сам сдержанно, но сурово стал разъяснять Матросову:

— Обучение твердости и точности удара, умение попадать в определенную точку — это не насмешка, а важное дело. Ну-с! Пробуй.

Нет, мастер, кажется, не издевается над ним. И Матросову теперь даже лестно, что мастер уделяет ему так много внимания. Некоторое время он ожесточенно ударяет молотком, косясь на ребят и прислушиваясь, не смеются ли они.

Но ребята увлечены своим делом. Лишь изредка Матросов слышит их непонятные слова. Брызгин особенно шеголяет ими. «Рейсмус»,¹ «крейцмейсель»,² «микрометр»,³ — то и дело говорит он. Сашка с ненавистью косится на Брызгина, в душе завидуя ему: тот так уверенно обрабатывает напильником деталь, время от времени обмеряя ее каким-то замысловатым инструментом.

Когда мастер вышел, Матросов сразу же накинулся на Брызгина: «Доносчик! Я так проучу тебя — век помнить будешь!» — и замахнулся молотком.

— Ты не очень-то расходишься! — предостерегающе зашумели ребята. — Брызгин прав! С него работу спрашивают.

Тогда Сашка начал подтрунивать над Брызгиным:

— Строит из себя мастера, а сам-то без году неделю работает, еще не умеет нос утирать.

¹ Рейсмус — инструмент для проведения линий по краю металла или дерева.

² Крейцмейсель — инструмент для рубки металла или дерева.

³ Микрометр — инструмент для измерения очень малых величин.

Но ребята и теперь не поддерживали его. Кто-то язвительно спросил:

— А сам что умеешь? Только языком болтать?

— Он и деревянным молотком здóрово кует подковы, — засмеялся Брызгин.

— А ты, Брызгин, в огонь масла не подливай, — серьезно сказал Чайка.

Матросов не стерпел, швырнул молоток:

— Не буду деревом по дереву бить! Нечего издеваться, насмешки строить.

Виктор Чайка — староста корпуса, куда поместили Матросова, — хотел шуткой успокоить его.

— Деревом по дереву, говоришь? — подмигнув, тряхнул он белесым вихром. — Это, брат, первая технологическая операция. Надо все по порядку. А ты больно прыткий. Не хочешь ли сразу взяться за циклоидальное зацепление?

— И ты насмешки строишь? — возмутился Матросов и гневным взглядом смерил обидчика.

Виктор Чайка выше его на целую голову; на верхней губе у него уже белеет пушок, и, видно, он гораздо сильнее. Но Сашка пригрозил ему:

— Гляди, чтоб я молотком не зацепил твой циклоедальный нос.

— Или пусть призму прямолинейную выпиливает, — сказал Брызгин, надув толстые щеки и прыснув со смеху.

От обиды у Матросова перехватило дыхание. Непонятные слова, казалось, произносили тут нарочно, чтоб больше унижить его и потешиться над ним.

— Ну, хватит шутить! — сказал Виктор Чайка, доброджелательно взглянув синими глазами на Матросова.

— А ты не кипятись и не задавайся. У тебя гонору, будто стал уже слесарем шестого разряда, а сам едва дюйм выше верстака поднялся. Учись, поможем!

— Плевать мне на вас! И без вас обойдусь.

— Зачем ему помогать? — сказал Брызгин. — Его трудней научить слесарному делу, чем медведя песни петь. Его интересует совсем другая специальность.

— Какая? — безобидно спросил Чайка.

Брызгин насмешливо запел: «Бродяга, судьбу проклиная, тащится с сумой на плечах».

— Замолчи ты, шептун-задавака! — крикнул Матросов. — Вот он всегда мне этим глаза колет! Я не бродяга! Понятно? Я путешествовал! Ясно? Я Алмазную гору... — он убежал из цеха.

Чайка накинулся на Брызгина:

— Ты сам, Гошка, вредный человек. Зачем парня в самое больное место колешь? Тебя тоже драчевым напильником прочистить надо.

Глава VII

„ОСКОЛОК СТАРОГО МИРА“

Вечером, томясь от скуки, Матросов зашел в клуб. Виктор Чайка задушевно играл на баяне, ребята замирали, слушая его.

Прислонясь к стене, заслушался и Сашка.

— Хорошо, Чайка! Здорово, Витька! — кричали гармонисту.

Потом Еремин, скуластый парень, отменный рассказчик, выдумщик и чтец, рассказывал сказки, представлял в лицах басни Крылова. Ребята хохотали.

А в другом углу Брызгин показывал ребятам на витрине рисунки:

— Вот бился, бился, никак не схватишь живую воду реки Белой, когда она, понимаешь, бликует на солнце. Ну, как у Айвазовского играет море или у Куинджи Днепр при луне! А снег на зеленых елках — здорово... Белый-белый, аж глазам больно!

«Что он там показывает? — думал Сашка. Ему тоже хотелось посмотреть рисунки Брызгина, но подойти к нему, недругу своему, Сашка считал унижительным для себя. — Наверно, мне пыль в глаза пускает. Завлекает». А сам с завистью приглядывался и прислушивался. Да, эти ребята, кажется, везде хорошо себя чувствуют: в цехе, в школе, в клубе. Только он, никому не интересный, никому не нужный, нигде места себе не находит. А когда-то и он рисовал Днепр и добивался, чтобы вода поблескивала, как живая.

Брызгин заметил его отчужденность и, к крайнему изумлению Сашки, запросто позвал, будто они и не ссорились:

— Чего там в углу притулился? Иди смотри наши рисунки.

Но Сашка резко ответил:

— Больно нужна мне твоя мазня! Детские забавы! — и повернулся к гармонисту.

Виктор Чайка играл на баяне и с улыбкой смотрел на ребят счастливыми глазами, как бы спрашивая: да понимают ли они всю прелесть звучания песни?! Смотрел он и на Сашку, на расстегнутый и лихо откиннутый ворот его черной сатиновой рубахи, из-под которой выглядывала полосатая матросская тельняшка. Вызывающий вид его будто говорил: наплевать мне на вашу аккуратность! Но Виктору приятно, что Сашка так внимательно слушает музыку. Вот глаза их встретились, и Чайка, перестав играть, подмигнул:

— Будь как дома, парень. Что стенку подпираешь? Ближе сюда иди!

Сашка ничего не ответил.

Чайка, тряхнув чубом, припал щекой к баяну и снова заиграл, подпевая:

Выйду ль я на реченьку,
Выйду ль я на быстрюю...

«Да ведь это же любимая моя! — подумал Сашка. — Откуда он знает про это?» — И опять заслушался, склонив голову.

Вдруг раздался пронзительный свист. У двери появился высокий толстый парень с маленькими медвежьими глазками и вызывающей ухмылкой на широком рябом лице.

На него гневно зашумели ребята:

— Не мешай, Клыков! Не свисти!

Клыков, подняв кулак, пробасил:

— А ну дорогу! Графу Скуловороту.

Вперед выступил Виктор Чайка, тряхнул белявым чубчиком:

— Ну, ты, осколок старого мира, воспринимай культуру без мордобоя и свиста.

Все засмеялись. Видно, совсем не в почете здесь это

чучело, именующее себя графом Скуловоротом. Но «граф» засопел и принял гневно-высокомерный вид.

— Нужна мне твоя культура, как шлея кобыле! Я сам из любого осколков наломаю. Граф Скуловорот еще никого не боялся. Верно, Жак Паганель?

— Верно, мы такие! — пропищал худенький рыже-волосый паренек, забежав вперед и заискивающе хихикая.

«Тимошка!..»

Сашка остолбенел от изумления, узнав своего прежнего дружка и спутника. Но ему было неприятно, что Тимошка так юлил перед Клыковым. Стоило ли из-за него так терзаться, когда потерял его?

А Тимошка уже бежал к нему:

— Сашка, друг, ты меня не признал? Вот здорово, что мы встретились! — И сразу спросил о том, что больше всего, видно, волновало его: — Нравится тебе в этой богадельне?

— Как в могиле, — поморщился Сашка.

— Вот здорово! — обрадовался Тимошка и, отчаянно прищурив один глаз, быстро и загадочно зашептал ему в ухо: — Значит, скоро улетим...

Он позвал:

— Эй, граф Скуловорот, сюда!

Клыков важно, вперевалку подошел к ним и до хруста сжал Сашкину руку.

— Терпи, — мрачно ухмыльнулся Игнат Клыков. — Железные тюремные решетки и ломы гну этими руками. И не родился еще на свет человек, кого б я боялся.

Тимошка опять заискивающе хихикнул:

— Он такой! Страшная сила. Никого и ничего не боится. С ним можно хоть на край света... А ты, Сашка, как попал сюда?

Они отошли в угол.

Тимошка тряхнул своей огненно-рыжей головой и опять таинственно подмигнул Сашке:

— Так вот мы с ним все и обдумали... Подговорим еще с десяток хлопцев — и улетим, как те журавлики. — И руками, как крыльями, помахал: — Кур-лы, кур-лы... К Алмазной горе или на Амур, на Камчатку или куда захотим полетим...

Сашка вспомнил, как он сам с завистливой тоской смотрел на улетающих журавлей. Ну, просто думы его

разгадал Тимошка. Что же тут еще раздумывать? Конечно, хорошо, что у него нашлись единомышленники.

Сашка уже не чувствовал себя таким одиноким. Не надо больше ему унижаться перед ненавистным зазнайкой Брызгиным и терпеть насмешки ребят.

— Ладно, попробуем... А то меня одного тут совсем загрызли.

Про себя Матросов решил: он будет у них вожаком, потому что Клыков малограмотен, явно глуповат, хотя и чрезмерно самоуверен, как и все неумные люди. А слабосильный, безвольный Тимошка и прежде шел у Сашки на поводу.

Заговорщики пожали друг другу руки.

— Значит, дружба и тайна.

— Башку отвинчу тому, кто тайну нарушит. Слово графа Скуловорота — кремень!

Они вышли из клуба.

Глава VIII

ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ

И снова Сашкой овладела неодолимая страсть к путешествиям. Всю ночь он ворочался с бока на бок и думал о самых заманчивых и трудных маршрутах, необычайных приключениях. Приятный дымок степных и лесных костров манил Сашку, и он с волнением ждал сигнала.

Днем в школе и в цехе он был рассеян, отвечал невпопад, ребят сторонился, грубил, из-за пустяка лез в драку.

В цехе не хотел приступать к работе. Когда подошел к нему мастер, он с залихватским видом сидел на верстаке и посвистывал.

— Ну -с, первую операцию освоил? — спросил мастер.

— Да, — небрежно буркнул Матросов. Смешной старик! Зачем теперь ему, Сашке, эти нелепые упражнения?

— Так-так, — многозначительно сказал мастер, испытующе глядя ему в глаза.

Старик будто видел Матросова насквозь, со всеми его горькими думами и тайными затеями. «Понимаю, что врешь, — тем хуже для тебя. Много на своем веку я таких видел. Знаю вашего брата», — говорил взгляд старика. И Сашка отвернулся.

— Слезь с верстака и стань как следует! — строго сказал мастер. — Почему под ногами и на верстаке мусор? Почему молоток под верстаком валяется? Всякая

вещь должна быть положена на свое место, а не брошена. Мне за тебя убирать?

«Придира!» — злобно подумал Сашка, но промолчал.

— Ну что ж, дело красит человека, — подумав, сказал мастер. — Принимайся за следующую операцию, если правда, что первую освоил. Рубка металла зубилом — вертикальная, горизонтальная, по уровню губок тисков.

Мастер обстоятельно объяснил, как это делается. Сашка слушал его с притворным вниманием. Когда мастер ушел, Сашка понял, что почти ничего не усвоил из его объяснений. Ему ведь все это не нужно: он твердо решил бежать отсюда и поработать лишь для отвода глаз.

Поглядев на Чайку, Матросов заметил, что трудится тот с большим увлечением и мастерством. И Сашке тоже захотелось работать без притворства. Но инструмент не слушался его: то зубило соскальзывало, то молоток попадал не по зубилу, а по рукам. Липкая кровь сочилась из пальцев. Матросов, кривясь от боли и все больше ожесточаясь на себя за неловкость, бил и бил молотком то по зубилу, то по рукам.

«Врешь, попаду, попаду!» — упрямо говорил он неподатливому зубилу, морщась от боли.

Но дело не ладилось, и он злился на себя все больше. Видно, и правда, он такой никчемный человек, что ничего путного не умеет делать. И зачем только врал мастеру, что освоил первую операцию? Надо было научиться деревянным молотком попадать в определенную точку, и не отшибал бы теперь себе пальцы. Получается, что он только теперь усваивает первую операцию и так трудно она дается.

Больно ударив себя по пальцу, он бросил это нелепое состязание с самим собой. Часто дыша, швырнул молоток и стал дуть на ссадину и кровоподтеки.

К нему подошел Виктор Чайка.

— Зачем калечить себя? В инвалиды захотел? Сергей Львович объяснял же тебе, как надо делать.

— Придира твой Львович. Ненавижу его! — выпалил Матросов.

— Как сказать: не суди о человеке по первому взгляду. Его бывшие ученики стали директорами заводов,

профессорами, лучшими производственниками. Сам он был слесарем-лекальщиком и лет десять назад самоучкой на инженера выучился. Думаешь, это просто? Тут, брат, надо было упорством гору свернуть. Нет, Львовича мы все любим. Знающий, справедливый.

— Не агитируй, — чего пристаешь? Нужны вы мне все, как...

— «Хомут ястребу»? — засмеялся Виктор. — Видишь ли, мне рук твоих жаль. Удар у тебя неточный. Так без пальцев останешься. Ты зря не освоил первую операцию. Наше дело, брат, — большая наука. Тут надо ступеньку за ступенькой, прием за приемом одолевать.

— Чего пристаешь, говорю? — повысил голос Матросов. — Какое тебе дело, как я работаю?

— Наше общее дело, — невозмутимо ответил Чайка. — Дело чести всего цеха.

— Больно нужна мне ваша честь! Без нее обойдусь.

— А мы так и скажем на собрании, что тебе честь недорого, что без чести жить хочешь.

— Много вас тут указчиков, а я один. Без вас обойдусь.

— Без людей и без чести не обойдешься, Матросов. Попомни мое слово. Как птица без воздуха не летает, а рыбе без воды не плавать, — человеку без людей не жить. А ты чего ломаешься, отворачиваешься, когда тебе добра хотят?

В самом деле, глупо было дерзить Виктору, который искренне хотел помочь ему.

Все-таки он взял молоток и зубило и стал работать так, как советовал Чайка.

Но тут появился Клыков и насмешливо заглянул через плечо на его работу:

— Стараешься, Матрос? Кашу зарабатываешь? Уже перевоспитался? Вот не знал я, что ты такой ручной. Зяблика за орла принял.

Матросов поморщился и поспешно спрятал за спину руки в ссадинах.

— Потом увидим, кто орел, кто зяблик.

А из-за плеча Клыкова высунулась рыжая голова Тимошки.

— Бросай, Сашка, пойдем прохладиться, — гримасничая, сказал он.

На него угрожающе прикрикнул Брызгин:

— Отойди от Матросова, ты, компрачикос!

— Что? Как ты назвал? — грозно спросил его Тимошка и Клыков.

Брызгин боязливо попятился.

— Читайте Гюго «Человек, который смеется», — узнаете.

— Мы с графом Скуловоротом припомним тебе этого компрачикоса! — погрозил Тимошка, прячась за спину Клыкова.

— В самом деле, не мешайте Матросову работать, — сказал Виктор Чайка. — Уходите! Куда вы его тащите, бродяги бездомные?

Клыков вызывающе захохотал:

— Выходит, мы пропащие и Сашку развращаем. А мы обое-рябое, одинакие с ним.

— Не очень-то одинаковые. И мы не позволим тебе сбить Сашку с толку.

Матросову показалось унижительным покровительство Чайки. И в самом деле, не зяблик он, чтобы за него решали тут, с кем ему быть.

— Я тобой не купленный! — крикнул он Чайке. — Никто меня с толку не собьет! Своим умом живу.

— Плохо живешь, раз на веревочке за Клыковым идешь.

— Молчи, заступник! — Клыков схватил железный прут, как фокусник, согнул его в спираль и отшвырнул в сторону.

Но Чайка, видно, не испугался.

— Велика Федора, да дура, — весело сказал он. — А Сашку не тронь.

— Пошли, — сказал Клыков, положив тяжелую ручищу на плечо Сашки. — Пойдем, а то руки чешутся. Боюсь, и мокрого места не останется от этого учителя, — кивнул он на Чайку.

Сашка вдруг засмеялся, вспомнив, как называли ребята Клыкова: «Осколок старого мира». . . Нет, не позволит он и Клыкову считать, что он, Сашка, у него на поводу. Матросов брезгливо сбросил со своего плеча руку Клыкова и вышел из цеха.

Глава IX

СУД ДРУЗЕЙ

Мастер цеха, Сергей Львович, ночью долго не мог уснуть, думая о воспитаннике-новичке. Как вызвать интерес к труду, к учебе у этого дерзкого, бесшабашного паренька? Как и чем на него воздействовать? У Сергея Львовича немалый житейский опыт. Много таких, как Матросов, прошло через его руки; к каждому из них надо было придумать особый подход. Одного можно пронять властным окриком, другого, наоборот, — теплым словом, третьего — полным безразличием к нему. Как же повлиять на Матросова?

Утром Брызгин, по совету мастера, объявил Матросову:

— Можешь к работе не приступать. Без тебя справимся.

Матросов посмотрел на суровые лица ребят. Почувствовал недоброе в словах Брызгина, запротестовал:

— Так я тебя и послушал! Назло вот буду работать.

Может, он и в самом деле принялся бы за работу, но опять вмешался Клыков. Он боялся потерять сообщника и сдержанно, чтоб не рассердить, но язвительно упрекнул Сашку:

— Сам набиваешься на работу, Матрос? Ну, дожили!

Сашка смутился: и правда, зачем ему работать, если решено бежать? И он опять пошел за Клыковым, но очень обеспокоился, когда вдогонку Брызгин крикнул:

— Вечером на цеховом собрании о тебе специальный вопрос будет!

Весь день Сашка томился от дурных предчувствий. Клыков советовал ему на собрание не идти. Сашка и сам считал, что собрание ему ни к чему. Но беспокойство угнетало его.

Вечером какая-то сила повлекла его на цеховое собрание. Неодолимо хотелось узнать, что о нем скажут люди.

Вначале обсуждался вопрос о рытье котлована для колонийского водохранилища. Все выступающие говорили, что работа предстоит длительная, очень тяжелая, и вместе с тем почему-то просились на эту работу. Матросову было непонятно, — что же привлекательного в этом изнурительном труде? И уже совсем удивило его выступление Виктора Чайки, который сказал:

— Пойдем рыть котлован. От имени ребят я прошу доверить это нашему отряду. Ребята за честь почитают выполнить работу, которая потрудней.

«В чем же тут честь? — не понимал Матросов. — Для кого и для чего они стараются? Разве им за это дадут ордена или много денег? Так об этом и помину нет... Скорее, скорее бы уж обо мне заговорили»...

Наконец Еремин, председатель конфликтной комиссии отряда, в котором был Матросов, поднялся, глубоко вздохнул и стал читать рапорт Брызгина мастеру цеха. Все притихли; в тишине четко звучало каждое слово рапорта. Брызгин просил убрать от него Матросова, недисциплинированного воспитанника, лодыря и грубияна, который только мешает работать.

Почувствовав на себе укоризненные, будто колющие взгляды, Матросов не стерпел и крикнул:

— Подумаешь, отказывается! Я и сам не хочу с ним...

— Воспитанник Матросов, я вам слова не давал, — резко прервал его председатель.

На собрании заговорили о том, что Матросов со всеми ссорится, сам лодырничает и мешает товарищам работать. Долго не могли решить, к какому же делу его приставить.

Никто не хотел с ним работать.

Матросов ерзал на месте, точно сидел на раскаленной плите, смотрел по сторонам, ища поддержки, за-

шиты, надеясь, что хоть кто-нибудь скажет про него доброе слово, но от него все отворачивались.

Только Виктор Чайка сказал:

— Матросов — прямой и бесхитростный парень...

Матросов облегченно вздохнул: хоть один человек вступился за него! Недаром и раньше нравился ему этот белобрысый парень.

Но вот Виктор посмотрел на него в упор, и добродушные глаза его стали холодными, презрительными.

— ...Но я не понимаю, — продолжал Чайка, — чего он хочет, чего он хорохорится? Знай, Матросов: хвастунам и зазнайкам у нас — грош цена. За честную работу человека ценим. А ты только и умеешь кашу есть.

«И этот заодно с Брызгиным, — подумал Матросов. — Ненавижу их!»

— Я считаю, что и Брызгин виноват, — говорил Чайка. — Нет у него нужного подхода. Предлагаю Брызгину снова взять к себе Матросова и сработаться с ним.

— Лодырь он, не хочу его! — выкрикнул Брызгин.

— Правильно, Брызгин! — зашумели вокруг. — Гнать лодыря!

Матросов вскочил, точно его укололи, взъерошился, как воробей, сжал кулаки: ну да, здесь все, даже этот невзрачный паренек, считают его пропащим. Но что он, Матросов, может возразить им всем? Да и язык его будто одеревенел.

И вот, как суровый приговор, прозвучал голос председателя:

— Есть предложение. Ввиду того, что с Матросовым никто не хочет работать, передать его в распоряжение начальника колонии.

Минуту длилась тишина. Потом со всех сторон раздалась единодушные возгласы:

— Верно! Не нужен здесь такой.

Кто-то язвительно выкрикнул:

— Запретить ему работать и учиться — пускай, как барин, чужой хлеб ест!

Все засмеялись. Зашумели:

— Правильное наказание!

Матросов побледнел. Никогда в жизни он не слышал о себе ничего более обидного, чем на этом собрании.

«Ну и пусть, ну и пусть, — в смятении думал он: — Неважно, все равно убегу! И пропади все пропадом!»

Но все это было для него очень важно. Никогда еще так много людей, молодых и старых, не занимались им. Ему хотелось провалиться сквозь землю, чтобы не смотреть им в глаза. Неужели он, и правда, хуже всех, вредная помеха, от которой хотят поскорее избавиться? Да, выходит так, потому что все, все до одного человека, поднимают руки за предложение председателя. Кругом поднятые руки, руки, как лес. Натруженные руки, делающие множество полезных вещей и теперь грозно изгоняющие его прочь. От этих рук темнее стало в цехе. Или это темнеет в глазах?

И Матросов с ужасом почувствовал, что он один-одинешенек.

Может, еще не поздно; пообещать, что он обязательно исправится? Но ему сдавило горло, и он еле сдерживался, чтобы не расплакаться.

Это была самая горькая минута в его жизни.

Воспитатель Кравчук сидел молча, внимательно слушал выступающих, оценивая настроения воспитанников. Он не любил быть назойливым, не вмешивался в дела там, где они и без него шли хорошо. Но теперь, в решительную минуту, он что-то озабоченно шепнул Виктору Чайке.

Тот кивнул головой и встал.

— Товарищ председатель, прошу слова для внеочередного заявления.

Все насторожились и повернулись к Чайке.

Матросов слушал и ушам своим не верил. Чайка говорил:

— Товарищи, хотя и неудобно выступать по вопросу, по которому уже принято решение, но я хотел просить собрание... Я верю в Сашу Матросова и буду работать с ним. Прошу передать его мне в подручные.

Несколько мгновений все молчали, потом раздались голоса:

— Хорошо! Если ты веришь, то и мы верим.

— Пускай работает!

— Принимаем!

И точно взметнулась буря, загремели дружные аплодисменты. Все повеселели, чему-то обрадовались, посмотрели на Матросова как-то по-новому, радушно; глаза их будто говорили: «Верим тебе, Матросов, теперь дело за тобой»...

Брызгин хмуро взял со стола свой рапорт и со злостью изорвал его на мелкие кусочки.

В зале опять слышались возгласы:

— Правильно, рви эту клязу!

У Матросова брызнули слезы из глаз, и, чтоб скрыть их, он стремглав убежал с собрания.

— Куда же ты убегаешь? — вдогонку крикнул Виктор Чайка.

Брызгин злорадно засмеялся:

— Помните мое слово. Хватим еще горя с ним. Дикой!.. Зря порвал я свой рапорт на него.

— Да еще дружит он с этим графом Скуловоротом, — с сожалением сказал Еремин.

Поднялся, нахмуясь, Кравчук. Все сразу притихли.

— Сколько раз говорю: не Скуловорот, а Клыков... Забудьте, наконец, эти глупые прозвища. Пора вам, друзья, приняться и за воспитанника Клыкова. А то ходит, как буйвол, и бодается. Пора ему рога обломать, повоздействовать на него сообща.

— Таких обломаешь! — пробормотал Брызгин и обратился к Кравчуку: — Трофим Денисович, что ж мне теперь, писать на Матросова новый рапорт?

Трофим Денисович твердо ответил:

— Нет, последнее решение отменять не будем. Думаю, можно переходить к следующему вопросу повестки дня.

После собрания учительница Лидия Власьевна, мастер Сергей Львович и воспитатель Кравчук с тревогой говорили о странном поведении Матросова.

— Ох, много хлопот будет с ним! — вздохнула Лидия Власьевна. — Очень своенравный. Кроме того, он кем-то озлоблен.

— Его оскорбил Брызгин, — сказал Кравчук, — назвал его при воспитанниках бродягой. Это у Матросова, кажется, самое больное место. Я посоветовал воспитанникам окружить Матросова товарищеским вниманием, доверием... Он сам еще не знает, к какому берегу ему пристать. Надо всем нам помочь ему. Я уже знаю его стремление и его друзей. Необходимо постоянно держать их в поле зрения.

Глава X

ЛЕГКО ЛИ БИТЬ ДРУГА?

Еще до собрания Кравчук послал Клыкова на работу в подсобное хозяйство. Не видно было и Тимошки. Матросов томился один в укромных углах, стараясь не показываться людям на глаза.

Виктор Чайка разыскал его и позвал в столовую ужинать.

За столом ребята, посмеиваясь, о ком-то говорили:

— Он ведь граф или лорд. Буржуйского роду, — сказал Брызгин.

— Барин, барон или баран, — шутил Еремин, — словом, лодырь, потому и не желает работать и учиться.

— Он, кажется, слабенький. Может, на курорт его надо?

— Ленью заболел! Хвороба самая тяжелая.

Все добродушно засмеялись.

— Ничего, одного дармоеда-лодыря сообща как-нибудь прокормим!

Ребята не смотрели на Матросова, будто его тут и не было, и он толком не знал, о ком они говорили, но их едкие замечания жгли, кажется, самое сердце. Он ел все медленнее, потом хлебзастрял в горле; он бросил ложку, пролез под столом и выбежал из столовой.

События этого дня так взволновали Матросова, что всю ночь он ворочался на койке и не мог уснуть. Будь что будет, — бежать, — скорее бежать надо отсюда, бежать хотя бы потому, что стыдно смотреть людям в

глаза. И почему не возвращается из подсобного Клыков? Не показывается почему-то на глаза и Тимошка. Может, и он отвернулся от друга?

Как только Виктор Чайка согласился взять его, Матросова, к себе подручным, когда все уже отвергли его? Виктор ему не сват, не брат и не друг — никто. И почему люди на собрании захлопали в ладоши, когда Чайка высказал желание взять его в подручные? Значит, они не хотели от него, Матросова, отказаться? Но почему они все голосовали против него? А что было бы, если бы он учился и работал, как надо?

Но едва мысли Сашки прояснились и приводили к какому-то решению, он вдруг опрокидывал все одним словом: «Убегу». Тревожные думы, как тучи, надвигались снова и снова. Впервые, кажется, он так серьезно обдумывал свою жизнь.

На работу утром Сашка вышел вовремя и, потупясь, сам подошел к Чайке. Виктор, будто ничего и не произошло, спросил:

— Ты почему вчера из столовой убежал? То ребята про графа Скуловорота говорили.

Сашке не легче оттого, что речь шла о другом. Слова товарищей явно относились и к нему.

— Скуловорот — мой друг, — буркнул он, — значит, все равно что и про меня говорили.

— Плохо же ты выбираешь друзей. А у нас ведь много хороших ребят. — И, помолчав, Чайка спросил: — Ты что, Сашук, все сторонисься? Ты тут — в своей семье. В кружок бы какой записался, что ли. Веселее жить будешь.

Матросов посмотрел на замасленную рубашу Чайки, на его огрубелые мозолистые руки, в кожу которых въелась металлическая пыль и мазут, загадочно усмехнулся:

— Поинтересней кружка дело есть. Такое дело, что и ты, может, пойдешь за мной.

— Бежать из колонии? — догадался Виктор. — Нет, я уже набегался. Бегал из четырех детдомов и трех колоний. Пора за ум браться, довольно бродить по свету, как бездомная паршивая собака, — поморщился Чайка и так взглянул на Матросова, что тот смутился и на секунду сам себе показался смешным.

— Не просто бродить, — возразил Сашка. — Не бро-

дить, а путешествовать. Ясно? — И рассказал про самую главную цель путешествия — таинственную Алмазную гору, где так много драгоценных камней, что люди слепнут от их блеска.

— А гномы там есть?

— Кто такие? — насторожился Сашка.

— Малюсенькие, с пальчик, подземные человечки. И волшебники и баба-яга, видно, есть? — Не сдержавшись, Виктор добродушно рассмеялся. — Сказок, чудак, я и сам много знаю. А у меня вот дела поинтереснее, чем сказки. Я уже тут кое-чему научился, освоил опиловку и рубку металла, знаю речное сцепление, еще буду учиться и мечтаю изобрести такую интересную машину, что дух захватывает, — а ты мне про сказки!

Матросов нахмурился. Он уже сам мало верил в существование Алмазной горы, а насмешливое отношение Чайки совсем унизило его в собственных глазах. «Разговаривает со мной, как с мальчишкой глупым. Думает, совсем купил меня тем, что согласился работать со мной».

Он хотел нагрубить Чайке, уйти, но в глазах Виктора светилось такое искреннее сочувствие и доброе желание помочь ему, что Матросов смолчал.

Чайка подошел к верстаку, стал раскладывать инструмент.

— Ты, Сашук, носа не вешай оттого, что у тебя работа не клеится. Это у всех поначалу так бывает. Я тоже не умел даже молоток правильно держать. Известно, без навыка и щип в ложке мимо рта пронесешь, — весело подмигнул Чайка, зажимая в тиски железную пластинку. — И у тебя, друг, нет еще крепости в руках, нет точного расчета в ударе. Ну-ка, попробуем. Бери инструмент.

И Матросов спокойно и как-то незаметно перешел от разговора к делу. Он взял молоток, зубило и в каком-то радостном предчувствии удачи стал работать. Дело у него шло еще явно плохо. Молоток и зубило в нетвердых руках «вихлялись», но Чайка подбодрил своего подручного:

— Вот уже и лучше, чем вчера. Только постарайся еще точней. У тебя на кромке, видишь, зазубрины, горбинки, выемки, а надо по прямой линии, вот так, — и стал показывать, как надо рубить.

Матросов смотрел на ловкие движения рук Чайки, и вдруг ему неодолимо захотелось поговорить с этим веселым парнем, поговорить о чем-то очень важном. И не знал, с чего начать.

Матросов с искренним усердием принялся обрубать зубилом зажатую в тиски пластинку, как учил его Чайка, но, взглянув в окно, увидел своего дружка, Тимошку. Тот вел себя как-то подозрительно: идя с воспитателем Кравчуком, он забегал вперед, заглядывал в лицо Кравчуку, о чем-то взволнованно говорил.

«Неужели продался? — с тревогой подумал Сашка. — Тогда все пропало».

У Сашки сразу пропал интерес к работе. Томясь у верстака, он с нетерпением дождался обеденного перерыва, чтобы разыскать Тимошку. Тимошка сидел в скверике на скамье, уткнувшись в книгу.

Сашка подбежал к нему, сел рядом:

— Ну как, скоро в полет? — спросил он о том, что больше всего сейчас волновало его.

Тимошка замялся, попытался схитрить:

— Понимаешь, Сашка, такая книга, такая книга, что дух захватывает...

— Не заговаривай мне зубы, отвечай, — когда летим? — уже со злостью спросил Сашка.

— Не знаю, — сказал Тимошка, испуганно встал и попятился: — И вообще пусть тот летит, у кого хвост длинный...

— А ты? — почти вскрикнул Сашка, чуя недоброе, и вскочил на ноги.

— Я раздумал.

— Как так «раздумал»? — шагнул к нему Сашка, еще не веря его словам: может, Тимошка тоже решил пошутить, поиздеваться над ним? Теперь, после злополучного собрания, всякий может над ним издеваться. А Тимошка — известный артист-кривляка. — Ты мне, клоун несчастный, тень на плетень не наводи! — Сашка зловеще прищурил левый глаз. — Ты мне правду говори.

— Я правду...

Сашка понял: нет, не шутит он.

— Как ты посмел без меня решать? — глухо спросил Сашка, сжимая кулаки. — Как мог нарушить обещание? Да мы тебя со Скуловоротом в порошок сотрем!

— Все одно, — тихо, но упрямо сказал Тимошка, отступая, — убежать не стану...

С трудом сдерживая гнев, Сашка сделал последнюю попытку убедить Тимошку, напомнив ему, что именно он, Тимошка, всегда манил его своими рассказами и звал путешествовать в Крым, на Амур, на Памир.

— Да ты вспомни, как рассказывал про Алмазную гору!.. Мы ночи не спали, мечтали... От нас польза была бы людям, если б нашли ту гору...

— Я все врал, — сказал Тимошка и усмехнулся уголками губ.

— Да как ты посмел врать про такое? — с дрожью в голосе спросил Сашка. — Ты мечту убил!

В сущности, для него теперь было неважно, есть ли на самом деле Алмазная гора. В последнее время он и сам в это верил и не верил. Но хотелось верить, что она есть. Наверно, у каждого человека есть своя Алмазная гора.

Тимошка молчал.

— Значит, и дружбе нашей конец, — со вздохом вырвалось у Сашки.

Его ошеломила неожиданная и непонятная перемена в Тимошке. Что с ним произошло? Его будто подменили. Откуда взялась такая дерзость у этого тщедушного человечка, который всегда безвольно шел на поводу у более сильного товарища? Поступок Тимошки показался Сашке верхом вероломства, предательства. Сашка уже не мог сдержаться и сгоряча дал Тимошке подзатыльник.

Тимошка закричал во все горло.

На крик подошел воспитатель Кравчук.

— Что у вас тут случилось?

Тимошка не посмел пожаловаться, но Сашка сам выступил вперед.

— Это я стукнул его по шее! И не то ему еще будет.

— Вот и заработал десять суток изолятора, — тихо сказал Кравчук. — Но ведь Шукин будто твой друг? Как же у тебя поднялась рука на друга?

— А вы думаете... — Матросов тяжело дышал, — думаете, это легко?..

— Малый ты дерзкий и, видно, откровенный. Поговорим еще...

Матросова увели в изолятор.

Глава XI

ПУТИ К ЗВЕЗДАМ

Шервые двое суток он просидел в изоляторе бездумно: ел, спал, иногда даже напевал что-нибудь — и ждал. Вот-вот придет Скуловорот, откроет дверь и скажет: все готово, можно бежать. Но Клыков все не шел. Матросов стал задумываться. Пропал вкус к еде, сон. Ночью в изоляторе гнетущая тишина. Только изредка шальной весенний ветер гремел железом на крыше.

Матросова все больше угнетало одиночество. Иногда в ночной тиши чудился тихий ласковый голос матери: «Один растешь, Сашенька?» И будто крыльями опахнет его и улетит. Укор ли в словах матери или сочувствие? А на душе все равно тяжело. Вот и теперь, после такого сновидения, он думал до утра. И почему-то даже думы о побеге уже не давали никакого утешения. Ничего доброго, кажется, побег не сулил, но Сашка с отчаянием думал: «Все-таки уйду. Все равно мне тут не житье. Все меня здесь считают пропащим»...

Вечером стало еще тоскливее. Пошел дождь, и, кажется, затяжной. Ветер то и дело швырял в окно дождевые капли, и они монотонной мелкой дробью ударили в оконные стекла. Вот уже и стемнело. Под потолком зажглась тусклым оранжевым светом электрическая лампочка. А за окном в темноте дождь все шумит и, видно, будет идти всю ночь. Только бы уснуть и ни

о чем не думать! Хватит, не мало помучила Сашку бессонница в прошлую ночь.

Но вот сквозь дробь дождевых капель Сашка услышал четкое, редкое постукивание в окно, будто дятел клювом. Охваченный волнующим предчувствием, он вскочил с койки и подбежал к окну. Сквозь водяные потоки, струящиеся по стеклу, Сашка с трудом разглядел в слабом свете мокрое рябое лицо Клыкова. Изолятор был в первом этаже, и тот заглядывал в окно, приподнявшись на носки. С козырька кепки, с ушей, повернутых вперед, как у обезьяны, и по лицу Скуловорота стекала вода, но он весело улыбался, что-то говорил, касаясь толстыми губами стекла, кивал головой и делал руками какие-то знаки.

«Вот он пришел, мой новый друг и спаситель, — думал Сашка. — И дождя не побоялся ради меня»... По жестам, гримасам и обрывкам фраз Клыкова Сашка понял, что тот сделал для их побега что-то важное и теперь все в порядке.

Потом Клыкову, видно, помешали продолжать эту необычную беседу, и он скрылся.

В изолятор вошел воспитатель Кравчук. У порога снял фуражку, стряхнул с нее капли воды, повесил на гвоздь мокрый парусиновый плащ, аккуратно расправил спереди под поясным ремнем складки гимнастерки и потом уже скупой улыбнулся Матросову:

— Дождь-то льет и льет. Что ж, для нашего подсобного хозяйства и вообще для посевов это — золото. Все теперь быстро пойдет в рост. Особенно озимые.

«Зубы заговаривает», — подумал Матросов.

— А я вот навестить пришел тебя, — потирая озябшие руки, сказал Кравчук.

— Вот и зря стараетесь, — буркнул Матросов, не скрывая своей неприязни к гостю.

— Что «зря»? ..

— Зря, говорю, под дождем мокнете.

— Почему же «зря»? Хочу узнать, как живешь.

«Пришел проверить, не убежал ли. Сам же загнал в эту кутузку да еще спрашивает, как живу. И чего они все пристают ко мне?» После встречи с Клыковым посещение воспитателя было тем более нежелательным.

— Хорошо живу, — холодно ответил он. — А вы пожалеть пришли?

— Да что тебя жалеть? Жалела Маша ежа, да сама накололась. Ты уже не маленький, сам за себя постоишь. Мне, знаешь, даже понравилось, что ты не юлил, не прятался в кусты, а прямо и честно признал свою вину. Я хочу об интересных делах с тобой поговорить.

Матросову приятно, что Кравчук признал его самостоятельность.

«Хитрый, да меня на удочку не подцепишь! — оживляясь, подумал он. — Пришел, наверно, поучать и воспитывать. Со скуки, пожалуй, поболтаю с тобой, а ты подозревать меня меньше будешь». Но о чем с ним говорить? Знает Сашка этих воспитателей. И Кравчук, наверно, как детдомовский Плук, будет подозревать, выпытывать, укорять и не верить. Известно, дело воспитателей — в свою сторону гнуть, а наше — не поддаваться. Они любят говорить об учебе, о серьезных книгах, ну и пожалуйста. Вот, к примеру, можно выяснить один казус, какой произошел с Сашкой позавчера. Он пришел в библиотеку. Библиотекарша предложила ему книгу про путешествия. Сашке это кстати: он ведь и себя считал путешественником. Но стал читать, как путешествовал Козлов, — и не понравилось: больно по-ученому написано, много непонятного. Почитал через пятое в десятое и бросил. Но ведь стыдно в этом признаться. Вот о нем и спросить Кравчука, об этом самом Козлове. А если воспитатель не знает, тем занятнее Сашке. Ихнего брата, воспитателей, только и можно «заморить» вопросами. Дело проверенное.

И Сашка тоном экзаменатора спросил:

— О Козлове знаете?

Кравчук присел к нему на койку.

— О городе, который называется теперь Мичуринском, или о путешественнике спрашиваешь?

Матросов испытующе взглянул на воспитателя:

— Ага, про этого самого... путешественника.

— Особенно интересно, по-моему, как Козлов разыскивал в пустыне Гоби таинственный мертвый город Хара-Хото. Знаешь об этом?

— Расскажите! — потребовал он.

— Когда-то в древности, — начал Кравчук, — в Хара-Хото жило много людей. Потом исчез этот город, вместе с ним исчез и целый народ «си-ся». Вот ученые и хотели узнать, что это за народ, как он жил, почему исчез

с лица земли: если сам вымер, то отчего, если истреблен, то кем и почему. Понятно? Раскопки открыли бы ученым тайну этого города или, как тогда говорили, тайну Гобийской пустыни; но даже развалин мертвого города ученые найти не могли. Пустыня велика и страшна, а путь к городу неизвестен. Знали его только буддийские попы — ламы, но они нарочно обманывали ученых, посылали их совсем в другую сторону. И Козлов решил: «Чего бы это ни стоило, а Хара-Хото я найду».

— Нашел или нет? — нетерпеливо спросил Сашка.

— Да, можешь себе представить, сколько Козлову пришлось думать передумать, как трудно было искать Хара-Хото! И все-таки Козлов нашел мертвый город.

— Ух ты какой! — Сашка заерзал на койке. — Ну и что?

— Раскопки превзошли все ожидания. Было найдено множество древней утвари, рукописей, картин. Находки Козлова обогатили науку; о них написаны труды, исследования.

— Это здорово! Ну, еще говорите.

Кравчук усмехнулся.

— А как в Кашгарских пустынях Центральной Азии вел себя Козлов! Понимаешь, кругом бесконечные мертвые песчаные барханы. Обжигающий зной и песчаные бури валили людей с ног. Часто не хватало воды и ее делили каплями. Да надо было еще отбиваться от разбойников-тангутов. С неодолимым упорством Козлов достигал своей цели...

Сашка, слушая Кравчука, забыл о своем намерении притворяться равнодушным. Это ж только подумать: одиннадцать раз ходили в дальние и опасные разведки. Одиннадцать!

— Да зачем ему это было надо? — спросил Сашка. — Платили ему за это много или искал драгоценности?

— Изучал историю и быт народов, изучал растения, птиц, животных. Да его все интересовало, что полезно для науки, для людей. Из-за этого и старался. А платили ему совсем мало, а то и совсем не платили. Даже голодать приходилось.

Сашка вздохнул. В глазах его горел беспокойный огонек.

— Чудной какой человек!..



— Замечательный человек! — сказал Кравчук и задумался.

— Ну что ж вы замолчали, Трофим Денисович? Еще говорите. Только подробней, пожалуйста, — просил Сашка.

В общежитии свет уже погасили. И в изоляторе Кравчук выключил свет и подошел к окну.

— Ишь, красота какая! Весь Орион поднялся.

— Чего это? — не понял Сашка.

— Созвездие. Что-нибудь понимаешь в звездах?

— Нет. А что в них понимать? Бабуся моя говорила, что звезды посеял бог. Ну, понимаете, вручную, как горох до колхозов сеяли крестьяне. Посеял — вот и светят.

— Ну, это в сказках так, — засмеялся Кравчук.

— А вы, Трофим Денисович, можете сказать, с чего это они светят?

— Ну, смотри на ту вон звезду, в левом углу окна. Это звезда Бетельгейзе из созвездия Орион. Жара там — три тысячи градусов. Все кипит и клокочет. Ну-ка, походи сюда. А внизу вон, справа, в том же созвездии — звезда Ригель. Тринадцать тысяч градусов. Понял? А вон туда смотри, — самую яркую звезду видишь? Ишь, переливается разными цветами, как бриллиант. Сириус это. И будто совсем близехонько от нас эта звезда — рукой достать, а она далековато. Ты только подумай: триста тысяч километров в секунду пролетает луч света, а от этой звезды до нас он доходит только через девять с половиной лет.

Сашка наморщил лоб, напряженно пытаюсь понять то, о чем говорил воспитатель, но, пораженный необъятностью вселенной, воскликнул:

— Ух ты-ы, как далеко!

А Кравчук, размахивая руками, говорит еще более поразительные вещи. Будто большинство звезд еще дальше, чем Сириус, и что свет от них доходит только через миллионы лет. И что астрономы знают не только расстояние до многих звезд, но и их температуру, знают, из чего они состоят, и даже вес...

— Вот это — да-а! — с изумлением говорит Сашка. Но и сомнение не покидает его: ишь, как здорово Кравчук расписывает и завлекает! Ну и пусть! Все равно ему не удастся обмануть Сашку. Не на такого напал. Будет так, как решено с Клыковым. А послушать Кравчука можно. Главное — он нисколько не задается своей ученостью, говорит с тобой, как с товарищем. Оно и понятно: ребята говорили, что сам Кравчук бывший беспризорник, — значит, человек свойский.

— Трофим Денисович, а интересно быть звездочетом или этим, как его... гастрономом?

— Астрономом, — поправил Кравчук, усмехаясь. Ему нравится пытливость воспитанника. Значит, еще не все потеряно.

Кравчук быстро включил свет, вытащил из бокового кармана синюю записную книжку, вынул из нее золотистый засушенный веерообразный листок.

Сашка насмешливо подумал: «Серьезный человек, а как девчонка, пустяком интересуется».

— Смотри, называется гинкго, — говорит Кравчук. — Древнейшее дерево на земном шаре. Этот вид суще-

ствуует миллионы лет, понял? Просто чудо-дерево! — Глаза Кравчука блестят; он говорит с таким увлечением, что его волнение постепенно передается и Сашке. Неумоимо жадный к знаниям, воспитатель, видимо, сам еще удивляется сделанным открытиям и старается пробудить интерес к ним у диковатого хмурого новичка. — Гинкго, видишь ли, было еще до папоротниковых, из которых каменный уголь образовался. Это удивительное дерево. Некоторые восточные люди считают его священным, символом вечной дружбы. Занятно, а?

— Занятно! — качает головой Сашка.

Ишь, до чего докопается Кравчук. Символ вечной дружбы? Но разве возможна такая дружба? Вот и он, Сашка, дружил с Тимошкой; даже поклялись они однажды, соединив руки над степным костром, вечно дружить, а эта дружба чуть ли не раньше, чем зажили ожоги на руках, уже и лопнула, как мыльный пузырь. Дал Сашка обещание и Клыкову дружить с ним. Но это только потому, что их связывает одно задуманное дело. Какая же тут дружба?.. И Сашка с хитроватой усмешкой спрашивает воспитателя:

— И вы, Трофим Денисович, храните листок, наверно, на память о своей дружбе с кем-нибудь?

Странно: Кравчук почему-то смутился. Но, подумав, он улыбнулся и кивнул:

— Да, есть у меня друг. — И глаза его заблестели детски-простодушно.

Сашка насторожился: какая же такая может быть дружба у этого странного Кравчука?

— Расскажите о своей дружбе, — попросил Сашка.

— Нет! — решительно покачал головой тот. — Зря об этом не говорят.

«Утаил... считает меня еще малышом-глупышом или недостойным», — ревниво подумал Сашка.

Кравчук бережно вложил в записную книжку листок и заговорил опять прежним тоном:

— У нас гинкго — редкость. Я в Крыму всего три деревца видел. И там же видел мамонтово дерево. Оно, знаешь ли, до пяти тысяч лет живет.

— Ух ты! Как долго! — снова увлекся Сашка.

— А сколько разного дива в ботанических садах! Глядишь — и не наглядишься. Тысячи и тысячи разных растений. А вот наш Мичурин начал создавать новые

виды фруктовых деревьев. Заставляет их расти там, где хочет человек, и приносить новые, невиданные плоды. На севере, знаешь ли, будут расти какие-то особенные персики, апельсины, лимоны. Да вот сам увидишь: скоро вся наша страна украсится садами и цветами. Помнишь мое слово — они этого добьются, наши ботаники, преобразователи природы! Велика честь — украшать землю и в изобилии выращивать плоды и злаки.

— А они путешествуют, эти ботаники? — спросил Сашка.

— А как же! Они по всему свету путешествуют, изучают растения. Мы же говорили о Козлове...

— Вот бы стать ботаником! — решительно сказал Сашка, хлопнув себя по колену. — Я потому, знаете, чтобы путешествовать, и хочу убежать.

Кравчук сделал вид, что не заметил, как проговорился Матросов, и стал рассказывать, как один его дружок, геолог-разведчик, в вековых тундрах за Полярным кругом нашел неисчерпаемые запасы каменного угля.

— Да с такой, знаете ли, топливной базой мы преобразуем весь северный край, настроим новых заводов, городов, электростанций. И какое же спасибо люди будут говорить этому простому человеку за его открытие!

Вот с какой пользой можно путешествовать, Сашок!.. Понимаешь?

— Понимаю, Трофим Денисович, — тихо ответил Матросов.

Воспитатель лукаво улыбнулся:

— Но почему же и ты так не путешествовал?

Матросов вспомнил свое горемычное бродяжничество и показался самому себе таким жалким и смешным, что стыдно было взглянуть в глаза воспитателю.

— Какое там оно мое... путешествие! — нахмурился он. — Сами вы все это хорошо знаете...

— То-то и оно, — сказал Кравчук. — От себя никуда не уйдешь. Самому надо другим стать. А беспризорничество не путешествие — чепуха, жалкое нищенство. Чего зря бродить по свету бездомной собакой, когда везде ты нужен и можешь пользу людям принести? Настоящий советский человек — гордый и на нищенство не пойдет. Он любит жизнь, как хозяин-преобразователь, а не как безучастный и беспомощный бродяга. Надо

путешествовать для пользы науки, для пользы народа, как Миклухо-Маклай, Козлов, Пржевальский, как мой друг геолог.

— Так ведь то — ученые, а я, понимаете, как пере-кати-поле, — бурьян такой катучий, — как песчинка, как тот слепух-крот, — с горечью сказал Матросов.

Искреннее признание новичка тронуло воспитателя. Но излишнее самоуничижение так же дурно, как и высокомерие. Кравчук вспомнил завет своего колонийского учителя: человеку, понявшему беду свою, нельзя все время твердить, что он плох. Иначе он совсем потеряет веру в себя. Напротив, надо вызвать у него уважение к себе и веру в силы свои.

— Я и говорю: у тебя, Матросов, еще все впереди, только надо учиться. Я тоже был, как крот, когда беспризорничал. Так можно, знаешь ли, сто лет прожить, как сорная трава, и ничего не знать. А я поднатужился, сперва школу, потом педагогический институт окончил... Да и теперь продолжаю пополнять свои знания.

— Кто же помог вам стать другим?

Кравчук вздохнул, задумался. Да, в самом деле, кто же помог ему стать на ноги и указал правильную дорогу в жизни? Учителей-наставников было у него много. Но прежде всего представился ему человек с угловатым лицом, с глазами, проникающими будто в самую глубину души. Это был такой замечательный воспитатель и человек, имя которого знают теперь во всех школах и трудовых колониях, — Антон Семенович Макаренко. Явственно вспомнились кирпичные домики на поляне в сосновом лесу — колония имени Максима Горького близ Полтавы, куда когда-то привели грязного и еле прикрытого рваной дерюгой его, Трофима Кравчука, именуемого какой-то устрашающей кличкой. В гражданскую войну белогвардейцы расстреляли его отца и мать за то, что они, панские батраки, вместе с другой голытьбой организовали в панском имении коммуну. Подросток Трофим Кравчук убежал от расправы белых и стал беспризорником. Целые оравы таких же, как он, голодных, оборванных, бездомных сирот бродили тогда по стране. И не будь народной власти, может, и сгинул бы среди воров и убийц Трофим Кравчук.

Да, его воспитал Макаренко — замечательный педагог, замечательный человек.

Глава XII

НЕОБЫКНОВЕННАЯ НОЧЬ

Матросов слушал Кравчука с замиранием сердца. Оказывается, в их судьбах много общего, и порой сдается, будто Кравчук говорит о нем, о Сашке, рассказывая о своих скитаниях и переживаниях. Только из колонии имени Горького Кравчук вышел уже совсем другим.

— А ваш друг, о котором листок тот храните на память, помогал вам?

Кравчук пристально смотрит Матросову в глаза: одинокий этот хлопец, видно, сам жаждет дружбы.

— А как же? Друг да не поможет...

Но Сашка, помня вероломство Тимошки, к удивлению Кравчука, заявил:

— А я не верю в дружбу.

— Ну, ты сам скоро убедишься, что неправ, — возразил Кравчук, зная цену скороспелым юношеским суждениям. — Сам поймешь, что не имеющий друзей — самый бедный человек, что дружба в жизни — великое дело. По себе знаю: когда дружишь, хочется перед другом стать лучше, чем ты есть. А это много значит. Например, нас с другом моим еще в горьковской колонии связала большая идея: мы дали обещание друг другу выводить на верную дорогу таких, какими были сами. Поэтому и учиться пошли в педагогический институт. Да что говорить! Настоящий друг всегда и во всем поможет, жизни своей не пожалеет за друзей. Так-то, Сашок.

Много есть примеров великой дружбы. Мне, может, особенно повезло: я видел и чувствовал, как много дала нам всем, колонистам-горьковцам, дружба моего учителя Макаренко и Горького.

— Правда?! — с изумлением спросил Матросов. — Ваш Макаренко дружил с Горьким? Ну, расскажите, пожалуйста!

— Да разве обо всем расскажешь? — взволнованно проговорил Кравчук. — Это же такие люди! Вот у кого нам поучиться знанию жизни, настойчивости и упорству.

Матросов глубоко вздохнул:

— Ну, так то ж — Горький и Макаренко! Люди особенные.

— Да ты слушай, вот что о себе сам Горький писал нам, колонистам: «Мне хотелось бы, чтобы осенними вечерами колонисты прочитали мое «Детство», из него они увидят, что я совсем такой же человек, каковы они, только с юности умел быть настойчивым в моем желании учиться и не боялся никакого труда. Веровал, что действительно: «Учение и труд все перетрут».

— Сам Горький это писал колонистам?

— Да, и письма писал, и даже в колонию нашу приезжал.

— И вы его видели? — привстал Матросов. — Ну, говорите же, Трофим Денисович, говорите!

Кравчук рассказал, как воспитанники до дыр зачитывали письма Горького, рассказал о незабываемой встрече с ним.

— Вот это да-а! До чего ж здорово! — повторял Матросов. Он то улыбался, то хмурился, о чем-то сосредоточенно думая.

А неугомонный Трофим Денисович, воодушевленный тем, что в сердце строптивого новичка «тронулся ледок», старается подогреть его еще больше.

— Важно только найти живое любимое дело. А известно, найти такое дело в наше время — стократ легче, чем было прежде. Чем плохо, например, строить новые здания, архитектурные ансамбли, красивее тех, какие есть в Москве, Ленинграде и других городах мира, строить целые города?

— Архитектором тоже хорошо быть, — говорит Сашка.

— Постой, хлопче, постой! — смеется Кравчук, по-

тирая руки.— А разве плохо строить точнейшие машины, к примеру, обрабатывающие оптические, измерительные приборы с микроскопической точностью, или — гигантские блюминги, слябинги, гидроэлектростанции и управлять ими?

— Ой, правда, лучше быть инженером-электриком! — волнуется Сашка. — Или лучше механиком, — как думаете?

И Кравчук хохочет на весь изолятор.

— Ну и жадный ты! Может, захочешь еще и картины рисовать?

— И хочу, хочу! Не смейтесь, пожалуйста. Я уже рисовал Днепр...

— Постой, постой, Сашок! А разве плохо быть хозяином металла — сталеваром, токарем, слесарем?

Сашка поморщился, вспомнив свою незадачливую учебу у верстака, и вздохнул. Но потом снова заулыбался:

— Так и я ж на слесаря учусь. Ничего, дело идет! — Впервые он с удовольствием подумал, что и у него есть живое, настоящее дело.

Кравчук задумчиво посмотрел Сашке в глаза:

— А вообще, говорят, важно не кем быть, но каким быть...

Сашка нахмурился:

— Не думайте, пожалуйста, Трофим Денисович... С Брызгиным у меня вообще... И что на собрании, так это...

Кравчук посмотрел в окно. Вершина созвездия Ориона уже накренилась к западу.

— Эге, да уже, кажется, за полночь! — удивился Кравчук.

— Ну, прямо особенная какая-то ночь, — засмеялся Сашка.

— Да что ж это я? — вдруг спохватился Кравчук. — Шел по делу и разболтался тут зря...

Матросов испугался: сейчас Кравчук уйдет, — и поспешно спросил:

— А почему полевой мак цветет, знаете? Нет? Это сказка про Данько. До чего хорошая сказка! Если хотите, могу вам рассказать. От одного деда-садовника узнал. И дед сам — до чего ж хороший! — И рассказывает с увлечением, подпрыгивая на койке, размахивая

руками. — Ну до чего же смелый был Данько! Понимаете, ему и золоченые дворцы, и богатую жизнь сулили паны, а он на своем стоял. Даже казни не побоялся!..

— Да, были такие! — вздохнул Кравчук, внимательно выслушав взволнованный рассказ, и про себя решил: видно, запала Матросову в сердце дедова сказка на всю жизнь, как доброе зерно, и дала росток. Однако его, этот росток, может заглушить любой чертополох, бурьян. Значит, нужен ему постоянный тщательный уход.

Кравчук опять присел на койку и неожиданно спросил:

— А ты сам, хлопче, почитываешь что-нибудь?

— А как же? — удивился Матросов такому вопросу. — Вот про Козлова, значит... Потом читал про собаку, про эту... как ее?... Баскетбильскую собаку...

— Баскервилльскую собаку? — догадался Кравчук. — Ох, уж эти сыщики, — покачал он головой. — Сто пудов книг прочти про них и потом все из головы, как ветром, выдует. Ничего путного не останется. Напрасная трата драгоценного времени... А ну-ка, хлопче, попробуй почитать эту вот... — протянул он Сашке книгу в красной обложке. — Про настоящих людей узнаешь...

Матросов поблагодарил и, решившись, смущенно спросил о самом главном и сокровенном, что волновало его.

— Мне еще одно хочется знать. Вот я в изоляторе и вообще такой... Все отказались от меня... А вы тут со мной возитесь. Почему?

Кравчук глянул в недоверчивые глаза паренька и понял, какие слова нужны ему.

— Почему вожусь? Значит, верю в тебя, Матросов, верю, что человек ты — нужный, способный.

— Я? Нужный? — привстал Сашка, вглядываясь в лицо Кравчука.

— А как же! Вот скоро постигнешь слесарное дело. И тебе интересно, и другим польза от твоей работы, — понятно? И еще вот что помни: должны мы заботиться друг о друге, должны! Ну, если б мы все только понимали, что товарищеская взаимопомощь — чудодейственная сила... И еще это... чем больше знать будет каждый из нас в отдельности, тем сильнее будем все вместе, вся наша страна. Понял?

Кравчук хотел рассказать еще и о том, какая великая

радость найти в уличном оборвыше человека и указать ему новую, верную дорогу в жизни, и как это трудно!

Но ничего не сказал, — разве расскажешь об этом?

Следя за рассеянной улыбкой и задумчивым взглядом воспитателя, Сашка вздохнул:

— Мне, понимаете, тоже хочется учиться. Только духу не хватает — трудно очень.

— Трудно? — оживился Кравчук. — Да, конечно, трудно. Горький верно писал нам: терпение и труд — все перетрут. Упорство, воля ведут к цели, Сашок, ясно? Что говорят коммунисты? Нет таких крепостей, которых не могли бы взять советские люди! Ясно?..

Матросов и раньше слышал эти слова, но, к удивлению своему, только теперь стал понимать их глубину.

— Значит, все-все можно уметь? — растерянno спросил он.

— Надо только хотеть. Но вот что помни, Сашук: народ человеку дает эту силу, народу и служить надо от всего сердца. Понял?

— Понял, — вздохнул Сашка. — А вы коммунист, Трофим Денисович?

— Ясно, коммунист. А как же?

— Я так и думал, — тихо сказал Сашка.

Воспитатель помолчал и неожиданно стал суров.

— Ты мне, хлопче, вот что скажи... Мне это очень важно знать... — Он взял руку Матросова, сжал ее. — Скажи, кто готовится бежать из колонии?

Матросов вздрогнул и выдернул руку: так вот, оказывается, из-за чего Кравчук весь вечер напевал и прикидывался добреньким! Ишь, поговорил тут и решил, что купил парня. Нет, Сашка не предатель, не на такого напал! Но как он мог так легко поверить Кравчуку? Сашку охватило отчаяние. Разве не страшно извериться в человеке, которому сейчас открывал душу?

— Не могу сказать, — резко ответил Матросов. — Про себя вот говорил, а про других не могу. Лучше не спрашивайте.

Кравчук и сам уже понял по выражению его лица, что допустил ошибку. Матросов тверд в своих понятиях, хотя товарищескую честь он и понимает по-своему. Сейчас паренек по-своему прав, не желая выдавать своих единомышленников.

— Я понимаю тебя, Матросов, и не обижаюсь, — ска-

зал Кравчук, искренне и прямо глядя в глаза собеседника. — Я спросил тебя потому, что желаю тебе добра, как дед Макар, гибели твоей не хочу, как старший брат, как отец. А теперь — хочешь верь мне, хочешь — не верь и поступай, как знаешь. Покойной ночи!

«Постойте, не уходите!» — хотел крикнуть Сашка, когда Кравчук скрылся за дверью, но смолчал, как-то сразу обмяк.

Он долго ворочался на жесткой койке и не мог понять, — что же произошло? Значит, Кравчук знает о предполагаемом побеге и, наверно, видел Клыкова здесь, у окна, потому и пришел. Чудак этот Кравчук, да разве может он отговорить от побега! Да их стальными цепями не удержишь, а ты хочешь словом. . .

Нет, теперь не уснуть Сашке, пока заново все не обдумает. . .

Сашка стал вспоминать, что говорили о Кравчуке и что пропускал мимо ушей, как не стоящее внимания. Рассказывали, как однажды пришел Кравчук вот так же в изолятор к воспитаннику Чайке, долго беседовал с ним, а когда уходил, Виктор сзади ударил его по голове тяжелой тарелкой. Тарелка разлетелась вдребезги. Кравчук зашатался. Обливаясь кровью, он повернулся лицом к хулигану. Тот думал, что воспитатель сейчас набросится на него, но Кравчук только сказал: «Спасибо. Это плата за то, что я добра тебе хочу».

Кравчук никому не пожаловался, но, узнав об этом случае, некоторые воспитатели считали, что он поступил неправильно, называли его чудаком. Как бы то ни было, сам Виктор Чайка после признался ребятам: «Кравчук вывернул меня всего наизнанку. Всю ночь я не спал. Лучше бы он меня избил, чем такие слова. . . Я понял, что Кравчук в миллион раз сильнее и лучше меня. Я другими глазами на людей стал смотреть».

Вот почему Чайка и теперь готов в огонь кинуться за Кравчука.

Как-то, зайдя в сапожную мастерскую, Кравчук сделал замечание Еремину, что тот плохо тачает сапоги, нерадиво относится к делу. На это Еремин ехидно ответил, что, мол, замечания-то куда легче делать, чем сапоги тачать. После этого случая Кравчук стал по ночам упорно учиться сапожному ремеслу. Потом, работая рядом с Ереминым, сам сшил сапоги.

— Здрóрово! — удивился Еремин. — Да вы, Трофим Денисович, наверно, все умеете?

Говорили еще, будто Кравчук прочитал все книги, какие только нашлись в библиотеке колонии. Этому, пожалуй, можно верить. Да плохой ли человек мог сказать в глаза всю горькую правду?.. Что же, ну и пришел в изолятор, ну и спросил... Так он же, как и дед Макар, добра тебе желает, гибели твоей не хочет, как старший брат, как отец родной... Потому и зовет тебя на трудную, упорную, но осмысленную жизнь. Да и для тебя пришла пора выбора житейских дорог, интересных дел. Куда же и на что ты тратил свои юные годы? Что было хорошего в твоей беспокойной, беспутной, бездомной жизни?

И поднялось из глубины души все хорошее, заросшее туда жизнью. Вот незабываемое: раздолье Днепра, речные струи, сверкающие на солнце днем и позолоченные огнями Днепрогэса ночью... Зовущие гудки пароходов... Колхозный сад, куда пришел, как жалкий голодный воришка...

«Дидуся, дидуся, что вы мне говорили тогда про жизнь, про людей, про полевой мак, — и слова ваши, дидуся, чуть не заросли бурьяном, полынью... Но я помню ваши слова...»

В ночной тишине ветер опять загремел железом на крыше.

Сашка замер, прислушался: может, Клыков идет сказать, что к побегу все готово? Значит, убежать? Куда? Зачем? Но ведь так было решено! Не может же он, Сашка, нарушить данное им слово!.. А может, остаться?..

И он снова заметался на койке, ища решения: бежать — остаться, бежать — остаться...

Надо было все-все рассказать Кравчуку. Он бы правильно посоветовал. Своим душевным разговором он словно чудесный новый мир раскрыл, показал большие человеческие дела и безграничные возможности...

Что же делать теперь — бежать или остаться?

Спазма сдавила Сашке горло. И он, стыдясь самого себя, уткнулся разгоряченным лицом в жесткий, будто проволокой набитый, соломенный тюфяк.

Глава XIII

„ТРУДНО, НО ИНТЕРЕСНО“

Когда утром в изолятор принесли завтрак, Матросов дремал, полусидя и прижимая к груди раскрытую книгу. После ухода воспитателя он начал читать — и забыл обо всем на свете. Со свойственным ему нетерпением он заглядывал в середину и конец книги, чтобы скорей узнать, как развернулись события, «чем все это кончилось», снова читал страницу за страницей и уснул только утром. Читал он весь день и вечер допоздна. Кравчук в этот день не зашел в изолятор. Увлеченный чтением, Матросов не обижался: хватает и без него у воспитателя хлопот. Много у Кравчука таких, как он.

На следующее утро завтрак в изолятор принес Тимофей Шукин. Оторвав от книги покрасневшие воспаленные глаза, Матросов удивился, почему завтрак принес именно Шукин. Видно, это была затея Кравчука. В другое время Сашка, может, дал бы Тимошке еще подзатыльник за его измену, но теперь молча усмехнулся, пристально посмотрев ему в глаза. Тимошка выдержал его пытливый взгляд: значит, чувствовал свою правоту. И в ту минуту, когда они смотрели друг другу в глаза, что-то еще неосознанное согрело их сердца.

— Ну, что устался? — спросил Сашка.

— Меня прислали, — с достоинством сказал Шукин.

Сашке хотелось поговорить с ним. О чем? Он и сам не знал.

— Кравчука не видел? — спросил он.

— Видел... Хмурый ходит, сам не свой. — Тимошка загадочно усмехнулся и подмигнул: — Ты и Скуловорот ловко так стибрили? Да?

— Ты про что? — насторожился Сашка.

— Признайся, не бойся, — никому не скажу. Могила...

— Да в чем признаться? — помрачнел Сашка, чувствуя недоброе.

— Продукты из кладовой... Чистая работа...

Сашка растерялся. Значит, вот о чем говорил Клыков тогда, у окна. Но почему-то вступился за него:

— Ты, ябеда! — накричал он на Тимошку. — Опять допытываешься, чтоб донести своему Кравчуку? — И угрожающе шагнул к Тимошке. — Я с тобой не считался еще и за прежнее.

— Я не виноват! — сказал Тимошка, пятясь назад, и ушел.

Сашку опять охватила тревога: вот почему Кравчук больше не заходил к нему. Он подозревает в краже Клыкова и его, Сашку. Раньше Сашке было, пожалуй, безразлично, кто и в чем подозревает его, но теперь мнение Кравчука очень важно для него. В самом деле, кого же больше и подозревать, как не его, Сашку, и Скуловорота? Хуже их и в колонии никого нет...

К счастью, Сашке не пришлось долго томиться в изоляторе со своими горькими думами. Он снова увлекся чтением, позабыв обо всем. А к обеду его выпустили из изолятора. Но — странно: выпустить его распорядился сам Кравчук. Или он не считает Сашку виновным в краже, или затеял какой-нибудь подвох?

Выйдя на залитый солнцем просторный двор, Сашка залюбовался расцветом весны. Держа под мышкой книгу, он остановился в сквере под серебряным пахучим тополком.

Яркая майская зелень покрывала все вокруг и будто улыбалась солнцу. Слабое дыхание ветерка несло с лугов тонкие запахи цветов. В дубовой роще за балкой Золотухой торжествующе перекликались птицы. Неугомонный соловей высвистывал замысловатые рулады.

Сашка смотрел на веселое весеннее раздолье и вздыхал. Как хорошо было бы, если б не терзали его горькие думы и спокойно было на душе!

Он увидел проходившего Тимошку, шупленького, слабого. Почему-то жалко его стало, и Сашка позвал:

— Эй, Жак Паганель, сюда иди!

Тимошка нехотя подошел, подозрительно глядя на Сашку.

— Я не Жак Паганель. Я Тимофей Шукин. Что тебе?

— Подумаешь, перевоспитался! Уже и не Паганель... Сашка понюхал тополевый листок.

— Так бежать из колонии не будешь?

— Нет, — решительно покачал головой Тимошка.

— С тобой Кравчук говорил?

— Да, а что?

— Ничего. Со мной тоже говорил.

— Говорил, да? — повеселел Тимошка. Вот, оказывается, почему Сашка не лезет в драку! Тимошке вдруг захотелось оправдаться перед своим прежним другом, снова расположить его к себе откровенным признанием, и, не дожидаясь ответа, сам стал рассказывать взволнованно и доверительно:

— Ты, Сашка, только не сердись, — хорошо? Я, знаешь, спросил его: «Трофим Денисович, что такое «компрачикос»? Это слово, понимаешь, как заноза, впилось в меня. А когда Трофим Денисович объяснил мне, что оно значит, мне еще больнее стало.

— А что такое «компрачикос»?

— Это страшное дело, Саша. Компрачикосами называли таких торговцев, что покупали детишек и калечили их: делали горбатиками, карликами, косоглазыми, карнаухими, — словом, чтобы посмешнее были. Потом продавали их королям, князьям и всяким богачам, которые, понимаешь, для смеху держали их, шутами делали. А Брызгин меня обозвал компрачикосом. Помнишь? Врет он, не похож я на компрачикоса!

— Ясно, не похож! — согласился Сашка. — Сам Брызгин больно задирает нос.

— Ага, вот и Трофим Денисович говорит: «Ну, какой ты, Шукин, компрачикос? Да я за это, — говорит, — взбучку Брызгину задам. Вот капиталистов, — говорит, — да, можно назвать компрачикосами: они и теперь торгуют людьми и калечат их душу и тело». А потом Трофим Денисович подумал и, понимаешь, говорит мне: «А вот шутовское, — говорит, — в тебе что-то есть. Ну, зачем ты все гримасничаешь, кривляешься, паяснича-

ешь? Кому и за что, — говорит, — угождаешь, кого развлекаешь?» И потом, честное слово, так и сказал: «А ведь ты, Щукин, способный человек, и, если станешь учиться, из тебя большой толк выйдет. Можешь стать, например, инженером-конструктором или...» — Тимошка вздохнул. — Одним словом, взял он меня тогда в работу, ох и взял! Говорит: «Зачем гнаться и прислуживать? Обзаведись, — говорит, — Щукин своим характером. Ты, — говорит, — Щукин, человек, а не шут и не слуга. Будь самостоятельным, а мы тебе во всем поможем». И пообещал, знаешь, меня в город свезти к врачу, чтоб я не шепелявил...

Он умолк, сам еще не понимая, что же произошло с ним, но всем своим существом чувствуя, что Кравчук сбросил с него какую-то большую тяжесть, как сбрасывают с молодого деревца навал, который давил, гнул, уродовал, закрывал свет и мешал расти.

— А как же граф Скуловорот? — тревожно вспомнил Тимошка. — Мстить нам будет!

— Кому это «нам»? — улыбаясь, спросил Сашка. — Не думаешь ли ты, что я тебе все простил и с графом дружить перестал?

— Ага, думаю, Сашка, — с прежней веселой откровенностью сказал Тимошка, — думаю... Иначе ж быть не может, Сашка. Ты ж умней меня и сам должен понять. Я тебе, Сашка, вот что скажу: граф Скула и есть настоящий компрачикос, ей-богу, чтоб я лопнул!..

Сашка рассмеялся: это был прежний, преданный ему Тимошка, и приятно ему, что тот презрительно отзывается о Клыкове.

— Так ты ж юлил перед Скулой, дружил с ним.

— Не дружил я с ним. Я угождал ему; он медведь сильный потому что, и заступался за меня, когда хлопцы насмехались надо мной. Теперь ясно? Да? А тебе, Сашка, так скажу: имеешь зуб на меня? Да? Тогда избежь меня, как сидорову козу, всыпь мне по первое, но все-таки по-прежнему, как на Украине, дружи со мной, а? Согласен? Да? А графа Скулу брось, а?

— Ну и наговорил — гороху насыпал, — смеялся Сашка. — Ты подрасти еще, чтоб советовать мне. Своим умом живу — у людей не занимаю. А Скуловорота не бойся — заступлюсь...

— Ну ладно, — значит, все! — обрадовался Тимош-

ка. — Теперь вижу, что и в кладовую не ты лазил и что корешок ты мой по-прежнему... А что это за книга у тебя?

— Вот это да-а, Тимошка! Вот это — книга!.. Смешней мокрых зябликов кажемся мы с тобой, когда читаешь эту книгу. Комбриг Котовский, матрос Жухрай или почти такие же хлопцы, как мы с тобой, — Сережка Брузжак и Павка Корчагин — вот это люди! Какие геройские дела делали! Семнадцать раз в день ходили в атаку под Новоград-Волынском, а своего добились, победили... — Сашка задумчиво вздохнул: — Да, вот про Павку верно сказано: «...не проспал горячих дней, нашел свое место в железной схватке за власть, и на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови». А мы, как те слепухи, Тимошка...

— Ну, а дальше, дальше, — попросил Шукин.

...Вечером они вместе пришли в клуб.

Тимошку мучила обида, и он подошел к Брызгину.

— А ты, Гошка, соврал, знаю! Компрачи́косы — это те, кто калечил детишек, а я ничутьючки не компрачикос, — сказал он примирительно.

— Нет, не соврал я, — возразил Брызгин. — Такие, как ты, как Матросов и граф Скула, калечат себя и других. Вон и ты весь в шрамах, да еще и подлиза графа Скулы, и хихикаешь, кривляешься, как шут.

— А ты, как индюк, надуваешься и важничаешь, — сказал Матросов.

— Ну и что же! — заносчиво усмехнулся Брызгин. — Мои рисунки на городскую выставку взяли. Могу стать художником. Не то что некоторые...

Матросов сжал кулаки. Он боялся, что не сдержится и набросится на обидчика.

В обостряющийся разговор вмешался Виктор Чайка.

— Ты не очень-то задавайся, — строго сказал он Брызгину. — Чего нос дерешь? Эти ребята еще хорошими друзьями нам будут!

— Я и не задаюсь, — понижая тон, ответил Брызгин.

— Вот и помирись с ними, — потребовал Виктор, — не то и я с тобой перестану дружить. Понял?

— Ладно уж, — нехотя согласился Брызгин.

Благодарный за поддержку, Матросов повернулся к Виктору Чайке, стал разглядывать его баян:

— А ты, наверно, музыкантом хочешь быть?

— Хочу лекальщиком, но не возражал бы стать и композитором, — улыбнулся Чайка. — Мне Лидия Власевна сказала, что я мелодию здорово чувствую. Я танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро» без ошибки играю.

— Ты тоже не очень хвастай, — заметил теперь Брызгин. — Подумаешь, только и вызубрил одно любимое местечко. А кому было сказано: «Учеба, учеба или — ничто»?..

— Важно, говорят, не кем быть, но каким, — с расстановкой сказал Матросов.

— Эге, правильно сказал, — одобрил Чайка, догадываясь, чьи слова повторил Матросов.

Матросов заметил, что и другие ребята с удивлением взглянули на него и, видно, подумали о нем: «Парень башковитый»... Вот что значит сказать умное слово!

— А у меня, ребята, психика раскалывается, — засмеялся Еремин. — Я вот и токарем хочу и не прочь стать великим артистом... Я наизусть всю «Полтаву» знаю. Ну-ка, проверьте меня! — Подняв рябое скуластое лицо, он с шутливой важностью стал декламировать:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы...

Чайка и Еремин были рады, что Матросова потянуло к ним, и старались, чтоб ему было хорошо. Им по душе пришелся этот паренек с ясным, прямым взглядом и трудной судьбой. Чайка, подмигнув ребятам из хорового кружка, развернул баян. Ребята под аккомпанемент баяна запели:

Степь да степь кругом,
Путь далекий лежит...

Матросов каждый раз, когда слышал хорошее пение, вспоминал, как самозабвенно пели его мать и бабушка. По песне, грустной или веселой, он узнавал, какое у них настроение. «С песней и горе легче терпится», — говорила бабушка. Помнит Сашка и слова ее про деда, который, подвыпив, шутя говаривал: «Так люблю

песню, что за нее и душу черту продал». . . Песня жила в семье как самый дорогой душевный обычай; она рано стала потребностью души и у Сашки. Увлекался он пением в детдомовском хоровом кружке, часто пел охрипшим, простуженным голосом на своих трудных путях и перепутьях. С годами ему все дороже становились песни, которые напоминали про деда, мать и бабушку. Он мог, кажется, и человека полюбить за хорошее пение.

Матросов подтягивал сначала тихо, вполголоса, потом не вытерпел и стал петь во весь голос. Но вот беда! Раньше он пел альтom, теперь легче было петь тенорком, но неокрепший голос его порой срывался.

Вот он, увлекшись пением и забыв про все невзгоды и распри, всем на удивление, взволнованно обратился к певцам:

— Постой, ребята! Тут же надо терцией. . . Тут же задушевнейшая терция. . . Ну-ка, Еремин, ты вторь, а я первым. . . попробуем.

Пе-ереда-а-ай покло-он
Ро-одной ма-а-атушке-е.

Но на самом высоком взлете у Матросова голос вдруг сломался.

— Как у неоперившегося петуха! — засмеялся Брызгин.

— Ничего, ничего! — поспешил Чайка. — Зато как чудесно получается! Саша, а ты фальцетиком, тихонько. И ты, Еремин, и все — тихо. Ну, начали, три — четыре. . .

Матросов глядел на Виктора пристальными влюбленными глазами: «Да, парень — что надо». И сам не знал, за что больше полюбил Чайку — за то ли, что тот первый согласился помочь ему, или за песню, — а может, за то и другое.

Про меня скажи,
Что в степи замерз,
А любовь ее
Я с собой унес.

Когда последние звуки песни растаяли, Чайка, будто охмеленный пением, громко заявил:

— Эх, хлопцы, вот эту бы на музыку записать:

И песня и стих —
Это бомба и знамя. . .

Потом взял Матросова под руку, отвел его в сторону:
— Вот, Саша, мы, кажется, и спелись. Ну, прямо всю душу выворачиваешь... Хочешь, и тебя научу?

— Ой, страсть как хочу!.. — И, потупясь, тихо, со-кровенно спросил: — А ты мне вот что скажи... На цехо-вом собрании, когда все отказались от меня, почему ты согласился работать со мной?

— Вот чудак! Что ж тут такого? — засмеялся Чай-ка. — У меня, видишь ли, правило: помогать товарищу в беде. А ты разве не помог бы?

— Не знаю, — Матросов покраснел.

— Ладно, не беспокойся, — сказал Чайка, — у нас дело пойдет.

Матросов не знал, что ему сказать. Хотелось побыть одному, чтобы скрыть свое волнение. Он вышел из клуба. Развешанные вдоль аллеи электрические лампочки раз-двигали темноту ночи. В сквере свежий воздух был на-сыщен запахами распустившихся, еще липких тополевых листьев, цветущей жимолости. Он посмотрел на далекие синие звезды.

«Только бы не попасть на глаза Кравчуку и Клы-кову!» — думал он.

В общежитии он долго лежал на койке с открытыми глазами. До хруста выглаженные и пахнущие мылом и почему-то снегом простыни и наволочки приятно холо-дили. Кто их стирал и гладил? Почему такие люди, как учительница Лидия Власьевна, старик-мастер, воспита-тель Кравчук, так настойчиво и неутомимо возятся с ним? Казалось бы, получил свою зарплату — и ладно, а они стараются, ночи не спят из-за него. Да кто он им всем — родной, что ли?.. «А я для кого и для чего живу? — раздумывал Сашка. — И что из меня выйдет? Ни богу свечка, ни черту кочерга, — как говорил дед Макар...»

Утром он вовремя вышел на работу. Томясь у вер-стака, с тревогой ждал мастера, с которым еще не гово-рил с тех пор, как самовольно убежал из цеха. Что-то скажет мастер? Может, с позором выгонит его?

Наконец мастер появился в цехе, хмурый и недоволь-ный. Поодаль Брызгин и Чайка, поглядывая на Матро-сова, о чем-то спорили. Мастер подошел к ним:

— В чем дело?

Теперь Матросов слышал, как Брызгин, кивнув на него, ответил мастеру:

— Таких разгильдяев надо в тиски покрепче зажать! Матросова бросило в жар от этих слов. Опять сами собой сжались кулаки.

Но мастер внушительно ответил Брызгину:

— Помочь ему надо, а не отталкивать. Товаришеским словом подбодрить... Виктор правильно поступил, что согласился работать с ним...

Матросов замер. Нет, оказывается, не придира, а душевный человек этот мастер.

И когда мастер подошел к нему и спросил, почему он не работает, Матросов, волнуясь, тихо сказал:

— Вас поджидаю, Сергей Львович. Хочу это... извиниться. Хочу сказать... буду стараться...

Сергей Львович понял и оценил его волнение, и седые усы мастера шевельнулись от отеческой улыбки.

— Вот и хорошо! — И обратился к Чайке. — Что ж, теперь ему, — кивнул он на Матросова, — можно доверять и посерьезнее работу. Перейдем к опиловке плоскостей. — Подавая Матросову железные квадратные пластинки, он тихо предупредил: — Но если еще раз бросишь работу, будешь горько раскисаться.

Сашка густо покраснел и ничего не ответил.

Когда мастер стал показывать, как надо работать, Матросов понял, что ничего не умеет делать: не умеет правильно деталь зажать в тиски, держать напильник, даже стоять у тисков как следует не умеет. Стыдно было вспомнить, как он раньше хорохорился. Но Сергей Львович больше не хмурился, — добродушно покручивая усы, он терпеливо учил новичка.

Оставшись один и злясь на себя за нерасторопность, Матросов горячо принялся за работу. Ему хотелось показать Сергею Львовичу свое старание, умение, свою выдержку. Но без привычки работать было трудно. На руках от напильника набухали и лопались кровавые мозоли. Обливаясь потом и кривясь от боли, он неистово нажимал на напильник, стыдясь поднять голову, чтоб никто не заметил его смущения, особенно Клыков, который мог вернуться из подсобного хозяйства.

Виктор Чайка с тревогой поглядывал на него. Такие, как Матросов, работают неровно, рывками: азартно принимаются за дело, но быстро остывают. Не ушел бы опять Матросов из цеха, не сбежал бы из колонии...

Но Матросов работал упорно, сосредоточенно, мол-



чаливо. Правда, нередко возникает непокорная мысль и словно парализует мышцы и волю: «Напрасно стараешься, все равно ты не сможешь». Но Сашка подавлял эту мысль; сейчас важнее всего доказать этим зазнайкам брызгиным, а главное — доказать самому себе, способен ли он на что-нибудь путное. «Могу ли заставить себя, смогу ли делать то, что они делают? Человек я или муха?» Он ожесточенно продолжал работать. Только когда ручка напильника прилипала к тому месту ладони, где была содрана кожа, и острая боль обжигала его всего, он шипел:

— Врешь, собака, не поддамся! Посмотрю, на что годишься, — душа из тебя вон, — и яростнее нажимал на напильник.

Лишь один раз он оторвался от работы.

Брызгин, проходя мимо, заглянул через его плечо и ехидно заметил:

— Уже, уже запорол деталь! Я так и знал. И говорил, что ничего из него не выйдет.

Тогда Матросов, точно его ожгли, быстро обернулся и замахнулся на Брызгина напильником.

— Уйди, — прошипел он, — уйди, пока цел!

Виктор Чайка серьезно пригрозил Брызгину:

— Будешь дергать Сашку, — конец нашей дружбе! А еще и по загривку съезжу. Понял? Отойди от него.

Перед обеденным перерывом к Матросову подошел мастер, молча осмотрел готовую продукцию нового слесаря. Это была неказистая, неумелая работа. Кромки пластинок он опилил не точно по линейке: на них остались и выемки и горбинки. Но опытный старый мастер знал, что нельзя окриком расхолаживать новичка.

— Вот и молодчина. Для начала дело идет хорошо, — похвалил он.

Матросов даже вздрогнул от неожиданности. Пряча руки за спину, он подозрительно взглянул на мастера, — не издевается ли Сергей Львович? Нет, глаза у него добрые, смотрел он сочувственно. И Матросову захотелось, чтоб услышали, как хвалит его мастер, — Трофим Денисович и Лидия Власьевна, Чайка, Еремин и особенно ненавистный Брызгин. Пусть знают, что он, Сашка, не такой уже никчемный.

— Человека дело красит, — сказал Сергей Львович. — Вижу, стараешься. Только помни: много делает тот, кто хорошо делает.

Матросов понял намек мастера и молча кивнул.

Но мастер уже заметил и другое:

— Постой, да этак ты, прежде чем научишься, калекой станешь. Не прячь, дружок, руки, не стыдись! Это и у меня поначалу было: неправильно держал напильник. Надо так, — и взял напильник, — вот так ладонь клади, вот так держи пальцами. Надо понимать и чувствовать, когда и с какой силой нажимать на напильник, чтобы опиловка шла точно по линейке.

Начался обеденный перерыв. Мастер пригласил Матросова в свой кабинет и, чтобы не задевать его профессионального самолюбия, не послал в санчасть, а сам теплой водой промыл его руки, смазал какой-то желтой мазью и забинтовал.

— Ничего, — отечески подбадривал Сергей Львович, — у тебя, вижу, дело пойдет хорошо. Вот так же,

как ты, начинал известный инженер-конструктор Косов. Не слышал о нем?

— Нет, не слышал.

— Теперь он директор большого машиностроительного завода на Урале. Тысячи разных машин завод выпустил под его руководством. А ведь этот Косов после того, как белые убили его родителей-партизан, беспризорничал, потом воспитывался в детском доме. Упорный был, настойчивый. Бывало, до кровавых мозолей натрудит руки, сто раз перепробует какую-нибудь операцию, а своего добьется!

Матросов слушал вначале хмуро, потом невольно улыбнулся. Дорога ему, очень дорога похвала скупого на слова мастера. Что ж, такому можно вполне довериться, многому от него научиться можно. Он знает все машины, по звуку на ходу улавливает, в чем неисправность; механизмы повинуются ему, как хозяину. Видно, не зря прозвали его ребята хозяином машин.

— А сейчас пока тебе, вижу, трудно, — сказал мастер, забинтовывая руку ученика.

— Трудно, Сергей Львович. Очень трудно! — признался Матросов. — Трудно, но интересно...

Сергей Львович сразу повеселел, лицо его необычайно посветлело от широкой улыбки.

— Интересно? Вот это по-моему! Вначале, конечно, трудно, а потом придут ловкость, сноровка. Почувствуешь себя хозяином инструмента, металла, хозяином машины. Захочешь потом сам придумать какую-нибудь машину, — а? Ведь это именно вы, наша молодежь, и будете творцами невиданных машин, — а?

Матросов молчал, смущенно потупясь. Наверное, не ему первому мастер говорит такие хорошие слова. Скольким ученикам он терпеливо объяснял все это! Видно, и сам он сильно любит умелый труд и людей любит, если так неумоимо и заботливо учит новичков!

Растроганный заботой Сергея Львовича, Матросов поблагодарил его, но уходить не спешил. Ему хотелось еще поговорить с ним. Рассказывали, что единственная дочь мастера недавно умерла, и Матросову хочется выразить свое сочувствие мастеру:

— Вам тоже трудно, Сергей Львович. И вы ведь одиноки... безродны, как я?

— Да, тяжело терять близких людей, — ответил ма-

стер. — Но мы с тобой не одиноки. У нас много друзей. Только тщательно выбирать их надо. Если друзья не помогают человеку развиваться, больше знать, становиться лучше, а тянут назад, к дурному, — их надо бросить.

«Намекает, — подумал Матросов, — думает, я крепко дружу с Клыковым». — И, вздохнув, сказал:

— Да, как раз и трудно-то выбирать друзей... Вот бы мне друга... вроде вас...

— Что ж, можно дружить и со мной, — усмехнулся Сергей Львович. — Но я хочу тебе добра и потому буду строг.

— Да это ничего, Сергей Львович, — повеселел Матросов. — А если будете мне рассказывать, как делаются разные машины, то... страсть как люблю слушать, Сергей Львович!

— Постараюсь. А будешь, говорю, хорошо учиться, — сам можешь стать конструктором машин.

Матросов доверительно взглянул ему в глаза.

— Я вот давно хочу спросить... Можно ли построить тучелов?

— Что, что-о?

— Ну, это... машину, которая ловила бы тучи и направляла их туда, куда захочет человек. К примеру, поля орошать... Или, к примеру, дует ветрище — аж деревья гнутся и трещат, а ты нажал кнопку или повернул рычаг — и подул он в другую сторону. Это, понимаете, до чего ж здорово!

— Ого, да ты большой фантазер, дружище, — засмеялся Сергей Львович. — Думаю, что со временем будем мы ветрами и тучами управлять. А пока тебе надо хорошо изучить рубку, опиловку металла. А потом — шабровка, шлифовка, притирка, сверление, резание металла да мало ли что! Все это «трудно, но интересно», — сказал мастер, лихо подкрутив седые усы.

Матросов просиял: мастер повторил его слова!

Провожая Сашку из своего кабинета, Сергей Львович вдруг предложил ему сделать ключ к дверному замку.

— Не попробуешь ли? Вот эту болванку надо обработать и подогнать...

Сашка оторопел от неожиданности. Не догадывается ли мастер, кто сломал замок в кладовой, и не считает ли

Сашку сообщником того взломщика? И почему именно ему поручает эту работу, с которой может справиться только квалифицированный слесарь?

— Что, испугался? — спросил мастер, видя растерянность Матросова. — Тут ничего сложного: три ступенчатых коленца на бородке — и все дело. . .

Сашка успокоился, и к нему вернулось прежнее хорошее настроение. Старый замок и болванку ключа он взял из рук мастера бережно, как драгоценность, и вышел из кабинета.

Великое дело — хорошее настроение. С таким настроением человек способен сделать, кажется, самое невозможное.

Сашка так старался, что почти не замечал, как росинки пота с мокрого чубчика скатывались на брови, на ресницы. Напильник будто чувствовал верную руку хозяина и был послушен, как смычок искусного скрипача. Ну, еще бы! Довольно издеваться и подшучивать над ним! Если на то пошло, он докажет всем друзьям и недругам, что умеет оправдать оказанное ему доверие! Постоять за первую свою рабочую честь! . .

И верно, Сергей Львович был искренне изумлен успехом нового слесаря, получая от него выполненный заказ. Правда, опытный глаз мастера заметил кое-где и неточности на какие-то десятые или сотые доли миллиметра, но эти неточности не мешали исправно работать замку. Мастер понял, что новичок вложил в свой труд все свое умение, весь жар своего сердца; и хотя речь шла о простом замочном ключе, сделал это событие праздничным. Что ж, иные его питомцы, теперь прославленные инженеры, не лучше начинали, чем этот новичок. И возможно, когда-нибудь инженер Александр Матросов будет так же радоваться пуску стотысячной турбины, как этому ключу.

— Эй, Чайка, Брызгин, подите-ка сюда! — позвал мастер и, когда ребята подошли к верстаку Матросова, обратился к ним: — А ведь Матросову надо посерьезнее дело дать. Смотрите, какой он молодец! . .

Мастер несколько раз повернул ключ в замке. Замок, щелкая, чуть позванивал, а в ушах Сашки будто пели колокола.

— Поздравляю, Саша, с первым производственным успехом, — сказал Сергей Львович. — Тебе уже можно

было бы и разряд назначить, но мы еще повременим, еще подучимся...

А когда мастер ушел, Матросова окружили ребята, пожимали руки, поздравляли.

— Ты мне, Саша, просто удружил, — встряхивал белесым чубом Чайка, — оправдал мое это, как его...

— Об этом даже в стенгазету можно... — говорил Еремин.

— А я что говорил? — смущенно усмехался Брызгин. — В общем и целом по-моему вышло...

— Помним, что ты говорил, да не в том сейчас дело, — смеялся Чайка.

Матросов рукавом спецовки вытирал потное сияющее лицо и не верил ушам своим.

— Хлопцы, только не смейтесь... Я не дурак, сам понимаю, что работаю еще плохо, что вы просто подбадриваете меня... Но, верьте совести, я это, как его...

Сашка повеселел, стал разговорчивым и общительным. Когда шли в столовую, моросил дождик, а он вдруг засмеялся:

— Я, братва, сегодня проголодался, как черт. Или потому, что сегодня такая великолепная погода, а?

— В душе твоей солнечно потому что, — сказал Тимошка. — Значит, и дождик нипочем.

И ребята дружно засмеялись:

— Верно, Шукин.

И когда Александр один возвращался в общежитие, его не покидало это новое радостное чувство первой победы и близости доброжелательных людей. Вот Сергей Львович похвалил его и назвал другом. И, конечно, такие же друзья-доброжелатели и воспитатель Кравчук, и учительница Лидия Власьевна, и ребята — Чайка, Тимошка, Еремин. Раньше ему казалось, что эти люди только зря пристают к нему, мешают жить, теперь чувствовал потребность в их дружеском слове: «Они все верят мне, а я, как барсук, прятался от них...»

И, как бы в подтверждение этих мыслей, Кравчук дал ему в этот вечер поручение, которое показалось Сашке до головокружения важным. Вечером в клубе Кравчук с улыбкой пристально посмотрел в глаза Матросову и пожал руку:

— Очень рад я за тебя, Сашок. Поздравляю с первой производственной удачей...

Матросов благодарно взглянул в глаза воспитателя и почему-то не выдержал его взгляда. После беседы с Кравчуком он чувствовал, что между ними установились какие-то необъяснимые, сокровенные отношения. С нечистой совестью трудно смотреть ему в глаза. А он, Сашка, скрывает от воспитателя совсем немаловажные дела. И Кравчук, вероятно, вот-вот заговорит о краже из кладовой. Нет, не сможет Сашка сказать ему всю правду. Если бы и хотел, — нельзя: связан честным словом, данным Скуловороту.

Но Кравчук, будто нарочно выворачивая наизнанку его душу, говорит:

— Хочу предложить тебе поработать завтра на перевозе: на лодке через реку перевозить людей по мере надобности. А то в подсобном хозяйстве — спешка. Время сев надо закончить. Сумеешь грести веслами?

— Сумею, — тихо ответил Сашка, сдерживая голос, чтобы не выдать своего волнения. Его не только отпускают на реку, но и доверяют лодку! И снова вспыхнула затаенная мысль: «Вот когда можно бежать!» Теперь уже этот вопрос надо решать окончательно.

Глава XIV

ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТАНИЕ

С утра на реке было много работы. Матросов перевозил ребят, разные инструменты. Но часам к двенадцати ему уже нечего было делать. Причалив лодку к дубовой коряге, он сидел на берегу и, поглаживая шелковистую прохладную траву, шурясь от солнца, любовался молодой березкой: «Кудрявая какая!» Видно, и покойная мать пела о такой же березоньке кудрявой, что одна во поле стояла.

Ярко-зеленые густые ветви березки струились книзу, как расчесанные девичьи косы. Вся в цветущих сережках, освещенная солнцем, она выступала на берег реки — нарядная, праздничная, будто хотела взглянуть в голубое зеркало широкой реки, что лежала в зеленых берегах, как в малахитовой оправе, взглянуть на красоту весны и себя показать.

И так тихо кругом, безветренно так, что не шевельнется ни один листик, ни одна сережка. Только птицы щебечут наперебой, и перезвон их торжествующе разливается по всему лесу.

«Хорошо как!» — подумал Сашка, потягиваясь.

Кажется, впервые в жизни у него было на душе так хорошо.

И вдруг эту радость омрачила неожиданная встреча с Клыковым.

Кравчук, видимо, с умыслом отправил Клыкова на весенние работы в подсобное хозяйство. В колонии

Игнат появлялся редко. Сашка и не искал встречи с ним. Теперь он, услышав голос Клыкова с другого берега, вздрогнул от неожиданности: Клыков звал перевозчика, и Сашка обязан был подать ему лодку. Что же будет дальше? И зачем только принесла сюда нелегкая этого Клыкова!

Матросов отвязал от коряги лодку и погнал к другому берегу.

Еще издали узнав в перевозчике Сашку, Клыков стал бурно выражать свой восторг. Он сбросил с плеча мешок на землю и стал размахивать руками, подпрыгивая и гримасничая, как дикарь.

Когда же лодка подошла к берегу, он, оглянувшись по сторонам, таинственно заявил:

— Матрос, друг! Сам аллах подстроил такое... Да лучшего ж и не придумаешь! Гляди, у меня полный мешок: сахар, масло, хлеб, консервы. Месяца на три продовольствия. У тебя — лодка. Да мы с тобой катнем сейчас, знаешь куда?

Матросов молчал, тяжело дыша.

— Ну, чего ж ты молчишь? — спросил Клыков. — Язык проглотил, что ли? Или не рад? Не раздумывая теперь, лови момент, пока никого поблизости нет. Пускай ищут потом ветра в поле.

— Плавать умеешь? — спросил Матросов.

— Как топор плаваю, — засмеялся Клыков. — Чудак человек ты. Да зачем мне плавать, когда лодка есть?

— Грузи!

Клыков, пыхтя и обливаясь потом, схватил в охапку тяжелый мешок и шагнул в лодку. От тяжести его тела и мешка лодка закачалась и чуть не зачерпнула воды.

— Садись на корму! — сказал Матросов.

Клыков покорно сел и самодовольно захохотал, потрясая руки.

— Ай да мы! Дождались! Всех облапошили!.. Гони сразу на середину реки, чтоб не догнали нас... А меня, знаешь, заставили тащить из колонии в подсобное харчишки и говорят: «Ты, Клыков, скорей лошади домчишь»... Мне ребята сказали, что ты на перевозе. Я и те продукты прихватил, что из кладовой стибрил. Иду, знаешь, верю и не верю — аж ноги подкашиваются,

аж дух захватывает. А оно, оказывается, что ты здесь. Ну, пусть же они теперь подождут графа Скуловорота!

— Граф — персона важная, — с иронией усмехнулся Матросов.

— А я, знаешь, Матрос, обрадовался, еще когда увидел тебя в изоляторе. Пускай, думаю, посидит, — значит, еще злей станет, мой будет, мой!..

— Я тобой не купленный, — брезгливо поморщился Матросов.

Клыков понял обиду спутника: не время о старшинстве говорить; спросил:

— Матрос, а как скажешь, куда нам лучше податься — вверх или вниз по реке?

— Думаю, вниз... На Каму выйдем, потом на Волгу...

— Ну и расчудесно! Как атаманы, заживем!

— Еще лучше атаманов.

— Прощайте, все колонийские замухрышки, — презрительно сплюнул Клыков за борт. — Чахните, дуракам закон не писан...

— Уж это верно: дуракам — не писан...

— Постой, а куда ж ты лодку гонишь?

— К берегу.

— Ты что, Матрос, хочешь надо мной шутки шутить? — вытаращил глаза Клыков.

— Может, на берегу часть продуктов оставим ребятам? Голодать ведь будут.

— Ты, Матрос, не юли! — помрачнел Клыков. — Мне до твоих ребят дела нет — пусть хоть поздыхают все. Понял? Правь лево руля, не то я тебя, как щенка, утоплю.

— Не ерзай, граф Скуловорот, а то лодку опрокину — ко дну сам пойдешь.

— Да ты что, супротив меня?

— Не реви зря, корова! Мне свои вещи на берегу надо взять.

— А-а, так бы и сказал, — облегченно вздохнул Клыков. — Фу, черт, душу вымотал. Ладно, правь. Только живей шевелись, а то нагрянет кто-нибудь.

— Я и так скоро.

Матросов, и правда, торопился. Даже волосы на лбу стали влажны от пота.

Вот нос лодки зашуршал по песку и уткнулся в бе-

рег. Матросов быстро взял весла, взбежал на высокий берег и скомандовал:

— А теперь, граф, бери мешок и тащи в подсобное.

— Полундра! — взревел Клыков. — Как так — в подсобное? — Он выпрыгнул из лодки, сжал кулачища. Одутловатое, рябое, в синяках и шрамах, лицо его побагровело. — Значит, правда, что ты нарушил нашу дружбу и тайну?

Матросов с отвращением смерил взглядом Клыкова. Куда он зовет, этот беспутный бродяга? Ведь он туп и слеп, как пень. Ничего не знает и знать не хочет. И совести у него никакой нет: пусть ребята трудятся для него, голодают, — он готов украсть их продукты и сбежать. Чувствуя за собой поддержку новых друзей, глядя Клыкову прямо в глаза, Матросов ответил:

— Да, правда! Я и Тимошка не хотим бежать из колонии. Не хотим больше бродить, как бездомные собаки. Но твою тайну не выдадим. Можешь бежать сам! А теперь топай в подсобное ножками, ножками...

Глаза у Клыкова налились кровью. Тяжело дыша, он шагнул к Матросову.

— Так я тебя, мурашку, одним ударом пришибу! Матросов поднял весло.

— Не подходи!

— Ну, запомни, — задыхаясь от злобы, сказал Клыков. — Не я буду граф Скуловорот, если не изведу дотла тебя и Тимоху!

— Проваливай, проваливай, — усмехнулся Матросов, — а угрозы не боюсь. Нас теперь много!

Из-за кустов показался Кравчук.

Клыков поспешно взвалил на спину мешок и пошел, оборачиваясь и грозя Матросову кулаком.

А Матросов сел в лодку, и все тело его вдруг ослабело, словно он сейчас гору сдвинул.

«Вот и не друзья мы больше, а враги, — подумал он. — Да он и не был мне настоящим другом».

Но все же эта встреча оставила у Матросова горький осадок и смутную тревогу.

Глава XV

„ТОЛЬКО ВПЕРЕД!“

Матросов дежурил по корпусу. Закончив осмотр помещений, он вышел, сел у двери на скамеечку. Предзакатное июньское солнце еще заливало зеленые луга и леса. Воздух был напоен запахами цветущих трав. В роще звенел неугомонный птичий щебет. На душе у Сашки как-то тревожно, и трудно ему разобраться в противоречиях. Ему нравилась спокойная, разумная жизнь в колонии, но почему так неодолимо влекут его путешествия? И еще одна мысль угнетает его: да, он не хотел бежать с Клыковым, но и обманывать его было не по-товарищески, бесчестно. И зачем только связался с ним? Может, на лодке надо было бежать вдвоем с Тимошкой? Но тогда бы обманул Кравчука! А этого Матросов тоже не мог сделать.

Хорошо, что в библиотеке есть много интересных книг. Читая, он забывал о своих житейских невзгодах, находил в книгах ответы на многие свои вопросы. С нарастающей жаждой он читал все новые и новые книги, а кое-что из них, чтобы лучше запомнить, записывал.

Открыв свою тетрадь, он прочел:

— «Итак, да здравствует упорство! Побеждают только сильные духом! К черту людей, не умеющих жить полезно, радостно, красиво!»

Подняв голову, он посмотрел в солнечную даль... «Полезно, радостно, красиво...» И, вспомнив Клыкова

и своих прежних спутников бесцельного бродяжничества, с отвращением потрянул головой.

— Довольно! К черту колебания! Куда они тянули меня?

— Ты с кем ругаешься? — спросил Кравчук, выходя из-за угла.

— Сам с собой, Трофим Денисович. — Матросов смущенно встал.

— Сиди, сиди, — сказал Кравчук. Он сел рядом, вытер потный лоб.

— Пáрит как. Видно, к грозе.

— И до чего же хорошо сейчас, Трофим Денисович! — повеселел Матросов. — Чувствуете запахи? Только я не пойму, чем пахнет. В огородах ли что цветет, или травы на лугах? Раньше я не примечал такого.

— Это хорошо, — кивнул воспитатель. — Хорошо, когда человек умеет чувствовать и понимать жизнь. Бывают, знаешь, люди на вид зрячие, а на деле — слепцы, жизни всей не видят. И со мной так было. Ну, а скажи, путешествовать тянет?

Матросов чистосердечно ответил:

— Ой, страсть как тянет! Иногда, понимаете, даже сдержаться себя трудно. Дымком, знаете, запахнет, и сразу примерещится тебе костерок где-нибудь в степи или в лесу. И — летел бы туда. И везде побывать и все посмотреть хочется...

— Сашок, да ты же путешествовал в ящике под вагоном, — хитровато улыбнулся Кравчук, — а что видел, к примеру, на Украине?

— Как «что»? Ну, Днепрогэс видел.

— И внутри был? Гидротурбины видел?

— Не пустили, а то бы и посмотрел...

— Завод «Запорожсталь» видел?

— А как же? Видел, конечно.

— Что именно видел?

— Трубы высокие видел.

— А домны, мартены, слябинг?...

— Ну-у, туда не пустили...

— И в Донбассе был?

— Был.

— В шахты спускался? Не пустили, — засмеялся Кравчук. — Да так сто лет будешь бродяжничать и ничего не узнаешь.

— Не смейтесь, пожалуйста. А вот ведь Горький тоже бродяжничал.

— Нет, брат, — возразил Кравчук. — Помнится, Горький сам про себя так говорил: — Хождение мое по Руси было вызвано не стремлением к бродяжничеству, а желанием видеть, где я живу, что за народ вокруг меня. — А книги, книги потом какие написал он! . .

Матросов глубоко вздохнул, задумчиво шевеля палочкой зеленую траву.

— Ну что ж, и я учиться сначала буду. Дед Макар правильно говорил: слепухом жить неинтересно.

С минуту они помолчали.

Кравчук понимал, что рано еще обольщаться своими успехами, но, как садовник, радовался первому цветению посаженного им деревца и чутко оберегал его.

— Значит, учиться хочешь? — серьезно заговорил воспитатель. — Да, Саша, ты поотстал; тебе надо крепко поднатужиться, чтобы наверстать упущенное. Вот на учебе и проверь себя, есть ли у тебя упорство в достижении цели. Если есть, — человеком будешь.

Саша задумчиво кивнул головой.

— Побеждают только сильные духом.

— А кто это сказал?

— Николай Островский.

— Да, верно! — подтвердил Кравчук. — «Побеждают только сильные духом». Как верно и то, Сашок, что самое страшное для советского человека — сознание своей бесполезности. А чем больше будешь учиться и знать, тем и пользы от тебя людям больше. Понял? Только никогда нельзя зазнаваться. Верно говорят: умного надо искать среди скромных, а глупого — среди хвастунов и бахвалов. Самодовольный хвастун — конченный человек; умный преодолеет любые трудности, а цели своей достигнет.

— Это да-а, — сказал Матросов. Много из того, что говорит Кравчук, даже записать хочется. До чего же башковитый воспитатель! Но ведь и сам Кравчук не так уж давно был таким же неучем, как он, Сашка.

Кравчук пристально взглянул на Матросова.

— Вот еще золотые слова Островского: «Только вперед, только на линию огня, только через трудности к победе!» — говорил он молодежи.

— Вот это здорово сказано! — вздохнул Матросов: —

«Только вперед... через трудности к победе...» Эх, Трофим Денисович, если правду сказать, — и мне очень хочется быть лучше. Помогите мне, — а? Требуйте от меня, не жалейте! Требуйте, чтобы я все делал, как надо. А? Да не я буду, если не добьюсь своего. Верьте советам, добьюсь! А то ведь стыдно людям в глаза глядеть, честное слово...

Воспитателя обрадовало и это признание. Но он понимал, как далеко от слов до дела. А Матросов еще так неустойчив. И Кравчук ответил ему сдержанно:

— Дело серьезное, Саша. Помогу тебе стать лучше, но с условием: говори мне всю правду, что тебя тревожит, что мешает. Согласен?

— Согласен, — ответил Матросов и тут же с тревогой подумал: «Но как же я скажу ему правду о Клыкове? Я же слово дал...»

Вскоре и другие события показали, как трудно было ему выполнять это условие.

Кравчук решил вовлечь Матросова в общественную работу; по его совету Александра избрали председателем санитарной комиссии.

Вернувшийся из подсобного хозяйства Клыков стал мстить Александру и Тимошке за их отказ от побега.

Председатель санитарной комиссии Матросов старался прежде всего сделать образцовым девятнадцатое общежитие, где жил сам. Именно там особенно и безобразничал Клыков. Вот с утра Матросов делает осмотр, придирчиво проверяет, чисто ли убраны спальни, аккуратно ли заправлены койки, в порядке ли у воспитанников одежда, вымыты ли руки, причесаны ли любители носить «чубы». Ребята стоят каждый у своей койки. Все будто в порядке. Но, когда они возвращаются из школы или с работы, нередко видят разбросанные всюду перья, вытряхнутые из чьей-нибудь подушки, окурки. Матросов догадывается, чья это работа, но изобличить хулигана не удается.

Издевался Клыков и над Тимошкой: то щипал, то дергал за уши. Как-то раз, в клубе, потешаясь над Тимошкой, Клыков облепил его курчавую голову цепким, колючим репейником.

Сашка вступился за друга:

— Если еще раз хоть пальцем тронешь Тимошку, худо тебе будет!

— Нашелся защитник! — презрительно усмехнулся Клыков. — Да я тебя в бараний рог скручу!

— Посмей только тронуть Сашку! Все заступимся!

— Дадим тебе жару!

Матросов оглянулся. Тут были Еремин, Чайка, Брызгин. Клыков, ругаясь, отошел.

Тимошка Щукин отвел Сашку в сторону и, преданно глядя в глаза, сказал:

— В огонь за тебя пойду! Спасибо, что заступился!

Сашка хорошо знал цену этому признанию слабо-сильного Тимошки.

— Ничего, в обиду тебя не дам, братишка.

Растроганный Щукин схватил его за руку:

— Будешь вроде братишки моего? Да? Дружба наша, значит, еще крепче! Да?

Клыков, наблюдая за ними издали, грозил кулаком.

Он был противен Матросову. Самодовольный, тупой, неряшливый, постоянно что-нибудь жующий, Клыков со всеми воспитанниками вел себя вызывающе. Когда ребята готовили уроки, он шумел, мешал им. Днем он спал где-нибудь, а ночами шумно ворочался на скрипящей под ним койке, громко кряхтел, зевал с подвыванием, потом вставал и, грохая сапожищами, бродил по общежитию.

Однажды Клыков хотел избить Щукина. Испуганный, взъерошенный Тимошка бегал по общежитию, ловко, как зверек, увертываясь от огромных ручищ Скуловорота, а тот, рассвирепев, гонялся за ним, опрокидывая тумбочки и стулья.

— Стой! — вдруг преградил ему дорогу вошедший Матросов. — Не смей Тимошку трогать!

Но Клыков легко оттолкнул его в сторону и снова бросился за Тимошкой. Видя, что глаза Клыкова налились кровью и он может искалечить Тимошку, Матросов подставил под ноги преследователя половую щетку. Клыков споткнулся и с грохотом покатился вниз по лестнице. Ребята неудержимо захохотали.

Клыков свалился прямо под ноги Кравчука.

— Что с тобой, Клыков? — спросил воспитатель. — В полетах тренируешься?

Ребята засмеялись еще громче, довольные шуткой воспитателя. Взявшись за живот, смеялся и Матросов.

— В чем дело? — нахмурясь, обратился Кравчук к ребятам. — Что здесь происходит?

Все молчали. Ждали, что обо всем скажет сам Матросов, но и тот молчал.

— Убили! — простонал Клыков, задыхаясь от бесильной ярости. Хвастуну и силачу, ему стыдно было признаться, кто его обидел, и он прикинулся еле живым. Его отправили в санчасть.

После этого случая Матросов стал избегать встреч с Кравчуком. Ему казалось, что воспитатель недоволен им. Это было мучительно для Александра. «Он все знает и ждет, что я сам сознаюсь. Ведь я слово дал ему говорить правду... — И тут же утешал себя: — Но ведь он же не спрашивает меня. Спросит, тогда и скажу...».

Так он терзался несколько дней, потом решил сказать Кравчуку всю правду.

Вечером в сквере он отозвал Кравчука в сторону:

— Трофим Денисович, что я вам скажу...

— Послушаю.

— Правда ли, что художника Куинджи звали Архип Иванович?

— Правда. Но ты не об этом хотел сказать, Александр.

— Да... — И Матросов быстро заговорил, будто стремясь скорее освободиться от своей вины. — Трофим Денисович, получилось нехорошо... Это я тогда свалил Скуловороты...

— Клыкова, — поправил Кравчук.

— Я свалил... Но жаль только, что стекла разбили, а его не жаль. Сам он — лентяй, драчун, дармоед, да еще, понимаете, сбивает с толку слабовольных ребят, зовет к бродяжничеству.

— Постой, постой, — прервал его Кравчук. — Так ты что, извиняться решил или обвинять? По-моему, расправляться боем можно только с врагами на войне, а Клыков ведь не враг. И мы его тут держим, чтобы воспитать из него хорошего человека, — понятно? Так если ты сознательный, — помоги нам в этом. А ты что делаешь?

— Да нет, я виноват, конечно. Виноват, что стекла побил и что... что Скуловороты...

— Клыкова, — опять поправил Кравчук и недовольно заметил: — И потом, знаешь, не нравится мне, что ты

его за глаза порочишь. Надо иметь мужество в глаза говорить человеку о его недостатках. Кто тебе помог спустить его с лестницы?

— Я один.

— Опять неправда. Он пятерых таких, как ты, сомнет.

Матросов рассказал, как было дело.

— Я один виноват, меня и наказывайте!

— За откровенное признание вину твою прощаю, но знай: если ты на словах только хочешь быть лучше, а на деле будешь поступать по-прежнему, нам с тобой не сговориться. Не люблю пускать слова на ветер. Говорят, хорошее слово веско и ценно, как золото, а пустое — летит по ветру, как шелуха...

Матросов молчал, опустив глаза.

— Не понимаю, из-за чего ты враждуешь с Клыковым, — сказал Кравчук. — Вы же будто дружили?

— Сказать правду, Трофим Денисович, я сам с Клыковым поступил подло...

— Да-а? В чем же, не секрет?

— Был секрет, конечно, теперь — дело прошлое... Я дал ему обещание и нарушил его. Хорошо ли это?

— Плохо, конечно. Какое обещание?

— Бежать из колонии решили мы, а я помешал. Вот он и бесится.

— Ах, вот оно что! — улыбнулся Кравчук. — Так ты, брат, хорошо поступил.

Матросов обиделся:

— Вам смешно, Трофим Денисович. Говорите: то «плохо» я поступил, то «хорошо», — а как же будет верно?

— Да ты не сердись, Александр, — серьезно сказал Кравчук. — Конечно, в этом случае ты хорошо сделал, что нарушил ошибочно данное тобою слово, предотвратил беду — свою и товарища.

Матросов облегченно вздохнул: хорошо, что воспитатель снял с него тяжелую обузу.

Но трудности только подстерегали Матросова. Они порой складывались будто из мелочей, но все-таки не-легко было преодолевать их.

На другой же день Кравчук заметил ему:

— Что же ты, Александр? Председатель санитарной комиссии должен быть примером чистоты и аккурат-

ности, а у тебя вид, прямо скажем, неряшливый. Пуговицы на спецовке оборваны, тельняшка будто у трубочиста...

Александр нахмурился. Самолюбие его задето, но он промолчал. Как скажешь воспитателю, что сегодня в очередной схватке с Клыковым он испачкался и отлетели пуговицы? Матросов недовольно подумал: «Будет он теперь меня всегда утешить, раз я сам на себя добровольно хомут надел...»

— По-моему, правильно говорят, — уже мягче сказал Кравчук, — что воспитание характера начинается с мелочей. Пренебрегая малым, не сделаешь и большого. Как думаешь?

— Вроде так...

В обеденный перерыв Александр привел в порядок одежду, сам в пруду выстирал тельняшку.

Когда шел от пруда, встретил Тимошку, накинулся на него:

— Да ты, Тимошка, прямо позоришь меня! А еще другом называешься! Вид у тебя неряшливый. Пуговицы оборваны, на рубахе — дырка, лицо, как у трубочиста.

— Так ведь с графом сражались! Забыл? — подмигнул Тимошка. — А я, понимаешь, не умею ни мыть, ни шить.

— Эх ты, неумелка горькая! Ну, снимай рубаху!

Тимошка доставлял ему немало огорчений. То он углем или сажей разрисовывал себе усы и бороду, то чернилами пачкал лицо, и казалось, что оно в синяках и кровоподтеках. Ребята хохотали; не мог удержаться от смеха и Матросов. И верно, уж очень смешно все получается у Тимошки. Пусть потешает ребят. Какое ему, Сашке, дело до Тимошки? Но Сашка вспоминал прошлое, и его передергивало: вот так же Тимошка паясничал на базарах, потешая зевак. И здесь, кажется, не больше уважают Тимошку за его чудачества. Брызгин прямо считает его никчемным пустомелей. «Но ведь Тимошка — друг мой? — думал Сашка. — Вместе когда-то хлебнули горюшка... Честь друга — и моя честь». И Сашка отводил Тимошку в сторону, злился:

— Ты мне брось этот базарный пережиток! Зачем опять разукрасился, как шут гороховый, и кривляешься?

— Чтоб смешней было, чудака, — невозмутимо отвечал Тимошка. — Не понимаю, — чего ты воздействуешь на меня?

— Кулаками по ребрам воздействовать буду на тебя, если не перестанешь паясничать. Понял?

— Чего пристаешь? — удивлялся Тимошка. — Не могу я с постной рожей ходить. Кому я худо делаю? Сам я веселый и ребят веселю.

— Я тоже веселый, а не кривляюсь.

— Все придираешься, а еще друг, — обижался Тимошка.

— Потому и придираюсь, что друг. Ясно?

Сашка выстирал Тимошке рубаху, пришел пуговицы. Потом даже подарил ему складной ножик.

Благодарный Тимошка взволнованно предложил ему:

— Хочешь... хочешь я стащу для тебя на кухне сахару? Хочешь?

— Тогда совсем откажусь от тебя, — помрачнел Матросов. — Забыл уговор?

— Ну, не сердись... не буду.

Матросов вошел в общежитие веселый, с сознанием хорошо выполненных обязанностей, но увидел там хмурого Кравчука и насторожился. И верно, воспитатель опять недоволен:

— На столе и на тумбочках разбросаны разные вещи, — ворчит он, — а каждая вещь должна быть не брошена, а положена на свое место. Понятно? На полу валяются клочки бумаги; а под ноги даже на улице ничего бросать нельзя, — ясно? А вчера вечером ты громко стучал сапогами, когда товарищи уже спали, а надо было пройти на носках, оберегая их покой. Чутким надо быть, — понятно?

Матросов поднял с пола клочок бумаги, мрачно сдвинул брови: упрекам Кравчука, видно, конца не будет.

— Вы просто придираетесь ко мне! — резко сказал он. — Все не так! Не угодишь никогда вам...

— Нет, не придираюсь, а требую. Ясно? А ты, видно, еще не хозяин своего слова. Сам ведь просил требовать...

— Ничего у меня не получается, — с отчаянием заявил Матросов, — хоть пилой накрест перепилите меня...

Но Кравчук уже подмигивает лукавым глазом:

— Ты, брат, не прибедняйся. Захочешь — все получится. Человек ты или муха? Как думаешь?

От шутки воспитателя повеселел и Сашка.

— Вроде бы человек, — усмехнулся он.

— А человек все может, вот и докажи. Будь хозяином своего слова.

— Хорошо, не дите малое! — сказал Матросов, упрямо вскинув голову. — Буду хозяином своего слова. Сказал буду — и буду!

Когда Кравчук вышел, Сашка с ожесточением смял поднятый с пола клочок бумаги и по старой привычке опять швырнул его под ноги. Клочок упал на видном месте между койками. Сашка тут же спохватился: надо было бросить этот клочок в урну, — она всего в пяти шагах. Но наклоняться и поднимать бумажку уже не хотелось. Подумаешь, пустяк: землетрясения не произойдет, если он и не поднимет эту бумажку. Но эта скомканная синяя бумажка (видно, с тетрадной обложки) будто издевалась над ним, проклятая, была словно укором совести. Сашка оглянулся вокруг: не смотрит ли кто на него, — и со злостью поддал бумажку ногой. Скомканная бумажка, словно шарик, полетела под кровать — к стене.

«Но ведь это такая мелочь!» — оправдывал он себя. А что сказал бы Кравчук? Ну да, значит, у него, Сашки, нет воли и настолько, чтобы заставить себя поднять эту бумажку. И, проклиная этот синий клочок бумаги, он полез на четвереньках под койку, стукнулся лбом о ее железную перекладину, достал злополучную бумажку и бросил в урну. И — странно — сразу на душе стало легче.

Но хотя Сашка и навел в общежитии порядок и с Кравчуком они расстались дружелюбно, плохое настроение у него было до конца дня. В самом деле, всегда у него какая-нибудь проруха!

Вечером он пошел в библиотеку.

— Пришел? — приветливо встретила его библиотечкарь, Евгения Ивановна. — А тут есть свежие журналы — «Огонек», «Наука и техника».

Саша дивился неутомимой подвижности этой уже немолодой, с виду слабенькой женщины, так умело управляющей волшебным миром книг, и проникался все большим уважением к ней.

Вошел Клыков, как всегда, шумно и небрежно швырнул на стол библиотекаря растерзанную книгу. Евгения Ивановна с мучительным выражением на лице тотчас же подхватила книгу, как ушибленного ребенка. Ей показалось, что корешок с полуистертыми следами золотого тиснения сейчас только лопнул.

— Я тебя оштрафую, я тебя накажу! — говорила она Клыкову, листая книгу, бережно расправляя загнутые углы. Голос ее дрожал, глаза блестели от слез. — Ну да, так и есть! Целые страницы вырваны, папиросная бумага, прикрывавшая иллюстрации, вырвана. Книгу могли почитать еще сотни людей, а ты изуродовал ее! Я не дам тебе больше ни одной книги...

— Нашли, чем страшать, — засмеялся Клыков. — Не хлеще лишаете. Проживу и без ваших книжонок.

Евгения Ивановна, утирая глаза, ушла за стеллажи.

Матросов вскочил, подбежал к Клыкову, маленький в сравнении с ним, взъерошенный, как еж:

— Я тебе глаза выцарапаю! Деревянный истукан! Извинись перед ней. Сейчас извинись, а то поздно будет. Знаю, ты на сигарки вырывал листы.

— Умолкни, пичужка, — насмешливо обернулся Клыков к Матросову. — Что ты супротив меня можешь? Подстерегу и придавлю, как мышонка.

— Уйди прочь, обормот! — закричали ребята на Клыкова, когда Матросов схватил железную кочережку.

Клыков попятился к двери.

— Боже мой, что тут происходит? — удивилась Евгения Ивановна, выйдя из-за книжных полок. — Сейчас же садитесь по местам, а ты, Клыков, уйди. После разберемся.

Клыков ушел. Матросов сел за стол сконфуженный. Опять проруха. Еще недоставало, чтобы и Евгения Ивановна считала его драчуном, хулиганом! Стыдно теперь ей в глаза глядеть. А давно ли был разговор с Кравчуком?.. «Только вперед, только на линию огня, только через трудности к победе!»

Матросов зажал голову руками, уткнулся в книгу и задумался.

Глава XVI

УРОК ИСТОРИИ

Это был долгий зимний вечер. Стемнело рано, когда трудовой день едва закончился. Гулять во дворе было холодно. Воспитанники спешили в клуб, где уже бурлило безудержное веселье. До начала кинофильма еще целый час. Тимошка Щукин бегал по клубу, спрашивал, не видал ли кто Матросова. Без дружка у Тимошки и веселье — не веселье.

Сашка сидел в ленинской комнате, склонясь над раскрытыми книгами и тетрадями, когда ворвался запыхавшийся Тимошка.

— Сашка, ну чего ты один киснешь тут?

— Не кисну, — уроки готовлю, — хмуро ответил тот.

— Какие там уроки? В клубе так весело, — всё каруселью кружится. Еремин, понимаешь, надел вывернутый тулуп и медведя изображает. Все до упаду хохочут. Чайка с ребятами новую песню разучивает. Велел и тебя тащить — не хватает, видишь, тенора в хоре. Ну, идем же скорей, Сашутка!

— «Идем, идем», — недовольно проворчал Сашка, — а уроки ты за меня сделаешь? Очень весело будет, если получу двойки по географии и по истории древнего мира. Завтра спросят, а я еще и не читал.

— Да зачем двойки? У меня выписаны все имена и даты. — Тимошка вытащил из-за пазухи клочок бумаги. — Хватит и этого. Лишь бы начать, а потом кривая

вывезет. Пошли. Уроки, понимаешь, не уйдут, а представление кончится.

Сашка заколебался: ему и самому очень хочется попасть в клуб; с ребятами веселей. «Идем», — согласился он.

Они вышли во двор. Из клуба уже доносился веселый шум. Тимошка, задорно присвистнув, от нетерпения завертелся волчком:

— И-ие-эх!.. Побежали скорей!.. — И схватил дружка за руку, чтобы стремглав помчаться к клубу.

Но Сашка вдруг остановился, нахмурился. Ему вспомнились слова Кравчука:

«Если не хочется работать, заставь себя...» И представил себе его укоризненную усмешку: «Эге, не можешь, хлопче...» Сашка озлился на самого себя: «Я ж ему обещал, — и опять слова на ветер. Так есть у меня это упорство или нет? Ведь я уже немного подтянулся, и все стали лучше ко мне относиться. А вчера опять ребята похихикивали, когда схватил двойку по математике и краснел, как рак вареный. Нет, хватит пыхтеть и мямлить на уроках или «плавать» с Тимошкиными датами. Не буду посмешищем в классе!»

— Я не пойду в клуб, — резко сказал Сашка. — Хватит двойки получать, позориться!

Тимошка рассердился, снова стал доказывать, сколько удовольствий ждет их в клубе, даже пригрозил, что кончится их дружба.

— Ты сухарем стал. С тобой от скуки засохнешь.

— Я и тебе советую заниматься сейчас со мной.

— Это мне страдать тут, когда все веселятся? Да? Надоели мне все указчики. Я веселиться хочу. Понятно тебе? Не сходимся мы с тобой характерами, если ты уже такой дряхлый старик. Найду и других дружков. Сиди, крихти, а я бегу развлекаться, — выпалил Тимошка и побежал. Он нарочно и обидные слова говорил Сашке, надеясь, что тот все-таки пойдет за ним.

Сашку взорвало. Нет, видно, исправим этот Тимошка. И как только удалось Кравчуку оторвать его от Клыкова? Было время, когда он, Сашка, Тимошка и Скуловорот изошрялись в классе, кто острумнее нагрубит старой учительнице — Лидии Власьевне. Сам он, Сашка, до того было вошел в глупую роль отчаянного парня-ухаря, что учительница, входя в класс, косилась

на него выжидательно, какой он «номер выкинет». А когда он стал посерьезнее, Скуловорот так и потешался над ним: «Думали, он отчаянный парень-ухарь, а он мокрица...» Что ж, если Тимошку интересует такая дружба, то Сашке она теперь не нужна.

Матросов снова склонился над учебником истории древнего мира. Но слова, строчки бежали мимо его сознания. Он почти ничего не понимал, невольно думая о соблазнительном веселье в клубе: представлял себе Еремина, изображающего медведя, Виктора Чайку. Какую песню он там еще нашел? Как хочется побыть там! А уроки подготовить можно бы и после клубных занятий. Все равно он зря теряет время — читает, и ничего в голову не лезет.

Он с отчаянием захлопнул учебник и встал. И нечего было ссориться с Тимошкой. А то он по глупости, и правда, опять переметнется к Скуловороту.

Но у двери он снова спохватился. «Да кто же я — человек или муха? Ну, просто размазня какая-то. Не буду больше думать о клубе, не буду! На своем поставлю».

Он отгонял посторонние, назойливые мысли, и все в книге стало понятнее. А скоро он так увлекся, что и совсем позабыл о клубе.

Из мглы веков перед его воображением вставляли судьбы народов, выдающихся людей. Вот несметные сокровища египетских фараонов. Вот измученные жестокостью хозяев и голодом бесправные рабы и крестьяне восстают против своих угнетателей, громят царские чертоги. Но рабы не умеют и не могут устроить свою жизнь, отстоять свободу, — их снова заковывают в цепи. Вот возникают и потом гибнут целые государства: Египет, Ассирия, Вавилон...

Увлечшись, Матросов читал страницу за страницей, и перед ним все шире открывались жизнь и борьба народов. Он уже постиг прелесть познания, когда каждая страница книги, каждый час, каждый день открывали перед ним что-нибудь новое, волнующе интересное, и все больше овладевала им жажда знаний. Теперь ему не терпелось скорее узнать, как в древности жили люди Индии, Китая, Греции. Хотелось почитать и поэмы — «Илиада» и «Одиссея», о которых рассказано в учебнике. Он читал, задумывался: «Ой, как прав был дед Макар, когда говорил, что на земле было людей много, как песку морского;

жили они, боролись за свое счастье, умирали, но никто из них не знал настоящего счастья, доступного только советскому человеку!» Сашка нетерпеливо, забегаая вперед, перелистывал учебник, искал наиболее интересные места и снова с жадностью впивался глазами в книгу.

Когда в коридоре зашумели ребята, возвращаясь из клуба, он читал уже о восстании Спартака. Услышав шум, Сашка вздохнул с сожалением, что не побывал в клубе, но тотчас же успокоился, решив, что и он не зря просидел тут. Скоро стало тихо. Видно, все спать улеглись. Он продолжал читать.

Учительница Лидия Власьева за полночь увидела свет в ленинской комнате. Она вошла туда и удивилась: Матросов, положив голову на раскрытый учебник, спал сидя.

Она часто помогала Матросову. Порой, одолевая трудности учебы, он отчаивался и терял веру в свои силы. Лидия Власьева всегда умела найти нужное слово, чтобы подбодрить павшего духом ученика, вновь и вновь зажечь его сердце страстью к знанию. Она любила детей всем сердцем своим. Но любовь ее была требовательна, взыскательна.

И теперь, заглянув в учебник, Лидия Власьева недовольно нахмурилась:

— Почему спишь на книге, а не на подушке? — спросила она, когда Матросов, проснувшись, виновато взглянул на нее.

— Уроки готовлю.

— Подготовил?

— Ой, нет, — спохватился он, — не успел еще по географии широту и долготу... а по русскому — суффиксы.

— Нельзя так бессистемно заниматься, — строго сказала Лидия Власьева. — Уроки не подготовил, а уже читаешь то, что в следующем классе проходят. Да еще в неположенное, ночное время.

Он с отчаянием махнул рукой.

— Ничего у меня не получается. Совладать не могу с собой. Вот зачитался, а времени не рассчитал. Да еще уснул.

Учительница подбодрила его:

— Зря так говоришь. Ты уже многого добился. Но еще не умеешь разумно распределять свое время и силы. Ладно, иди спать.

Он ушел, недовольный собой: учительница, видно, плохо теперь подумает о нем.

Тем больше он был удивлен, когда на следующий день Лидия Власьевна на собрании класса предложила избрать его классным организатором. И совсем растерялся, когда ребята заспорили: достоин ли он избрания.

— Он задира! — говорили одни.

— Зато всю правду в глаза говорит, — возражали другие.

— Уж очень горяч, как спичка вспыхивает.

— И язычок у него больно острый, как перец.

— Выдержки нет. Вечно с кулаками ходит.

— Да ведь это, ребята, раньше с ним было. Теперь посмирнел.

— Зато с двойками дружит! Получше его есть!

Тут показалась огненно-рыжая голова поднявшегося Тимошки Щукина. Он энергично взмахнул рукой, точно ловил муху:

— Так тоже нельзя, ребята. «Двойки»! Не больно зарекайтесь. Двойка, как блоха, к любому заскочит.

Ребята засмеялись.

— Будешь знать предмет, — не заскочит.

— Чего спорить? Матросов старается во всем. Он и товарищ верный, и в цехе работает хорошо, и по учебе в школе многих обгоняет.

Матросов краснел, ерзал, поеживался. Ох, как неприятно, когда на собрании во всеуслышание говорят о твоих недостатках, да еще при учительнице! Даже выступление Тимошки в его защиту больше огорчило Сашку, чем обрадовало: похвала не уважаемого людьми человека — хуже хулы.

Матросов с нетерпением ждал, что скажет Лидия Власьевна. Конечно, теперь она тоже будет против его кандидатуры. Еще бы, — столько наговорили плохого о нем! А ведь если честно подумать, — ребята говорили правду. Ну, может, несколько и преувеличивали (кое в чем он действительно подтянулся).

Вот, наконец, Лидия Власьевна поднялась, поправила волосы на виске. Так знакомо ее лицо, — ее карие глаза, то ласковые, то укоризненные, гладко причесанные седые волосы, синяя вязаная кофта. Все знакомо, как у родной матери. Тем более горек будет ее упрек.

— Будьте же и к себе требовательны, как к Саше Матросову, — сказала Лидия Власьевна, чуть улыбнувшись. — Тот, кто ищет в человеке только дурное, сам дурной человек. Хороших людей гораздо больше, чем нам кажется. Но хорошим надо стать, решительно вытравляя в себе все дурное. Что же касается Матросова, то тут говорили правильно: он старается быть лучше, и я надеюсь, что он исправится, подтянется и поработает классным организатором.

— Верно! Годится! — зашумели ребята.

Большинство одобрило его кандидатуру, и он был избран.

Тогда Лидия Власьевна обратилась к Матросову:

— Доверие товарищей — это самая большая награда для человека. Ведь доверяют только честным людям. Оправдай это доверие в любых обстоятельствах.

Его взволновали эти слова.

Вскоре на уроке истории древнего мира учительница спросила Тимошку:

— Ну, Шукин, что ты знаешь об ассиро-вавилонской культуре?

Тимошка встал и, несмотря на вчерашнюю ссору с Сашкой, умоляюще взглянул на него, чтобы тот подсказал. Но Сашка опустил голову. «Значит, сердится, — подумал Тимошка, — и помочь не хочет. Пропал я теперь...»

— Ну, что ты знаешь о культуре Двуречья? — спросила Лидия Власьевна. — Кто ее создатели? Кто такие шумеры? — доброжелательно задавала она наводящие вопросы.

Шукин промычал что-то и умолк.

— Что называется Двуречьем? Какая долина между Тигром и Евфратом?

Тимошка в смятении пыхтел, переступая с ноги на ногу, стреляя глазами по сторонам, в поисках подсказки. Даже выписанные им на шпаргалке «имена и даты» вылетели из головы.

В классе послышался шепот, потом тихий говорок. Кое-кто поднял руку. Матросов сочувственно взглянул на незадачливого друга и поспешно отвернулся.

— Ну, Шукин, от кого и чему научились ассирийцы и вавилоняне? Была ли у них письменность и какая? — спрашивала учительница.

Щукин молчал. Не поднимал головы и Матросов.

Лидия Власьевна, заметив необычайно унылый вид Матросова, спросила его о фараоне Хеопсе. И Матросов с увлечением бойко заговорил.

Его слушали внимательно, с интересом, что было признаком успеха. Приободрившись, он добавил от себя, что, мол, фараоны на костях многих тысяч людей по глупому капризу, чтобы возвеличить себя, возводили гигантские бесполезные сооружения, затрачивая несметную человеческую силу, какой хватило бы на строительство оросительных каналов для всей страны, изнывавшей от безводья.

Лидия Власьевна остановила Матросова:

— Довольно. Молодец. Ставлю «пять».

И он сел, взволнованный, сияющий. Пусть знают ребята и учительница, что неплохо начал он оправдывать их доверие. Потом взглянул на Тимошку. Тот, уткнувшись в парту, смахивал слезы. Сразу померкла и радость Александра.

— Почему ты мне тихонько не подсказал? — накинулся он на Матросова на перемене. — Теперь я пропал с этой проклятой двойкой. На весь год позор. А еще братишкой называешься. По-дружески это — не выручить, когда товарищ погибает?

— Не развлекался бы в клубе, а читал — не погибал бы.

— Ага! Ты мстил мне. Но почему ты даже писульку не подсунул? Жалко было? Да? Сам выскочить хотел?

— «Почему, почему»!.. — рассердился Матросов. — Потому, что я и сам не знал!

— Ах, ты не зна-ал, — ехидно усмехнулся Тимошка, втайне радуясь такому открытию. — Ты не знал, но у тебя пятерка, ты отличник! А я все хорошо знал, кроме этой несчастной ассири-вавилонской культуры, а у меня — двойка. Петля на шее. Честно это, по-твоему? Да?

— Но ведь подсказывать нельзя. Понятно тебе?

— Врешь, другу тайком можно!.. Это ты никчемный такой друг... Да что толковать, раз ты и сам не знал, отличник липовый, — язвительно твердил Тимошка.

Горе Тимошки так угнетало Матросова, что он был сам не свой. И верно, прав Тимошка: несправедливо получилось. Удача Александра — случайная удача, и отличную отметку он получил незаслуженно, даже бесчест-

но, скрыв от всех свое плохое знание предмета; значит, он обманул и товарищей, и любимую учительницу.

На следующем уроке, к удивлению ребят, Матросов поднял руку и заявил Лидии Власьевне:

— Я не заслужил пятерки по истории! Меня спросили о том, что я хорошо знал, а остальное я знал плохо. А Шукин, наоборот, все знал хорошо, не знал только то, о чем его спросили. Верьте совести, Лидия Власьевна, это правда. Я прошу пересмотреть оценки.

Учительницу растрогало это необычное заявление. Она, правда, пожурила Шукина и Матросова, что они оба, как выяснилось, плохо готовили уроки.

— Что ж, хорошо, что ты, Матросов, сам признал свою недостаточную подготовку и хлопочешь за товарища. Так и быть, я снова спрошу вас обоих.

На перемене ребята, озадаченные поведением Александра, обступили его:

— Вот же чудак! Ну, чего тебе еще надо было! Получил пятерку — и помалкивай! Кто бы знал, что ты не подготовился?

А когда Лидия Власьевна переспросила их и Шукин получил оценку — три, а Матросов — четыре, некоторые ребята стали злорадствовать:

— Достукался, Сашка? Вот чудак, сам на рожон полез!

Ребята заспорили, правильно ли поступил Матросов. В спор вступили и ученики других классов.

А Матросов и повеселевший Тимошка расхаживали вдвоем и мирно беседовали.

— Ну, и чудной же ты, Сашка! — твердил Тимошка. — Ну, прямо сразил ты меня своим заявлением.

— Ничего, — отвечал Сашка. — Отметку я еще исправлю.

И ребята, как ни спорили о нем, сходились на одном: прямой он и верный товарищ, и слово его не расходится с делом.

— Я хитрый, — подмигивал он порой Тимошке, — всех слушаю, а беру то, что мне надо. — И верно: почуяв силу в себе, он с помощью Лидии Власьевны, Трофима Денисовича и Сергея Львовича наверстывал упущенное время, учился с завидным упорством.

В цехе ему помогал Виктор Чайка. Как настоящий друг, он охотно, без зазнайства и насмешек, учил Алек-

сандра. Виктору можно, не стыдясь, задавать любые вопросы. Александр делал пока простые дверные замки, но уже начинал постигать сокровенный смысл перехода от простого к сложному, от замка к машине, ощущая радость успешного овладения мастерством, радость творчества.

— Механика простая — замок, — взволнованно говорил он Тимошке. — Но тут можно установить важный принцип реечного сцепления. А по нему делаются и сложные машины.

Но часто омрачал жизнь Клыков. Вот и вчера, к примеру, стащил он у Матросова из ящика инструменты — напильники и штанген-циркуль. Матросов догадывался, чья это проделка. Ему опротивела уже глухая, непрекращающаяся вражда с Клыковым, а жаловаться на него не хотелось, — он считал это малодушием.

В цехе к Матросову подошел Сергей Львович. Мастер был доволен старательным, пытливым учеником, но видел еще и немало недостатков в его работе. По опыту зная, когда надо похвалить, а когда повысить требовательность, Сергей Львович добродушно проворчал:

— Да, не вижу я у тебя настоящей культуры труда. На верстаке и стеллаже — непорядок: нужный инструмент должен лежать под рукой, чтоб не терять времени на его поиски, а все лишнее надо убрать. У тебя же все разбросано. Ты делаешь ненужные, непроизводительные движения, а время надо беречь. Долю секунды сэкономишь на каждом движении, а к концу дня получится много. Секунда час бережет. Из мелочей большое складывается. — Сергей Львович пригляделся к опиливаемой детали. — Так, а вот здесь можно бы уже не драчевым, а личным напильником, а блеск навести. — бархатным.

Матросов насторожился: «Может, Сергей Львович знает, что у меня украдены эти напильники? Сказать ли ему, что я подозреваю Клыкова? Нет, повременю. А то начнутся расследования, разговоры. Лучше сам дознаюсь и с ребятами взбучку дадим ему».

— Что ж, — продолжал мастер, — можно тебе дать работу еще посложнее. Надо больше любить свое дело, тогда и порядок будет у тебя во всем... А теперь, Александр, поздравляю тебя. Начальник объявил благодарность некоторым воспитанникам за хорошую работу. Среди них и ты...

— Ой! Правда? — просиял Матросов. — Спасибо, Сергей Львович...

Александр с уважением смотрел на сгорбленную спину уходящего мастера. Душевный старик! Но какой хитрюга! Все ворчал, ворчал и только напоследок сказал.

Александр ощутил такой прилив сил, он чувствовал себя полезным, нужным и уважаемым человеком. Потому он был постоянно весел, общителен, жизнерадостен.

Потирая руки от удовольствия, он подошел к Виктору Чайке.

— Трудно, зато интересно! — подмигнул Александр, блестя озорными глазами, полный молодой задорной силы.

Глава XVII

ВОЙНА

Шедро пригревало июньское солнце. В синем небе таяли белые облака, отражаясь в зеркале пруда. Прибрежные ивы свесили к самой воде зеленые расчесанные косы.

Но вот к пруду шумной веселой гурьбой подбежали ребята, со смехом и возгласами:

— А ну, Саша, покажи класс! Давай кролем!

— И алябрассом!

— Да лучше «уточкой», Сашка!

А что тут показывать? Это вам не днепровские просторы, где Саша впервые одолевал приятнейшую мальчишечью науку ныряния и плавания. Но и здесь Еремин и Чайка дивились его умению плавать любым стилем, а Брызгин и Клыков готовы лопнуть от зависти, когда Сашка ныряет «уточкой», «штопором», «с кольцами»... Тимошка же просто захлебывался от восторга, любуясь искусством дружка, считая его колониийским лидером водного спорта.

Ребята купались, пока не посинели губы. Потом стали греться на солнце. Сегодня воскресенье, и торопиться никуда не надо. Впереди еще много удовольствий. Вот дождутся воспитателя Кравчука и с ним пойдут на реку кататься на лодке. И денек сегодня на редкость тихий, солнечный.

Лежа на спине, Александр нюхает молочно-розовый цветок тысячелистника и смотрит на белые облака.

— Вон орел за тучу залетает, — говорит Брызгин, — это беркут.

— Нет, белохвост, — отзывается Еремин.

— Что вы, гриф! — поправляет Александр.

Сощутив глаза, он смотрит в бездонную синюю высь и не может понять, куда деваются бесследно тающие там облака.

Вдруг он привстает и с беспокойным огоньком в глазах говорит о своей излюбленной мечте:

— Ребята! Ребята! Вот хорошо бы изобрести такую машину, чтоб с ее помощью человек управлял ветрами, тучами!.. Тучелов, что ли. А?..

— Вечно, Сашок, что-нибудь придумаешь! — смеется Виктор Чайка.

— Ну, это до чего ж интересно, аж дух захватывает! — продолжает Матросов. — Повернул рычажок — и тучки наплывают, наплывают со всех сторон, сгущаются. Потом — трарарах! — электроразрядка. Грянет гром, сверкнет молния, и польется дождик на поля... Или дует сильный ветер, а ты нажмешь кнопку и — подул он в обратную сторону...

— Это может быть! — подтверждает Тимошка. — Управляют же самолетом на расстоянии!

— Конечно, может быть, — убежденно говорит Матросов. — Только вот кто и когда это сделает? Эх, я бы хотел...

Он молчит, думает. Этой весной он окончил шестой класс и переведен в седьмой. Многое постиг и в слесарном деле. В колонии он подросток, окреп, старался теперь вести себя, как взрослый, хотя еще остались у него мальчишеские повадки: хочется побежать с кем-нибудь наперегонки, побороться или промчаться по двору с подскоком... Но все чаще Александр задумывается теперь о жизни, и ему хочется все больше и больше знать. Будто шире открываются на мир глаза и видят все больше ранее не виданного, чудесного, а понять и объяснить многое он еще не может.

Радиоволны каждодневно несут со всех концов страны волнующие вести о победах советских людей. По вечерам и за полночь он с ребятами засиживается в клубе, с увлечением читает газеты, журналы, участвует в жарких спорах.

Сбывались слова воспитателя Кравчука: у Алек-

сандра все вызывало хозяйское удовлетворение — и насаждение новых лимонных и апельсиновых рощ в субтропиках, и строительство промышленных городов, и закладка мичуринских садов в Заполярье. Всемогуший советский человек побеждал, преобразовывал природу, раскрывал сокровища земных недр. И неспроста Саше полюбилась песня, в которой говорится:

«Посмотри, как цветет без края, вся в сиянье страна родная».

Приятно сознавать, что и он сам по праву входит в великую трудовую семью.

Кравчук подошел к ребятам, весело размахивая руками, улыбающийся, праздничный, в белой украинской вышитой рубаше. Им особенно нравился воспитатель, когда он был в хорошем настроении. Они вскочили, заулыбались.

— Ну, орлы, чем занимаетесь тут? — спросил он.

— Да вот Матросов тут говорил о такой машине, — за всех ответил Виктор Чайка, — чтобы управляла ветрами и тучами. Как думаете, Трофим Денисович, будет такая?

— Знаю об этой мечте его. Хорошо, что не оставляешь ее, Саша. Что ж, ребята, думаю, что может быть такая машина. — Кравчук довольно потер руки, подмигнул: — Как верно и то, хлопцы, что именно вы будете строить эти невиданные машины и управлять ими. К примеру сказать, стало же у нас обычным делом — изменять русла рек, создавать новые моря, орошать и озеленять пустыни. А придет время, — кликну: «Эй, Тимошка Шукин, а подбрось-ка меня, хлопче, на своей ракетке на Луну или на Марс...»

Даже незаметно, когда он шутит, когда говорит серьезно, Трофим Денисович. Но как ребята любят этого курного очкастого человека в те минуты, когда он вслух мечтает вместе с ними!

— Ну, да что ж это мы разговорились о серьезных делах, когда такая погода!.. Что приуныл, Александр?

— Ой, что вы, Трофим Денисович! — восторженно воскликнул Матросов. — Я просто слушаю и думаю. А вообще мне очень хорошо! — Он посмотрел вокруг, любясь точно впервые замеченной красотой окружающего мира. — Ох, так хорошо здесь, Трофим Денисович, что даже петь хочется!

— Что ж, запевайте, а я подтяну.
— Какую? — спросил Чайка, растягивая мехи баяна.
— Хочется такую, — разводит руками Матросов, — такую широченную, как... как небо...
— «Степь»? — догадался Виктор Чайка.
— Ага, «Степь», — довольно кивнул Матросов. — Он закинул голову и запел:

Ах ты, степь широкая...

Все дружно подхватили песню.

Где-то далеко над рекой, над лесами и лугами поплыло, переливаясь, многоголосое эхо.

Все задорнее и теплее звенел голос Матросова:

О, да не степной орел
Подымается...

И в разгар песни показалась Лидия Власьевна. С мучительно искаженным лицом, спотыкаясь, она торопливо шла к ребятам:

— Дети, война!.. Дети, война!.. — задыхаясь, кричала она.

Песня оборвалась, хотя Лидию Власьевну не сразу поняли. Может, она шутит?

— Молотов... по радио говорит... — остановясь, уже шепотом сказала она.

Горе отражалось на ее измученном, почерневшем лице: единственный сын ее Владимир был в армии и, может быть, уже вступил в смертельный бой с врагом.

На минуту все оцепенели: слишком неожиданной была страшная весть в этот солнечный благоухающий день. Ребята бросились к клубу. Тимошка на бегу снял с головы венки из цветов и отбросил в сторону. Александр бежал впереди. Теперь ни к чему эти тающие белые облака, ни к чему и тучелов. Неведомое, но грозно надвигающееся событие заполнило сознание.

Тяжело дыша, Александр прижался к бревенчатой стене клуба. Сюда, к громкоговорителю, сбежалась вся колония. Лица воспитанников суровы.

До этого часа жизнь в колонии шла весело, бурно, осмысленно. Радостный труд, волнующие надежды враг оборвал грубо и нещадно... Страшная опасность угрожала всему самому дорогому и близкому, угрожала жизни народа.

Солнце палило нещадно, и Матросов, прищурив глаза, стоял недвижно и думал: как же помочь Родине?

На митинге в клубе, после выступления учителей и воспитателей, попросил слова и Матросов.

— Товарищи, — сказал он, — война касается всех нас. Вот нас учат, бесплатно дают нам и пищу, и одежду, и жилье. Кто это делает? Она, мать наша — Родина. И мы в обиду ее не дадим никому и никогда. У всех советских людей одна забота, одно дело кровное — побить фашистов. Верно я говорю?

— Верно! Правильно! — зашумели ребята.

— О себе так скажу, товарищи... Верьте совести, буду работать как могу лучше!

Глава XVIII

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!

С того часа все пошло по-иному.

Ребята стали серьезнее, будто сразу повзрослели на несколько лет. Мебельная фабрика колонии все больше получала новых заказов. Воспитанники поднимались в шесть часов и работали допоздна. Вечером они жадно слушали радио, читали и обсуждали военные сводки.

В первые дни Матросов ходил задумчивый, работал до изнеможения, но все был недоволен собой. Как-то он обратился к Кравчуку:

— Трофим Денисович, уважьте мою просьбу.

— Какую?

— Верьте совести, не могу тут киснуть, когда фашисты к нам лезут... Похлопочите, чтоб меня отпустили на фронт.

— Нет, не стану хлопотать!

— Почему, почему? — горячась, спросил он. — Вон Павел Корчагин в мои годы уже на какие большие дела шел! Не подведу и я, верьте совести, не подведу!

— Если ты тут киснешь, — спокойно возразил Кравчук, — то на фронте и подавно захнычешь. Нашей фабрике дали срочные заказы. Работой своей будем помогать фронту. Вот тут и проверь себя: годишься ли ты на трудные дела? Да и не возьмут тебя на фронт — годы не вышли.

Александр смирился.

...Колония изготавливала ящики для снарядов, гранат и патронов, учебные винтовки, маскировочные сети. Воспитанники вступили в соревнование и старались друг перед другом перевыполнить норму. Матросову в слесарно-механический цех то и дело приносили точить пилы — поперечные, циркулярные, ленточные, ручные ножовки и другой инструмент. Александр понимал: чем скорее и лучше он выправит, наточит инструмент, тем скорее пойдет работа в цехах.

Вначале он неохотно перешел на эту работу, по сути простую и однообразную. Ему хотелось работы посложнее, но приходилось делать то, что было нужно. И он, помня слова Кравчука, проверял себя на выдержку, старался работать как можно лучше, как можно скорее.

Три заветных слова — «Все для фронта!» — волновали, звали на трудовые подвиги. В цехе на стене появился плакат, на котором боец-фронтовик показывал на тебя пальцем и спрашивал: «Что ты сделал для фронта?» Матросов, склоняясь над тисками, представлял себе: в затемненных цехах заводов и на колхозных полях, в шахтах и кабинетах ученых — всюду советские люди с предельным напряжением дни и ночи трудятся для фронта.

Александр Матросов тоже старался внести и свою долю труда. Он уже выполнял норму на сто пятьдесят процентов. Но Виктор Чайка и Георгий Брызгин обогнали его. У Александра быстро тупились напильники. Тогда он обратился за советом к Сергею Львовичу, и тот научил его выбирать напильники по твердости заковки и форме насечки самые лучшие. Дело пошло быстрее. Изо дня в день он повышал нормы выработки — сто пятьдесят, двести процентов.

Мастер довольно поглаживал седые усы:

— Молодец Матросов! Орел! Рад за тебя.

— Вам спасибо, Сергей Львович, вы научили.

Но этот старый добрый ворчун, кажется, всегда боится перехвалить.

— Ну-с, а это, брат, нехорошо, что ты после работы инструмент бросаешь в ящик навалом, кое-как. А утром теряешь время, роешься, ищешь нужное. Есть золотое правило: всякое дело надо доводить до конца и делать как можно лучше — будь то большая производственная операция или какая-нибудь мелочь.

Заметив унылое выражение на лице Матросова, мастер спросил:

— А почему в последнее время ты стал хмурый, невеселый?

— Так ведь война, — что ж тут веселого?

— Именно потому, что война, нельзя нос вешать. Надо быть бодрым, веселым. Тогда и жить легче и работа спорей идет. Ну-с? У нас ведь все ясно: за верстаком, станком получше работай, в бою крепче лупи врага. — И шутливо подмигнул: — Ведь орел ты, а не чижики, а? По хватке вижу...

Матросов повеселел: дорогá ему похвала взыскательного и чуткого мастера. «Утешает, а и самому, наверно, не очень весело».

Вечером после работы Сашка вбежал в клуб веселый, быстрый, как ветер. Уставшие ребята жались по углам.

— Почему тихо? Чего приуныли? — воскликнул он, оглядываясь вокруг.

— Больно веселый ты, — отозвался Брызгин. — А нам не до веселья, когда война...

— Тем более нельзя нос вешать. От этого легче не станет, — сказал Сашка и озорно подмигнул: — Хлопцы, да орлы вы или чижики? Эй, Виктор, давай баян, заводи песню!

Лица ребят просветлели. Виктор Чайка заиграл на баяне. Матросов впервые с начала войны запел, ребята подтянули. И скоро песне стало тесно в стенах клуба.

С партийного собрания зашел в клуб Кравчук. Матросов повернулся к нему, на его лице смущение:

— Извините, Трофим Денисович... Ну, до чего же люблю песни! Может, и некстати сейчас, в такое суровое время? А?

— Ничего, песня всегда нужна!

Александр отошел с Кравчуком в сторону.

— Ну, как, Трофим Денисович, что о нас говорили на собрании? Было что-нибудь важное?

— Конечно, было! Вот некоторые наши ребята доказали, что метод соцсоревнования можно и нужно ввести во все виды нашего производства. Вот и ты, например...

— И обо мне упоминали на партсобрании?

— А как же! Хвалили. Начальник обещал премии выдать некоторым стахановцам. И тебе...

Матросов благодарно посмотрел на Кравчука.

— Если получу премию, первый раз в жизни на свои заработанные деньги куплю себе хороший костюм! — сказал он мечтательно, представляя себя в новеньком костюме. — Поможете выбрать, да?

— С удовольствием помогу.

— Вот спасибочки... А еще что на собрании, а?

— Вот еще говорили, как бы помочь нашим солдатам, — продолжал Кравчук. — Возьмите Стешу, повариху нашу. Муж на фронте, у нее трое ребят. А ведь солдаткам и детям фронтовиков каждый из нас может чем-нибудь помочь.

— Злая очень стала тетя Стеша, ворчливая, — заметил Александр, вспомнив, как однажды повариха накричала на него, вообразив, что он хочет стащить котлету. — Ну, а что о фронтах говорили?

Их уже обступили воспитанники и тоже стали спрашивать Кравчука, как идут дела на фронте.

Через неделю, когда выдали зарплату и денежные премии, Кравчук заметил, что Матросов о чем-то тайно шепчется с ребятами по углам.

«Не бежать ли собираются? — забеспокоился Кравчук. — Теперь ведь все рвутся на фронт».

Но ребята замыслили другое. Вечером того же дня повариха обнаружила в кармане своего ватника пухлый конверт. Дрожащими руками она взяла его, думая, что это положил ей кто-нибудь письмо с фронта от мужа. Но в конверте были деньги и записка: «Дорогая тетя Стеша, спасибо вам за вкусную пищу. Просим принять скромный подарок. Не старайтесь узнать, кто мы, — все равно не узнаете. Скажем только, что мы — ваши повседневные кашееды».

«Кашееды», — усмехнулась повариха, смахивая слезу и пересчитывая деньги, которых было в пять раз больше ее месячной зарплаты. — Кто же они, эти кашееды? Видно, постеснялись, а то и побоялись в руки конверт дать».

Она сама знала свой крутой характер. Может, кого в сердцах и черпаком стукнула.

С того вечера повариха стала добрее ко всем воспитанникам: поди разбери, кто из них «тот кашеед»!

А нельзя обидеть никого из тех, кто свои трудовые рубрики вложил в конверт.

В сенях поварахи появились аккуратно сложенные дрова, и на верхнем полене красным карандашом было выведено: «Тете Стеше от кашеедов».

Воспитанники-малыши, дети фронтовиков, в спальнях под своими подушками стали находить карандаши, краски, блокноты для рисования, книги, конфеты и записочки: «От твоих старших однокашников» или: «От деда Макара».

Ребятишки радовались подаркам и гадали, кто эти таинственные деды Макары и однокашники.

Среди воспитателей начались разговоры. Некоторым не нравилась эта тайная работа, но выдавший виды Кравчук твердил:

— Добро как ни посеешь, — оно стократ уродится.

Он догадывался, кто эти однокашники и кашееды. Как-то он спросил Матросова:

— Кажется, ты собирался на премию справить костюм? Когда же пойдем в магазин?

— Э, не хватило денег! — смутился Александр. — Надо заработать больше.

Кравчук усмехнулся лукаво:

— Не пойму, — зачем эта тайна? Без нее разве нельзя?

— Нельзя, Трофим Денисович, — убежденно сказал Матросов. — Люди наши больно гордые. К примеру, та же тетя Стеша разве примет помощь от меня или от Тимошки? Обидится да еще черпаком огреет. А от организации примет.

— Организация! — засмеялся Кравчук. — Кашееды...

В колонию пришла телеграмма, в которой говорилось, что фронту срочно нужны боеприпасы, а отгрузка их задерживается: не хватает ящиков.

В колонии всех охватила тревога; на фабрике выросла гора ящиков, но вывезти их невозможно, — осенние дожди размыли дорогу.

Долго этот вопрос обсуждался на собрании.

Мастер Сергей Львович развел руками:

— Ни машина, ни телега не пройдет по этим ухабам.

Есть только один выход из трудного положения — носить ящики до шоссеиной дороги.

— Что мы, ишаки, что ли? — вызывающе крикнул Клыков.

Собрание зашумело: одни зашикали на Клыкова, другие стали защищать его.

Матросов был в задних рядах. Чтобы увидеть стол президиума, он приподнимался на цыпочки. И будто на него одного в упор смотрели с плаката зоркие глаза того бойца-фронтовика, что спрашивал: «Что ты сделал для фронта?» В этом взгляде Александру почудилась укоризна, его охватило беспокойство. Как может Клыков отказываться от работы? Почему он прекословит старому, всеми уважаемому мастеру и сбивает других с толку?

Не в силах больше молчать, Матросов протиснулся вперед, попросил у председателя слова.

— Дело, товарищи, ясное. Продукция наша нужна фронту. Верно сказал Сергей Львович, — надо носить ящики до шоссеи, а оттуда их повезут на грузовиках.

Некоторые воспитанники переглянулись с Клыковым и засмеялись: предложение казалось им несбыточным, — от фабрики до шоссеиной дороги было больше километра. Клыков опять крикнул:

— Машину и лошадку Сашка заменит! Пушай!

Матросов любил шутку, но теперь брови его сурово сдвинулись; маленький, в стеганом ватнике, он решительно шагнул вперед.

— Да, машина не может, лошадь не может, а мы сможем! На фронте враг лезет. Наши пушки снарядов ждут, а их нельзя переправить без наших ящиков. Подумали про это? А слабосильные пусть отдыхают и сладенькой кашкой питаются, — презрительно взглянул Александр на Клыкова. — Без них справимся!

Все засмеялись.

— Трудно по лужам и грязи носить ящики, да бойцам на фронте куда трудней, — заключил Александр.

— Правильно! Верно! — раздались голоса.

Друзья поддержали Матросова. Предложение его приняли, и на другой день после работы на фабрике воспитанники по лужам и рытвинам понесли на плечах ящики к дороге. Впереди всех шагал Матросов. Трудно было ему с непривычки нести первый ящик. Угол желез-



ной обивки врезался в плечо. Ноги хлюпали в воде и увязали в размокшем глинистом грунте. Хотелось спустить с плеч хоть на минуту этот проклятый ящик. Но только попробуй это сделать, пожалуйста, что тебе тяжело, как Клыков тут же станет издеваться: сам агитировал и первый захныкал. Да, собственно, и другим было не легче.

Но вечером, когда несли последние ящики, забрызганные грязью, еле переставляющий от усталости ноги Матросов заодно крикнул отстающим:

— Эй, братва, подтяни-ись! Орлы мы или чижики? — и улыбнулся Кравчуку и товарищам: — А все-таки ух, как здорово получается, когда в общем деле все дружно участвуют и стараются один перед другим!

— На том стоим, Сашук, — ответил воспитатель. — В единении сила и дружба! — И подумал о том, как изменился Матросов.

Саша учился всему у старших, перенимал их сноровку. А ему подражали товарищи. Им нравились его прямота, смелость, умение и ловкость в работе. Люди любят смельчаков-умельцев. Но кто скажет, что эти качества приобретены им не здесь — в колонийской семье?

Вот и Виктор Чайка доволен им.

— Он у нас, Трофим Денисович, и на работе первый, и товарищ верный, и всегда верх возьмет если не силой, так умом и ловкостью. Верно я, хлопцы, говорю?

— Верно, — согласились ребята.

— Хватит тебе, Витька, расписывать меня, — обиделся Александр. — Слушать противно! Вон сам ты, хитрюга, уже делаешь измерительные инструменты — кронциркули, угольники, нутромеры, мастером опиловки плоскостей и фигурных поверхностей считают тебя. А по чертежам работает все-таки лучше всех нас Гошка Брызгин. Скажете, — нет? Ну то-то ж... А ты про меня... А я только и умею, что полегче да попроще. Драчевым напильником и зубилом еле-еле орудую...

— Ну, про себя ты, Сашка, тоже неверно...

Вечером, когда ребята, до предела усталые, но довольные, пришли ужинать, всеведущий Тимошка по секрету на ухо сообщил Сашке, что добавку сахара, которую начальник разрешил выдать ребятам по случаю исключительно тяжелой работы, Клыков у тети Стеши украл.

Матросов пришел в ярость:

— Ну и ворюга! Бессовестный ворюга! У кого украл! Люди стараются для фронта, а этот волк — для своего брюха. Нет, горбатого только могила выправит... И чего ты, Тимошка, шепчешься? Какой тут может быть секрет? Надо, чтобы об этом все знали. Надо решать, что нам с Клыковым делать. Что с ним делать?..

Глава XIX

ПРОЩАЙ, ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК!

И адвигалась первая военная зима, лютуя вьюгами и морозами. С фронтов доходили грозные вести: гитлеровцы подошли к Москве, блокировали Ленинград, осаждают Севастополь.

По вечерам Матросов и его дружки подолгу засиживались в ленинской комнате. В обледенные окна вьюга швыряла жесткую снежную крупу, завывая в водосточных трубах. Поеживаясь от холода, ребята с тревогой читали сводки Совинформбюро, обсуждали фронтовые события. Матросову многое было непонятным. Ну почему, к примеру, подпустили фашистов к Москве? Теперь он чаще обычного забрасывал Кравчука разными вопросами.

Воспитателю все труднее было отвечать на них: вопросы Александра становились все серьезнее. Порой Кравчук не знал, что и сказать, как ответить; он рылся в книгах, чтобы удовлетворить любознательность Матросова, которую сам же пробудил.

Как-то Матросов пришел к Кравчуку и с обычной доверчивостью начал свои расспросы.

— Последний разок побеседуем с тобой, Саша, — начал было Кравчук и вдруг спохватился: — Да что ж это я, совсем забыл! Знаешь новость о себе?

— Нет, — насторожился Матросов. — Случилось что?..

— Пойдем со мной, — оживился Кравчук. — Пойдем

сию минуту. Это, брат, наш с тобой праздник. Да еще какой!

Он подвел Матросова к Доске почета. На ней среди фамилий лучших стахановцев, только что написанных еще не высохшей белой краской, Александр прочитал: «Матросов Александр Матвеевич — 300 %».

— Видал, Сашок? Триста процентов нормы выработки по металлу!

Он обнял и расцеловал Матросова.

— Молодец! Оправдал мое... это... как бы сказать... — Глаза его стали влажными.

Кравчуку не привелось иметь свою семью, своего сына. Его лучший друг, с которым они оба дали торжественное обещание воспитывать таких же, какими они были сами, — Галина Васильевна, Ганнуся, — заканчивала учебу в педагогическом институте (впрочем, кому до этого дело?..). Но чем же не сын ему Саша Матросов?

Разве не бывает так, что воспитатель становится роднее родителя? Кто же не знает, что хорошего учителя люди вспоминают благодарным словом всю свою жизнь!

— Вы поставили меня на ноги, Трофим Денисович, — тихо сказал Матросов.

— Если бы не военное время, — сказал Кравчук, — мы отпраздновали бы торжественно твою победу — в клубе, всем коллективом. А то, брат, теперь не до этого! — И озабоченно вздохнул: — И мне надо торопиться...

— А вы куда?

— Сегодня отправляюсь в военкомат, потом — на фронт.

— Вы? На фронт? — вскрикнул Матросов. И что за человек этот Кравчук! Минуту назад радовался успеху своего воспитанника и скрывал, что сам уходит на фронт, что расстанутся они, может, навсегда.

Кравчук увидел в глазах своего ученика такую тревогу, что ему захотелось объяснить свой поступок:

— Видишь ли, Саша, мне кажется, что в такое время каждый честный человек должен отдать Родине все, что имеет. А я, кроме самого себя, ничего не имею. Вот и иду добровольцем на фронт.

Матросов задумался. Добровольцем? Что ж, Трофим Денисович так и должен поступить: слово воспитателя

не может расходиться с делом. Но как жаль расставаться с этим душевным человеком, который стал роднее отца!

— Возьмите меня с собой, — тихо, но требовательно попросил Александр. — Возьмите, Трофим Денисович.

— Нет, не имею права, — твердо сказал Кравчук.

— Но верьте совести, Трофим Денисович, мне в горло кусок не лезет! Я спать по ночам не могу, когда узнаю, что фашисты занимают наши города. Как я ни стараюсь работать, — вижу, что все равно этого мало. Возьмите с собою, возьмите!

— Нельзя, — понял? — ответил Кравчук, дивясь на стойчивости своего воспитанника. Кто мог подумать, что в этом, с виду беззаботном и веселом, пареньке таится такое беспокойство!

— Твоя пора еще не пришла. Здесь ты должен работать аттестат зрелости. Понятно? Теперь во всем тебе будет помогать новый наш воспитатель, Четвертов. Ну, я спешу. — И порывисто обнял его. — Надеюсь на тебя, Сашок. Прощай...

— Прощайте, Трофим Денисович... — Голос Александра дрогнул. — Верьте совести, стыдно за меня вам не будет. И напоследок скажу еще: если бы вы тогда, в изоляторе, не поговорили со мной, не поверили в меня, я непременно убежал бы. Что ж бы тогда со мной стало?.. Никогда я вас не забуду, никогда...

— При чем тут я? — возразил Кравчук. — В нашей стране человеку пропасть невозможно. Это за рубежом такие оборвыши, каким был ты, гибнут от голода или томятся в тюрьмах. А у нас дорога перед тобой широка, только сам с нее не сворачивай.

Кравчук отправлялся в город в рабочее время. Он, видно, сам пожелал уехать незаметно, чтобы проводами своими не отвлекать людей от дела. Но Матросов из цеха видел, как Трофим Денисович, в колонийской шинельке, с вещевым заплечным мешком, влезал в кузов попутного грузовичка. В тощем своем мешочке воспитатель увозил на фронт все свое убогое имущество, какое имел на этой планете.

Прощай, прощай, дорогой человек!

Глава XX

УЧИТЕЛЬНИЦА ЛИДИЯ ВЛАСЬЕВНА

Матросов тосковал по Кравчуку. Вспоминалось все, связанное с ним. Хотелось во всем быть похожим на Трофима Денисовича. На политических, когда Лидия Власьевна рассказывала о героях войны, Александр думал о Кравчуке и просил учительницу рассказывать еще и еще.

Как-то Лидия Власьевна, идя из библиотеки, встрети-лась с ним во дворе.

— Саша, ты любишь слушать о героизме наших воинов. Попробуй сделать альбом героев войны. Сам их узнаешь хорошо и другим ребятам будешь рассказывать. Их ведь много... героев... — И вдруг Лидия Власьевна всхлипнула, отвернулась, махнула рукой. — После погово-рим... — И быстро пошла по двору.

Александр удивленно посмотрел ей вслед. Обиделась, что ли? Иные ребята считали ее строгой, жаловались, что она будто занижает оценки. И Александр замечал, что Лидия Власьевна в последнее время стала сурова и скупа на ласковое слово. «Стала какая-то нелюди-мая», — заключил он. Но тут же заметил, что Лидия Власьевна, еще не очень пожилая женщина, идет и спотыкается, как старушка.

Матросов спрашивал товарищей, что с ней. Никто ничего не знал. Может, заболела? Но говорили, что она стала еще больше работать. Да он и сам видел, как она помогала грузить снарядные ящики, подносить лесо-

материал. А по ночам долго-долго мерцал тусклый огонек в ее обледенелом окне: она сидела, склонившись над тетрадами учеников, над учебниками, потом вязала варежки для фронтовиков.

Вскоре был урок русского языка. Лидия Власьевна заменяла больную учительницу. Александр внимательно смотрел на нее. Правда, лицо ее осунулось, но ничего особенного не заметно. Кто же не похудел во время войны? Только вот веко левого глаза у нее чуть припухло и нервно подергивается.

Лидия Власьевна ходила по классу и диктовала: «Мужественный человек не гнется ни перед какой... бедой»... — Матросов хотел вспомнить правило: в каких случаях надо писать «не» или «ни», но Лидия Власьевна перед словом «бедой» опять всхлипнула, как тогда, во дворе, и он ясно увидел, как она на миг зажмурилась, и крупная слеза, блеснув на лету, упала на раскрытый учебник. Лидия Власьевна быстро его закрыла и стала пристально смотреть в окно, хотя за окном ничего не было.

Александр был потрясен: ему казалось невероятным, что эта суровая с виду учительница плачет при всех. Что же с ней?

Но вот Лидия Власьевна повернулась, и, как ни в чем не бывало, спросила:

— Ну, написали?.. «ни перед какой бедой»... — И продолжала диктовать по-прежнему четко и твердо.

Александр не мог успокоиться, пока не узнал причину странного поведения учительницы: воспитатель Четвертов сказал ему по секрету, что вот уже второй месяц, как Лидия Власьевна получила с фронта извещение, что ее единственный сын Владимир погиб в бою.

— Только не любит она разных сетований, соболезнований, — предупредил Четвертов, — потому и не говорит людям о своей горе. А зачем говорить? Всем теперь трудно живется. Жаловаться — значит, еще больше людей расстраивать...

Матросов и его друзья немало дивились выдержке и стойкости Лидии Власьевны. Она учит ребят быть бесстрашными и мужественными, а у самой такая беда.

— И за работу всякую берется, чтобы забыться, — говорил Матросов. — Вот это — человек!.. Ребята, а какие письма, какие замечательные письма она получает!..

Да, воспитанники знали, что Лидия Власьевна получает от своих учеников письма со всех концов страны. Ее бывшие ученики стали инженерами, сталеварами, врачами, знатными производственниками, учеными, членами правительства. На всю жизнь запомнили эти люди свою учительницу, ее добрые слова. Ее ученики уже имеют десятки и сотни своих учеников — строителей новой жизни. Круг их ширится. Тысячекратный урожай приносит самоотверженный труд учительницы, а она, незаметная, простая и скромная, по-прежнему отдает людям всю силу своей души.

— Вот что, ребята, — заявил Александр товарищам. — Надо что-то сделать. Раз она не хочет, мы и прикинемся, будто ничего не знаем, а сами будем делать так, чтоб ей легче жилось. Всем лучше учиться — это первое! Что еще?

И тут же стали предлагать: не сердить ее, помогать отстающим ученикам, не шуметь на уроках...

Со следующего дня в классе пошла незаметная для непосвященных упорная работа. Разве что какой-нибудь не в меру шумливый ученик получал от своего же соседа щелчок или подзатыльник, а то во всем был отменный порядок. Теперь уже сама Лидия Власьевна замечала перемену к лучшему и в учебе и в поведении ребят. Она радовалась, ища разгадки. Может, она долго бы искала причину этого странного превращения, если бы ей довольно таки неуклюже не подсунули конверт с деньгами. Тогда она, уже не в силах сдержать волнения, заявила всему классу:

— Милые ребята, я получила из полка, где служил мой сын, сразу шесть денежных аттестатов. И приславшие их друзья сына просили меня считать их своими сыновьями и рассчитывать на их постоянную помощь... Нет, мне их деньги, как и ваши, не нужны. Пока сама зарабатываю, да и государство помогает... Но какие вы все...

Воспитанники поняли Лидию Власьевну. Выражая их чувства, Матросов крикнул:

— Мы ваши ученики!

Все захлопали в ладоши, а Лидия Власьевна смотрела на них заблестевшими от слез глазами и улыбалась.

Глава XXI

ДРУЖБА

Ночь. За окном в черной темени воет вьюга. Кажется, что в спальне все воспитанники крепко спят. Но если вслушаться, можно различить еле уловимый шепот. Это друзья — Брызгин, Еремин, Чайка и Тимошка Щукин — ждут Сашку. Он всегда расскажет что-нибудь новое, интересное. Известно, где задержался он, неугомонный. Каждую свободную минуту уделяет альбому героев войны. Даже по ночам при тусклом свете коптилки все сидит над альбомом: листает газеты и журналы, вырезывает портреты и очерки, подклеивает их.

Вот, наконец, он на ощупь пробирается по темной комнате к своей койке.

— Мы тебя ждем, братишка, так ждем! — шепчет Тимошка.

— Иди сюда, в серединку, — зовет Еремин.

— Ребята, а давайте сдвинем койки — ближе будем, — предлагает Чайка.

— Ну что вы! А если зайдет кто... Ведь не положено, — возражает Брызгин.

— Да кто там зайдет? — говорит Тимошка. — Все спят, как куры. — И ему не терпится скорее похвастаться. — Саша, я сегодня сам уже сделал нутромер. Честное слово, сам... Сюда, сюда иди...

Койки все-таки сдвигают, правда, тихо, со всеми предосторожностями. Хорошо друзьям! Еремин, или, как

его дружки звали, — Еремка, хоть и плутоват, зато какой затейник и говорун! Никто лучше его не расскажет про капитана Немо, Уленшпигеля, про Гарибальди и матроса Кошку. Александру нравилось, что у Еремки победителями всегда оставались смелые, ловкие, умные, а глупцы, лентяи, растяпы высмеивались.

А про Виктора Чайку что и говорить! Сколько раз Саша заслушивался его чудесной игрой на баяне и задушевыми песнями! Он и Матросова подучил немного играть на баяне.

Тут и Брызгин, умелый рисовальщик. Хочет стать вторым Репиным, Александр и прозвал его — Нерепин. Труднее, чем с другими ребятами, шло сближение с заносчивым Брызгиным. Но и тот понял, что Матросов бесхитростно и щедро проявляет к людям добрые чувства. Нет, Александр не заискивал, не угождал с корыстной целью. Рано осиротев и натерпевшись бед, он научился ценить заботу о нем, добрые чувства, проявленные к нему людьми, сам теперь льнул к людям и в сто-крат более был к ним чуток.

Александр быстро разделся и лег.

— Ну, говори, — торопит его Тимошка.

— Про Игарку слыхал?

— Это девочка? — не понимает Шукин.

— Ну, какой ты, Тимоня... Это новый город за Полярным кругом, — говорит Александр. — Вот где мы с тобой еще не бывали! Удивительные места: вечная, понимаешь, мерзлота. Даже летом только на метр земля прогревается, но и там уже поспевают яблоки, ягоды... Мичуринцы и там работают... Здорово? А?

— Эх, вот и махануть бы туда!

Ребята терпеливо молчат, понимая, что главный разговор — впереди.

— А что такое Хара-Хото? — спрашивает Тимошка.

— Мертвый город.

— Расскажи.

— Да ведь говорили же.

— Ну тогда — что такое чудесная Лхаса?

— Сердце Тибета.

— Эх, вот куда бы махнуть, хлопцы!

Александр решительно возражает:

— Ну что ты, Тимошка! Не интересно бродить по свету, как бездомная собака. Хорошо путешествовать,

как Пржевальский, Козлов, Миклухо-Маклай: быть участником научных экспедиций. Тут польза и народу и себе.

— Ну, хватит тебе, дите малое, — недовольно говорит Тимошке Брызгин. — Не ты один тут. Надо менять пластинку.

Матросов рассказывает о том, что записал сегодня в свой синий блокнот.

— Понимаете, какой это человек? Сидел в каземате в Петропавловской крепости и, может, казни ждал, а писал книгу «Дети солнца»: звал людей от дикой жизни — к правде, к революции.

— Кто? Кто? — спрашивает Еремин.

— Да Горький. В Трубецком бастионе. И Чернышевский в той крепости книгу писал «Что делать?» А Ленин в шалаше около Сестрорецка писал книгу про то, как советское государство создать, когда кругом шпики искали его. Буржуи, видишь, убить его хотели...

— Люблю про таких людей слушать, — говорит Еремин. — Вот и капитан Боско про такого революционера сказал: «Жизнь его угаснет, но огонь, который он зажег в сердцах людей, не угаснет никогда...»

С минуту все молчат. Над крышей, гремя железом, гудит вьюга. От ее ударов звенят и стонут заиндевелые оконные стекла, еще приметные в темноте по голубоватым лунным отсветам.

— Ну, говорите еще! — просит Тимошка.

— Про комсомолку Лизу Чайкину в газете прочитал, — волнуясь, говорит Александр. — Вот девушка! В тылу у немцев ходила по деревням, доклад Сталина о годовщине Октябрьской революции читала, звала в партизаны. Шестнадцать деревень прошла. А когда попала в лапы эсэсовцев, то, сколько ее ни мучили, — ничего врагам не сказала.

— Вот это комсомолка настоящая, — говорит Брызгин. — Но как же она попала к фашистам?

Матросов рассказывает о Лизе Чайкиной, о последних сводках Совинформбюро. Взрослые почему-то всегда оберегают ребят, не всё говорят им. А им все хочется знать и чувствовать. И нередко фронтовые грозные вести сдавливают им дыхание, обжигают сердца. Да, трудны дела на фронте.

— Вот они говорят все — и Лидия Власьевна и Сер-

гей Львович: «Больше выдержки, больше спокойствия», — горячится Матросов. — А как же можно быть спокойным, когда фашисты занимают наши города и села, убивают, вешают, живьем сжигают или закапывают советских людей?..

Ребята молчат, слушают.

— Помните, читали по истории... О жестокости разных там завоевателей. Так эти же цивилизованные зверюги-фашисты своими «фабриками смерти» в тысячу раз превосходили жестокость Сарданапала, Тамерлана и адские пытки средневековой инквизиции.

Снова тишина. Только вьюга по-волчьи злобно завывает за окном, точно грозясь молодому золотоголовому месяцу, чуть выглянувшему из-за черной толщи туч.

Виктор Чайка, вздохнув, по праву старшего рассудительно разъясняет Матросову:

— И все-таки, Сашка, Лидия Власьевна и Сергей Львович правы насчет выдержки. Конечно, на войне и сила нужна, и оружие, и все такое, но выдержка — главное, по-моему... Вот смотрели мы позавчера кинокартину про Чапаева. Встретились Фрунзе и Чапаев. Фрунзе и спрашивает: скажи, мол, Василий Иванович, по душам, — побьем ли мы белых? Задумался Чапай. Трудно побить беляков: у них ученые генералы, им помогают четырнадцать капиталистических государств... Подумал Чапай и твердо ответил: «Побьем беляков, Михаил Васильевич. Мы — народ, мы — сила, нас никакими страхами не застрашаешь...»

— Это верно, верно, — соглашаются ребята.

Все оживляются. Каждому хочется сказать что-нибудь интересное из того, что за последние дни узнал из книг и газет.

— А помните, ребята, что старый Тарас Бульба сказал? — спрашивает Тимошка (пусть не думают, что он еще несмысленши!) — «Нету такой силы, которая бы русскую силу пересилила...»

— Да! Какие люди были! — говорит Еремин. — А вот, к примеру, Котовский, Щорс, Дундич — смелые, храбрые...

— Говоришь, Еремка, «были»? А теперь разве мало таких? — говорит Матросов. — А вот наш летчик комсомолец Виктор Талалихин пошел на таран фашистского самолета! Это ж какой героизм! Главное — знал, что сам

погибнет, если пойдет на таран, — и пошел... А еще... Помните, в газете писали про партизанку Таню, которую повесили фашисты в селе Петрищеве? Это московская школьница Зоя. А Таней назвалась потому, что в гражданскую войну была такая героиня — Татьяна Соломаха. Белые как ни мучили ее, но товарищей своих она не выдала. Вот и Зоя все пытки вынесла, на виселицу пошла, но ничего врагам не сказала.

Тимошка шумно вздыхает:

— И я ничего не сказал бы фашистам.

Александр строго замечает:

— Ты, Тимошка, такие слова на ветер не бросай. Дело серьезное. Дал обещание — выполни.

— А я не выполняю? Да? — обиделся Тимошка. — Вот сделал же я сам нутромер! Обещал освоить — и освоил. И личным напильником такой блеск навел — ну, просто сияет...

— Сравнил тоже — нутромер и война, — снисходительно усмехается Брызгин.

— Да я во всем слово сдержу. Ты мне все не веришь, да? — допытывается Тимошка. — Я, может, и смешной с виду... Клыков не дает мне проходу и завсегда дурачит меня, потому что...

— Он же друг твой.

— Сказал тоже. Клыков такой же мне друг, как сиамский король тебе брат. Есть у меня настоящий друг, да не он.

— Опять сцепились петухи, — недовольно замечает Чайка. — Разговор серьезный, а вы все о пустяках...

— Дружба, по-твоему, пустяки, да? — обижается Тимошка. — Саша, скажи ему — пустяки, да?

Матросов вздыхает, думая о своем:

— Лежим вот, лежим на чистых простынках, а девушки воют. Эх, стыдно-то как, хлопцы!..

— Конечно, стыдно, — говорит Еремин. — И на фронт не берут...

— Ты, Тимошка, зря горячишься, — говорит Матросов. — Виктор и сам знает, дружба — это великое дело. Вот и нам надо крепко дружить!

— Верно! — подхватил Тимошка. — Во всем помогать друг другу.

— Ну, а ты как понимаешь дружбу? — обратился Виктор Чайка к Александру.

— Как я понимаю? Дружить — это, по-моему, жизни своей не пожалеть для друга, говорить ему правду в глаза, слов на ветер не пускать, обещания выполнять. И чтобы слово не расходилось с делом. Понятно? Дружить — это значит самому становиться лучше, чтобы друзья мои гордились мною.

— Много на себя берешь, — усомнился Брызгин.

— Нет, не много, — сказал Виктор. — Именно так и надо дружить, как Саша говорит.

— Одобряете, да? — голос Александра дрогнул.

— Хлопцы мои, вот и будем так жить и дружить, хотите?

— Ясное дело — хотим, — отвечают ребята.

— И держаться один за всех, все за одного, — предложил Чайка.

— Правильно. И говорить всю правду в глаза, — добавил Брызгин.

— Согласны.

Александр взволнованно продолжает:

— А еще дед Макар хорошо сказал, — жить надо так, чтобы людям легче было, оттого, что ты живешь. Здорова? И если придется, будем такими же, такими смелыми, как Лиза Чайкина, как Зоя...

— Обещаю, — горячится Тимошка.

— Обещаем, — отвечают ребята тихо, но твердо, как клятву.

— Теперь нам, братки, во всем будет легче, во всем...

Но есть еще что-то нерешенное, и это беспокоит Александра.

— Ребята, а что, если принять и Клыкова в нашу компанию? Он же одинокий, как барсук в норе своей! Он и бесится оттого, что один и все от него отворачиваются.

— Что ты! — возражает Тимошка. — Уж больно ты подобрел ко всем. А ты забыл, как мы воевали с ним? Да граф Скуловорот — это самый ржавый осколок старого мира! Все ходит с кулаками и грозит всем, что он силач — один против всех. Да на что он тебе сдался?

— Но ведь он же какой ни есть, а нашего поля ягода. А может, и из него выйдет толк. Нет, надо обязательно что-то придумать! — настаивает Александр.

— Верно говорит Саша, верно, — поддерживают его Еремин и Чайка.

— Ну, а если пакостить будет, — сообща отколотим его, а? — шутит Матросов.

Уже за полночь. Александр спохватывается:

— Да что ж это мы, братки? Спать пора.

И когда все уже спят, он слушает ночную тишь.

Сонный Тимошка что-то забормотал и сбросил одеяло. Может, и во сне воюет он с Клыковым.

Александр тихо поднялся и бережно укрыл его.

Тихо-тихо, только выюга гудит за окном.

Глава XXII

СРЫВ

Отбуживала лютая зима. Тихий и теплый апрельский ветер несет первые тонкие запахи весны, разбухающих древесных почек, прелой листвы. Овраги и пади еще завалены снегом, но на солнечном пригреве уже рокотали ручьи, а на проталинах зеленела первая трава.

Хмурый Александр шел по огромному колонийскому двору и мял пальцами пахучую липкую тополевою почку. В эту пору первого пробуждения природы у него всегда было хорошее настроение, как ни старался он подавить его в суровое военное время. Особенно в эту весну с каждым днем он все больше ощущал, как мышцы наливаются молодой здоровой силой. Главные житейские трудности, казалось, — позади, жизнь его в основном устроена. Но сегодня хорошее настроение испорчено.

На днях в колонию прибыли дети из осажденного Ленинграда. Пока дети проходили карантин, их держали в особом корпусе.

В колонии не хватало воспитателей. Матр. сова назначили помощником воспитателя к ленинградским детям.

— Нашли ж кого назначить, Семен Борисович! — с отчаянием пожаловался он Четвертову, которому теперь, после ухода Кравчука на фронт, старался во всем подражать. — Сам я еще на обе ноги хромаю.

— Ничего. Поможем. Поработай там. Так надо!

— Надо, надо, а не хочется...

Он пришел к новым колонистам злой, сразу же нашел у девочек непорядки и накричал на них:

— Почему одежда на койках разбросана? Почему на полу мусор? Почему не причесаны?

К нему подошла светловолосая девушка в белом халате и строго сказала:

— Не кричите на них. Они из самого пекла. Обещаю, мы наведем порядок. — И добавила, насмешливо смерив его взглядом: — Такой молодой начальник, а сердитый.

Александр по-своему понял новые обязанности. До сих пор он только повиновался другим, теперь же, когда ему дана власть, он думал, что его должны беспрекословно слушаться.

— Я пришел сюда не нюни разводить с разными девчонками, — понятно? — повысил он голос.

Насмешливый взгляд этой девчонки возмутил Александра. Видно, она ни в грош не ставила его как воспитателя. Он придумывал самые веские и едкие слова, чтоб внушить ей уважение к себе, но, пока он собирался с мыслями, девушка спокойно заговорила:

— «С разными девчонками»? Нет, мы не разные девчонки. Мы — ленинградки. И как бы вы ни кричали, мне ни чуточки не страшно!

Александр показалось, что она нарочно злит его. Он хотел резко оборвать девушку, но она продолжала:

— Да, не страшно, только смешно, если хотите знать. Мне страшно было, когда первый раз тушила бомбы-«зажигалки». Бывало, ночью упадет на дом такая бомба, крышу пробьет — и на чердаке во все стороны летят брызги горящего термита. Подойти к бомбе страшно, и медлить нельзя ни секунды: дом загорится, а в доме — сотни людей. Вот видите, — она закатала рукава халата. Рука ее была в шрамиках, будто ее хищная птица клевала. — Это ожоги. А потом привыкла, тушила и не боялась. К вам мы ехали, как к родным, а вы тут накидываетесь...

Матросов растерянно посмотрел на девушку, не зная, что сказать.

— Ладно, наводите тут порядок, — наконец глухо проговорил он и ушел, красный от стыда.

При встрече с Чайкой Александр рассказал ему о ссоре с ленинградкой.

— Возмутительно! Понимаешь, я ей дело говорю, а она мне — хиханьки... Я ее и оборвал. «Не нюни, говорю, пришел разводить...»

— Да, трудно будет тебе сработаться с ней, — сказал Виктор, — если при первой же встрече поссорились... Ну, шут с ней, дальше видно будет... Ты уже изучил гамму на клавишах баяна?

— Кажется, изучил. Уже простенькие мелодии подбираю... Главное, еще ершится, говорит: ничутьючки не страшно от моих слов...

— Ты про что?

— Ну, про эту самую... Я их, вертихвосток, вообще терпеть не могу, а тут еще работать с ней...

— А-а, ты все о том же! — засмеялся Виктор. — Значит, ясно: с первого взгляда любовь не получилась — и никогда уже не полюбишь такую.

— Конечно же нет, — убежденно сказал Александр.

— Ладно. Нечего попусту время терять. Я вот хотел тебе сказать: если всерьез хочешь научиться играть на баяне и петь, то ноты знать надо хорошо. Вот вечером возьмемся за бемоли, диезы, потом за ключи — мажорный, минорный...

— Еще бы, конечно надо! Без музыки и пения никак не могу. Да еще, понимаешь, насмехается. Говорит: «Такой молодой начальник, а сердитый».

— Смотри ж ты, как она тебя за живое задела, — смеясь, удивился Виктор.

— Нет, не буду с ней работать! Не буду.

Лидия Власьевна, узнав, как неприязненно Александр говорил с девушкой, сухо спросила:

— Зачем ты грубил ей?

— А что с этой девчонкой — нежности разводить?

Учительница, как всегда, тихо, но сурово сказала:

— Запомни: этих детей города-героя мы должны окружить заботой и лаской, заменить им отцов и матерей, братьев и сестер. Мне, конечно, совестно уже воспитывать тебя, воспитателя, но вспомни: разве я с тобой когда-нибудь так грубо обращалась, как ты с девочками?

Александр, смущенно опустив глаза, стал поправлять поясной ремешок. Верно: никто из учителей на него не кричал — ни Лидия Власьевна, ни Трофим Денисович, ни Сергей Львович. Помрачнев, он с отчаянием махнул рукой:

— Я знал, Лидия Власьевна, что не гожусь на это дело. Ну какой я воспитатель? Курам на смех. Не буду, не хочу!

— Постой, не горячись, — сказала учительница. — Давай-ка присядем тут, обсудим.

Они сели на скамейку в скверике под молодым тополком.

— Говоришь — «Не буду, не хочу», — продолжала Лидия Власьевна. — Но ты не имеешь права отступать перед трудностями. Да и вопрос уже решен: раз доверили тебе это ответственное дело, — значит, надеются, что ты справишься! Теперь надо думать о том, как лучше оправдать доверие. А срыв у тебя произошел, по-моему, вот отчего: когда человек получает власть над другими и еще не осознает своей ответственности, эта власть кружит ему голову, и он с высокомерием относится к подчиненным. А надо помнить: чем выше начальник, тем больше он на виду. Вот и ты, наверное, серьезно не подумал, как себя вести в роли воспитателя, а просто возомнил о себе. Верно?

— Верно, — сознался Матросов, краснея.

— Да, Саша, — по-матерински напутствовала Лидия Власьевна, — воспитателю особенно надо быть сдержанным, тактичным в обращении с людьми. У нас так и говорят: воспитатель, будь сам воспитан. Надо продумать и взвешивать каждое слово, прежде чем сказать его. Человека нужно уважать и верить ему.

Они долго еще говорили.

На другой день Александр снова пошел к девочкам. Было все-таки приятно сознавать, что он — начальник. Обычно по двору он бежал, подпрыгивая от избытка зазорной силы. И теперь ему по привычке захотелось пробежаться во весь дух, но он сдержался и пошел степенно, важно: неприлично начальнику бегать.

Светловолосая девушка встретила его на крыльце и, улыбнувшись, сказала:

— Посмотрите. У нас полный порядок.

Дети окружили их.

— Вы кто тут? — спросил он девушку.

Малыши зашумели, прижимаясь к ней:

— Это наша сестричка!

— Мама наша!

— Из Ленинграда нас вывезла.

Александр, взглядывая то на девушку, то на детей, спросил:

— А сколько же этой маме лет?

— Семнадцать, — улыбнулась девушка и уточнила: — без девяти месяцев семнадцать.

— О, я старше, — засмеялся он. — Мне только без семи месяцев восемнадцать. А звать как?

— Лина, — смутясь, ответила она. — Санитарка и медсестра — словом, все делаю.

— Лина? — переспросил Александр. — Я о вас слышал.

— И я знаю о вас.

Это о ней говорили воспитатели: «Если бы не было с ленинградскими детьми Лины, половина их, может быть, и не доехала бы до Уфы». Она в дороге ухаживала за ними, была медсестрой, прачкой и швеей, добывала продукты.

«Только почему ее называют девочкой? — подумал Александр. — Она уже совсем взрослая».

— А вы откуда обо мне знаете? — спросил он.

— Как же, на Доске почета... Ваша фамилия среди лучших стахановцев.

Он пристально посмотрел на нее: «Дошлая, до всего ей дело».

— Что так смотрите? — спросила Лина, слегка прищурив глаза, и детски-простодушное выражение их стало насмешливым. — Говорят, вы, товарищ воспитатель, забияка-драчун! Это правда?

— Кто такое говорит? — сразу помрачнел Александр.

— Ну, этот... силач ваш. Он не назвал своей фамилии. Сказал только, что она на Доске почета выше вашей.

Александр сразу догадался, о ком она говорит. У него по привычке сжались кулаки, но он сдержался и смолчал.

Лина почувствовала что-то неладное и сама нахмурилась.

— А ну, ребята, марш по местам! Каждому встать у своей койки. Смотри сейчас будет.

Дети разбежались. Александр и Лина осмотрели помещение. Лина ни разу не возразила в ответ на его сдержанные замечания. Потом проводила его к выходу и на крылечке заговорила:

— Вот и вся моя родня — эти братишки и сестренки. Знали бы вы, что́ они терпели в Ленинграде под бомбежками и обстрелами, вы бы на них не кричали, — вздохнула она. — Родители их погибли — кто на заводе у станка, кто на строительстве дзотов. — Девушка вдруг отвернулась, видимо, вспомнив что-то тяжелое. Помолчав, продолжала: — У многих из этих детей родители живы, да и те на фронте. — И опять улыбнулась, блеснув влажными глазами. — Так-то, Сашенька, надо быть чутким.

«Сашенька?» — удивился Матросов. Ему показалось странным, когда она назвала его на «вы», а теперь он не знал — возмущаться ли ее фамильярностью или благодарить за ласковое слово. Он пристально посмотрел на девушку.

Задумавшись и глядя куда-то вдаль, Лина стояла перед ним серьезная, чем-то озабоченная.

«Вот она какая! — подумал Александр. — Много видела, много знает; и пережила, видно, много тяжелого эта смелая ленинградская девушка... Но неужели, неужели ей нравится тот истукан — Клыков?»...

Уходя, Матросов робко спросил, не надо ли ей чего для ребят.

— Спасибо, ничего не надо, — не оборачиваясь, ответила девушка.

Глава XXIII

СЕРДЦЕ ЗАГОВОРИЛО

Тревога снова охватила всю колонию. Военный завод срочными телеграммами требовал все больше снарядных ящиков, изготавливаемых колонией. А производство этих ящиков почти приостановилось: не из чего было делать их, запасы древесины кончались. Все понимали, какая ответственность ложилась на колонию за несвоевременную доставку снарядов на фронт. Но где взять доски для ящиков? Достать бы бревна и распилить их на своей пилораме! Но быстро доставлять их из леса при ледоставе на реках, при весенней распутице и нехватке транспорта — дело невозможное.

Выход был один. Еще осенью по реке Белой пригнали для колонии плоты. Бревна тогда не успели вытащить из воды. Это и был тот самый лес, который сейчас, как хлеб, нужен колонии.

Но как взять этот лес? Плоты за зиму так вмерзли в толщу льда, будто были накрепко забетонированы. Попробовать применить взрывчатку? Но бревна были бы испорчены. Выдалбливать же их из льда топорами и кирками — дело столь же трудное, как и рискованное.

Вечером в клубе на собрании и предстояло решать этот вопрос.

Александр шел в клуб, беспечно посвистывая, будто его и не касались трудности колонийской жизни. Днем сильно пригревало солнце и растопило снежок в незате-

ненных местах в сквере. Кое-где блестели чуть розоватые лужицы, освещенные огненно-малиновым закатом и чуть прихваченные тонкой корочкой вечернего заморозка. Но ясно, что от этих корочек при первых же лучах утреннего солнца не останется и следа. На ветках сирени уже разбухли и зазеленели почки. Весна идет.

Александр всей грудью жадно вдыхает чистый воздух и думает не о том, ради чего люди идут на собрание, а о Лине: придет ли она в клуб и останется ли на концерте художественной самодеятельности, что будет после собрания? Почему о ней думает, — сам не знает. Может, потому, что его вообще тянет к людям.

Но неожиданно настроение у Александра испортилось. У дверей спортивной комнаты стоял Клыков и, как жонглер, ловко играл тяжелыми гириями-пудовиками, легко подбрасывая их и хватая на лету. Его окружали ребята, восхищаясь его силой и ловкостью:

— Ух, как здорово!

— Вот это силушка богатырская!

— Зря талантище пропадает. В борцы бы шел, что ли!

И самое неприятное для Александра было то, что здесь же стояла Лина и, судя по ее удивленному лицу, тоже, видимо, любовалась Клыковым. Александра охватило смятение. Теперь ясно, ради чего Клыков показывает свою удаль. Как могла Лина увлечься таким обормотом? Как мог понравиться ей именно этот вид спорта? Девичье ли это занятие — гири? Значит, они оба одного поля ягоды. Видно, все девчонки легкомысленны, и нечего переживать из-за нее. Какое ему до нее дело?

И Александр нарочно медленно прошел мимо Лины с гордым, презрительным выражением лица. Пусть знает, что он все это видел и оценил по-своему. Он остановился около Виктора Чайки, невольно почему-то все-таки поглядывая на девушку.

На собрании, как и в прошлый раз, когда надо было отправлять готовые снаряженные ящики, опять бурно спорили, как добыть лес для пилорамы. Одни предлагали, чтобы военное ведомство доставило древесину, другие советовали изготовить ее в лесах самим и раздобыть где-нибудь транспорт. Но даже на одни хлопоты для осуществления этих предложений потребовалось бы

много времени. Мастер Сергей Львович, учительница Лидия Власьевна и воспитатель Четвертов настоятельно советовали попробовать все-таки самим вырубать плоты из льда реки.

— Мы уже имеем хороший пример того, как наши воспитанники умеют преодолевать трудности, — говорила Лидия Власьевна. — Я уверена, что и в этой трудной работе они сделают все возможное. Да, у советских людей и невозможное бывает возможно. Киров так и говорил: «Технически невозможно, а коммунистически возможно». Для нас преодоление любых трудностей — школа мужества. Наши воины на фронте жизни свои отдают за нас. Воинам гораздо труднее, чем нам на любой работе...

— Так пушай нам и харч солдатский дают! — громко выкрикнул Клыков.

На него со всех сторон зашикали ребята, возмущаясь его нахальством.

— А чего бузите? — вызывающе поднялся Клыков. — С пустым брюхом не наработаешь. И так уже совсем отошали — еле ноги волочим. И не стальные зубы у нас, чтоб тот лед грызть.

Матросов вскипел. Как посмел этот наглец прекословить старой учительнице, потерявшей на фронте единственного сына! Как не стыдно ему говорить о своем брюхе и врать, что совсем отошал! Александр поднял руку, прося слова, и, к удивлению своему, увидел, как шла к трибуне худенькая, со впалыми щеками, белобрысая девочка. Он не сразу узнал Лину. В синем беретике и коротком пальтишке, перехваченном пояском, она казалась меньше и тоньше. Матросов замер в ожидании: что же она скажет? Тоже, наверное, будет хныкать и поддерживать Клыкова?

Но ее почти детский голос зазвенел сурово:

— Вот тут Клыков жаловался, что он совсем ослабел, и требовал солдатского пайка. А перед собранием ребята видели, как этот тощенький парень подбрасывал тяжелые гири, как мячики. Богатырем его называли. Как вам не стыдно, Клыков, смотреть людям в глаза?

Александр остолбенел: никак не ожидал он услышать от нее такое. Теперь у него все мысли перепутались.

— Правильно, ленинградка! — крикнул кто-то.

Девушка, приободрясь, продолжала:

— Почему же вы, Клыков, не идете за солдатским пайком на фронт? Ленинградцы в блокаде были бы очень рады и здешнему вашему пайку. Да и последними крохами они делятся с фронтовиками, только бы не пустить в город врага... В общем, ребята, если среди вас еще найдутся такие слабосильные, как Клыков, то вместо них я с детишками своими пойду работать на реку.

— Хорошо сказала! — кричали ребята.

— Молодец ленинградка! — крикнул и Матросов.

— Нам, конечно, стыдно за Клыкова, — заявил он с трибуны, — но, к счастью, он у нас — редкое чудо-юдо. Не головой, а брюхом думает. И если ему харчей мало, то таких, как он, можно подкармливать и соломой...

Послышался взрыв ребячьего хохота. Не выдержав, совсем по-мальчишески прыснул со смеху и сам-оратор.

Клыков с покрасневшими от ярости глазами двигал челюстями, видно, собираясь что-то сказать. Но Матросов уже опять заговорил:

— Правильно Лидия Власьевна сказала насчет мужества... Мы пойдем на выгрузку бревен и постараемся сделать, что можем. Попытка — не пытка. Верно я говорю, ребята?

— Верно! Правильно! — дружно зашумели вокруг.

Клыков, наконец, выкрикнул с опозданием свою угрозу, взмахнув кулаком: «Я тебе покажу солому!» Но возглас его потонул в общем шуме.

Решено было с утра начать выгрузку бревен.

Начался концерт. Программу его Виктор Чайка подготовил вместе с Матросовым, Ереминым и другими дружками. Матросов был доволен, что ребята пели те песни, какие были ему больше по сердцу, — протяжные, широкие, как степь, как море: «Ой да ты калинушка», «Рябина», «Ах ты, степь широкая», «Вниз по Волге-реке»...

Да вот запала в сердце новая песня «Про черноокую». Девчонок он терпеть не может, — всем так и говорит, — но песня так хороша, что сердце замирает.

А когда ребята поют, он все просит:

— Только без крику. Надо петь душевно.

Он поет и почему-то все ищет глазами в зале Лину и не находит. Не видно и Клыкова. Может, они где-нибудь вместе?

После концерта, возвращаясь из клуба, Матросов неожиданно встретил Клыкова.

— Честь имею — граф Скуловорот! — вызываясь представился Клыков, преграждая дорогу.

— Какой ты граф, Игнат? До каких пор будешь кривляться?

— А, тебя уже обработали? Перевоспитали? — насмешливо спросил Клыков. — Все учишься, в отличники лезешь!

— Да, учусь, чего и тебе желаю.

— Мне абы каши поболе, а на твои науки наплевать, — брюхо ими не набьешь. Меня конфеткой не заманишь и пай-мальчиком не сделаешь. Я человек — кремень.

— Да, я верю, что ты каменный. Но чего тебе от меня надо?

— Ага! Трусись? Боишься — башку откручу?

— Не посмеешь. Нас много.

— Я силач и один против всех иду. Ясно? Всем скулы сворочу!

— Руки короткие. — Матросов хотел идти.

— Стой! — схватил его за руку Клыков. — Уговорил ребят идти на реку и радуешься? Ничего! Я тебя там скорей под лед спущу, чтоб знал, где раки зимуют. Разом расплачусь с тобой за все.

— За что?

— А за то самое!.. — Клыков задыхался от злости. — Сам все выхваляешься, возносишься, а меня в грязь топчешь перед той белобрысой подлюгой!

И будто пламя ударило в лицо Александру и опалило всего.

— Как ты смеешь позорить хорошую девушку?

— Ага-а! Ты еще заступаешься за нее? — Клыков схватил Матросова за грудки.

Тогда Александр тем ловким приемом, каким Павка Корчагин сшиб гимназиста, со всей силой ударил Клыкова, и тот полетел в темноту.

Глава XXIV

ЗАКАЛКА

Утром воспитанники подошли к реке Белой. Огромное багровое солнце выкатилось из-за горы. Стояла неустойчивая апрельская погода. Днем шумели ручьи, а ночью их сковывал морозец. И теперь в оврагах под ногами скрипел ноздреватый почерневший снег, но весна чувствовалась во всем. Жемчужно-сизый пушок ракиты весело маячил среди черных стволов клена и вяза. Зеленела озимь, и пробивалась яркая трава на пригорках. Чистый воздух с тончайшими запахами весны опьянял, как вино.

Александр остановился на высоком берегу реки и, точно желая обнять ее ширь, покрытую льдом, розовеющим в утренних лучах, раскинул руки.

— Ух, здоровá речища!

— Постой, она тебя уломает, — подмигнул Еремин, кивнув на плоты.

И верно, уже с первого взгляда видно было, какая предстоит тяжелая работа. На поверхности льда чернели, как горбы дельфинов, лишь немногие оттаявшие бревна, остальная же масса древесины была закована в толщу льда. Местами у берегов лед вздулся, отделился от земли, и там плескалась голубая вода. Чувствовалось, что вот-вот не сегодня — завтра полая вода поднимет, сломает ледок и унесет его вместе с плотами.

— Смешное дело, — нахмурился Брызгин. — Эти

бревна и динамитом не вырвешь из льда, а мы хотим руками. Трудно будет. Вымотаемся зря.

— Да, трудновато будет, — согласился Матросов. Ему самому стало немного страшно. А вдруг, и правда, не под силу будет вынуть из реки бревна! Тогда — позор; ведь храбрился... Но и поддакивать сомневающимся нельзя. Сомнение охватит и других ребят, ослабит их волю. — Ничего, попробуем, покажем себя.

— Ты на ветер слов не бросай, — сказал Тимошка.

— Он только хвастать умеет, — мрачно пробурчал Клыков, остановясь поодаль, — а у самого силы, что у мухи.

Матросов доволен, что Клыков заговорил с ним. Значит, не желает, видимо, чтобы ребята знали о вчерашней их стычке. Александру захотелось даже пошутить с ним:

— И от буйвола пользы мало, если он совсем ленивый.

— А ты, зяблик, хочешь чужими руками жар загребать! Что ты супротив меня можешь? — презрительно сморщился Клыков; нет, он не простил вчерашнее... Ведь засмеют ребята, если узнают, что его, силача, Сашка сшиб одним ударом. И тихо, чтоб слышал один Матросов, он пригрозил: — Вот незаметно пихну тебя под лед — лови ершей...

— Ты меня не пугай, пугало! — вспыхнул Матросов. — Кто других страшает, — сам боязливый.

Подошли воспитатель Четвертов и Лина с санитарной сумкой через плечо. Ребята замолчали и подтянулись. Четвертов распределил инструмент. Ребята принялись вырубать длинные бревна из льда и вытаскивать на берег. Вначале довольно дружно в звенящий лед вонзались ломы, топоры, кирки. Сверкая на солнце, как осколки хрусталя, разлетались льдинки. Бревна волоком тащили на высокий берег под команду:

— Раз, два-а — взяли! Еще-е — крепче!

Однако вытаскивать обледенелые тяжелые бревна на берег было еще труднее, чем вырубать их из льда. Пригрело солнце, валенки размокли, ноги скользили. Работа замедлилась.

— Надрываемся, а зря, — угрюмо сказал Клыков.

— Конечно, зря, — согласился Еремин, пошатываясь от усталости, — Все одно не успеем. Снесет.

— «Зря, зря»! — передразнил Александр, косясь на Клыкова. — Закаркали, как худые вороны. Хныкать легче всего. По-вашему, если трудно, так, значит, не надо работать? Да настоящий человек — хоть кровь из носу, хоть руки до костей изодраны, а нужное дело не бросит.

— Правильно, Сашок, — поддержал его Виктор Чайка. — Известно, сталь от закалки делается крепче.

— О! Здо́рово ты сказал, Виктор! — сразу повеселел Матросов, которому, и правда, хотелось испытать себя в трудном деле. — А ты, граф, — повернулся он к Клыкову, — не сбивай ребят с толку. Ты только и умеешь работать языком и ложкой. Сила бычья, а ухватка мокричья.

Он сдвинул на затылок ушанку, рукавом ватника отер пот с лица. И правда, работа тяжелая. У него у самого уже все тело ныло, порой голова так кружилась, что трудно устоять на ногах. Известно, за время войны ребята похудели от скудного пайка. Но что же получится, если все тут расхнычутся, бросят работу? А ведь бревна-то во что бы то ни стало вытащить надо! Иначе унесет их вода и ящики для снарядов не из чего будет делать. Матросов снял ватник и швырнул на бревна. Расстегнул ворот черной сатиновой рубашки. Разгоряченную грудь подставил ветру. Как облегчить эту изматывающую работу?

— Хлопцы, а что, если нам попробовать накатом? — Он окинул всех быстрым взглядом.

— Каким там еще накатом? — рассердился Еремин.

— А скатить его самого в прорубь! — крикнул Клыков, что-то жуя. — Блоха в командиры лезет! — Он давно бы уже бросил работу, но стыдился Лины.

Александр даже не взглянул на него.

— Не шуми, Еремка, — сказал Матросов сдержанно. — Хочу, чтобы всем лучше было. Понятно?

Еремин вспомнил ночь, когда они клялись в дружбе, и вздохнул:

— Да я не против работы, — но как лучше?

Все заинтересовались предложением Александра. Подошел и воспитатель Четвертов.

— Как говоришь — накатом?

Это было совсем просто. Положить параллельно гладкие бревна и по ним катить. Двое сверху за веревки

тянут, двое с кольями подталкивают и поддерживают бревно. Попробовали, и, на удивление, дело пошло быстро.

Чайка заодно свистнул:

— Да таким манером раз в десять быстрее!

— И как раньше-то не додумались!

— Всякий додумается, — усмехнулся Александр. — Пустяк дело.

В следующую ночь мороза не было. На льду появились лужи. Вода покрыла лед вдоль берега. Работать стало труднее. Но ребята уже «втянулись» и работали дотемна.

На третий день работать стало еще труднее. Под водой лед был очень скользкий, ноги не слушались; всюду хлюпала вода и заливала с трудом вырубленные из льда бревна. По оврагам и ерикам в реку с шумом бежали мутные ручьи.

В полдень Еремин споткнулся, упал и выругался:

— Это му́ка, а не работа!

— Бросай! — сразу же подхватил Клыков. — Кончен бал!

Работа приостановилась. Александр взглянул на Еремина, стоящего в воде на четвереньках, не выдержал и, закрыв рот варежкой, прыснул со смеху.

— Еремка, опять медведя изображаешь? — Но сразу же стал суров. — Хлопцы, чего приуныли? Орлы вы или чижики? А на фронте, думаете, легче? Ведь доро́га каждая минута! — Он заодно подмигнул. — А ну, братки, давай, не кисни, давай! — И подложил шест под бревно. — Раз, два-а — взяли!

Воспитанники заторопились, покачиваясь от усталости.

Солнце уже близилось к закату. Вздущийся лед стонал, потрескивал. Но вот вся его масса вздрогнула и чуть заметно двинулась.

Клыков поскользнулся, взмахнул руками, упал в полынью и сразу скрылся под водой. Потрясенные такой неожиданностью, все оцепенели.

— Утонул! — закричал Шукин.

— Веревку ему! Где веревка? — забежал Виктор Чайка.

Но вот вода в полынье плеснулась. На миг показалась голова Клыкова, без шапки; мокрые волосы до по-

ловины закрывали лицо. Клыков вцепился было в кромку льда, ртом хватая воздух. Но товарищи не успели еще помочь ему, как руки его соскользнули и он опять скрылся под водой. Снова всплеснулась вода, снова показалась голова. Клыков упрямо цеплялся за жизнь.

— Багры, давайте багры! — кричали ребята.

— Веревку! Шесты!

— Затянуло опять. Тут быстрина!

Все бегали, искали и впопыхах не находили того, что надо.

Лина стала разматывать бинт, думая, что он заменит веревку.

Матросов бросил поперек полыньи доску и сам склонился над водой. Через секунду он поймал в ледяной воде руку Клыкова и молча силился подтащить его к доске.

— Клыков и Сашку затянет под лед! — крикнул Щукин, с ужасом глядя на друга. — Да держите же его!

Александр и сам побелел, как полотенце: долго ли сорваться? Он клещом вцепился в доску, уперся о льдину и тащил барахтавшегося Клыкова. Тот захлебывался, довил ртом воздух и уже ничего не соображал.

Александр всегда противен был Клыков, постоянно жующий, неряшливый, самодовольный невежда, существующий, казалось, только для того, чтобы делать людям пакости. Теперь Александр видел его полные ужаса глаза, смотревшие раньше на людей нагло и презрительно, держал за руку, которая всегда могла ударить невинного человека.

Но Матросов думал только о том, как спасти тонущего человека, даже с риском для своей жизни.

Вот, наконец, Клыков окоченевшими пальцами схватился за доску. Матросов держал теперь его под руку. Тотчас же товарищи окружили полынью со всех сторон, тащили Клыкова за одежду, кто-то заарканил его веревкой, кто-то «подбавивал» шестом. И как только вытащили его на пригорок, он, совсем обессиленный, сразу растянулся пластом, хотя и пробыл в полынье не больше двух минут.

Лина давала ему что-то нюхать, что-то вливала в рот, чем-то растирала его.

Александр ревниво косился на нее, хотя и понимал, что она делает то, что обязана делать.

Ребята быстро переодели Клыкова в сухую одежду. Он очнулся, сел. Его затрясло.

— Дрожит! — обрадовался Еремин. — Значит, все в порядке!

— Бегай, Клыков, бегай, грейся!

— Домой сам дойти сможешь? — спросил воспитатель Четвертов. — Или отвести?

Клыков, ничего не отвечая, по-бычьи косился по сторонам. Увидев Матросова, он тяжело поднялся. Александр уже стоял с шестом наготове, чтобы продолжать работу. Клыков, шатаясь, как пьяный, смешной в чужой короткой и узкой одежде, подошел к Александру, молча протянул окостенелую руку. Не понимая, в чем дело, Матросов отпрянул. Тогда Клыков прохрипел:

— Д-дай руку! Н-н-на мои пять!

Александр важно пожал его ледяные растопыренные пальцы.

Ребята повеселели, заулыбались. Послышались их одобрительные возгласы:

— Молодец Саша! Человека спас!

Мимо Александра, будто невзначай, прошла Лина. Глаза их на секунду встретились. По улыбке, по сияющим ее глазам Александр понял: она довольна им. Это и была для него самая большая награда. И он, застыдившись, усмехнулся и весело крикнул:

— Ну, хлопцы, сеанс окончен! Даешь работу! А то вон солнце уже садится.

— Какая теперь работа? — зашумели снова ребята.

— Ясно, бросать! А то и мы, как Игнат, под лед угодим.

— Шук кормить!

— Там еще часа на три работы, — примиряющим тоном сказал Чайка. — Совсем угробят нас эти бревна, — добавил он тихо.

— И верно, — согласился Александр, — за три часа угробят.

— Значит, все! — обрадовались ребята. — Бросаем!

— За три часа — ясно, угробят, — продолжал Александр. — Я предлагаю не мучиться еще целых три часа...

— Верно! — зашумели ребята. — Бросай!

— ...предлагаю вытащить, — сказал Александр, — эти проклятые бревна за полчаса.

— Сбиваешь с толку! Хитрый!

Все понимали: работать дальше опасно, и уже темнеет, — значит, будет еще опаснее. А лед держит еще не менее тридцати кубометров ценного леса.

Александр посмотрел на Четвертова. Тот, видно, тоже колебался: не прекратить ли работу? А Еремин и Брызгин уже сидели на пригорке и, сняв валенки, выливали из них воду, тихонько поругиваясь.

Матросов подошел к воспитателю.

— Я так думаю, Семен Борисович, — сказал он, — правда, опасно работать, и ноги горят в ледяной воде. Только если мы сейчас не выгрузим лес, его ночью унесет со льдом. Разрешите продолжать, пока не совсем стемнело. — И повернулся к ребятам: — Чайка, Брызгин, Еремка, Тимошка, дружба моя, пошли?

Он первый ступил на лед. У берега вода была по колено. Александр поскользнулся, и ледяная вода обожгла живот. Он быстро поднялся. Усталость валила с ног. Какая-то сила тянула его обратно, к берегу, но он шагнул вперед, ворча на себя:

— Я тебя заставляю... Слов на ветер не бросать! Павлу Корчагину было куда трудней! Бойцам под огнем куда страшней! Человек я или муха?

За ним пошли трое и снова принялись за работу. Туда же, качаясь, пошел и Клыков.

— Куда ты? — зашумели на него. — Тебе надо согреться. Беги домой!

— Согреюсь... н-на... р-раб-боте... — ответил он, цокая зубами.

Поодиночке стали подходить и другие.

Не вытерпел и Еремин и кивнул на Матросова:

— Ребята, да что он, букашка, нам нос утирает? А мы что, хуже? Пошли и мы утопать!

Александр засмеялся.

— Утопать, говоришь, Еремка? Не стоит! Еще здорово проживем! Шагай, шагай живей сюда! Ну-ка, ломиком под это бревно. — Теперь он уже хозяйничал, веселый, шутливый. — Давай, ребята, вагу под концы. Так, разо-ом — взяли! Крепче-е — дружно! Эй, орлы, подтяни животики, штурмуй эту коряжину!

Александр и сам дивился тому, что ребята послушны ему.

Его слушались даже здоровяки. Ребята незаметно

посмеивались, когда Клыков, который был на две головы выше Матросова, быстро поворачивался, выполняя его команду:

— Муха слоном командует!

Клыков, не слушая разговоров, молча и хмуро брал в охапку огромные бревна и таскал их на берег.

Уже полная луна показалась из-за деревьев, когда воспитанники, барахтаясь в воде, вытащили на берег последнее бревно. Дрожа, они выжали воду из портянок.

— Ну, братушки, теперь бегом домой сушиться! — весело крикнул Матросов, потирая окоченевшие руки.

Глава XXV

ЛЮБОВЬ

Несколько дней Александр избегал встреч с Линой, но безотчетно искал случая повидать ее хотя бы издали. В корпус к детям он шел только тогда, когда знал, что она в санчасти. Случалось, Лина, окруженная детьми, выходила на крыльцо или шла по двору, и тогда Александр смущенно прятался. Но если он целый день не видел девушку, то вечером, тоскуя, не находил себе места.

Его терзали сомнения: то она ему не нравилась, и он находил в ней множество недостатков — слишком она важничает, слишком синие у нее глаза и слишком светлые волосы. Вот она бросила под ноги клочок бумаги — значит, неаккуратная. И главное — зачем она улыбается Клыкову? Ну и улыбайся, сколько хочешь, всем ребятам. Но зачем Клыкову? Кто он ей?

Но потом он представлял себе Лину такой, какой видел там на крылечке, думал о том, как мужественно она вела себя в блокадном Ленинграде, как оберегала детей в дороге, как хорошо выступила на собрании, — и менялся весь строй его мыслей и чувств.

Нет, Лина не важничает, она умеет держаться с достоинством. Александр проникался к ней еще большим уважением и думал: «Нет, довольно! Пойду к ней просто, по-товарищески, и скажу все... Скажу, что она лучше всех на свете. Нет, не то... Скажу, что я никогда-ни-

когда ни единым грубым словом ее не обижу, и пусть она считает меня своим лучшим другом».

Вечером он пришел к ленинградским детям по делу и с твердым намерением поговорить с Линой. Но дети, видя, что Лина хорошо относится к Александру Матвеевичу, осмелели, стали охотнее и доверчивее рассказывать ему о себе. Говорила о них и Лина. Тяжелые воспоминания так угнетают детей, что они до сих пор по ночам кричат во сне, вскакивают с кроваток, зовут родителей. А родителей у одних совсем уже нет, у других они на фронте. У Зины Ветровой отец погиб в бою под Невской Дубровкой, а мать убита на Пулковской горе, где рыла окопы. У Веры Гаенко отец и мать воюют на фронте, а бабушка, с которой жила Вера, умерла от голода, отдавая свой скудный паек внучке. Вначале они совсем не улыбались, были молчаливы, с неподвижными, точно окаменевшими лицами. Только теперь, окрепнув и поздоровев, малыши оживились, повеселели.

Сама Лина избегала раньше смотреть в зеркало — таким изуродованным казалось ей лицо ее. Зато теперь она заглядывает в зеркало часто и сердится, что так медленно сходят с лица следы ожогов.

Александр наслушался рассказов детей, и ему стыдно стало говорить Лине о своем сердечном расположении к ней. И не хотел, чтобы считали его назойливым. Ему казалось, что и Лина стала сдержаннее с ним. Но не видеть ее подолгу он уже не мог.

Он бывал в столовой нарочно в то время, когда туда приходила Лина. Однажды он лицом к лицу столкнулся с девушкой. Она молча кивнула ему и прошла мимо, прямая и гордая. Александр готов был броситься за ней следом, но не навязываться же, если она сама не говорит ему ни слова. Раньше, бывало, он не очень-то стеснялся и даже за косы дергал девочку, но Лине почему-то не может сказать ни слова.

Лина ждала, что он заговорит первый, и, не дождавшись, окликнула его:

— Саша, почему не заходите к нам?

— Незачем, потому и не захожу.

— Чего вы сердитесь?

— Я не сержусь, но мне просто некогда, — замялся Александр. — Иногда, знаете, всю ночь до рассвета приходится работать, — сказал он и хотел уйти.

Но Лина загадочно продекламировала:

Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса...

— Без намеков, пожалуйста,—обиделся Александр.— Я и так могу сменить разговор. Даже уйти.

— Все понятно. Если не знаешь, так лучше убежать,—задорно сказала девушка.

— Чего «не знаешь»? — не понял он.

— А вот чьи это стихи? Из какого произведения?

Александр не знал, и это еще больше раздражало его.

— Некогда, знаете, мне тут балагурить, — с достоинством сказал он. — Нечего меня экзаменовать. — И пошел, неторопливо и широко шагая, чтоб казаться посolidнее.

Весь вечер он рылся в книгах, разыскивая стихи, прочитанные Линой, и злясь на себя, что опять нагрубил ей. «Не знаю, чьи стихи, так надо было признаться в этом, а не грубить».

На другой день он все же узнал от Еремина, чьи это стихи, и хотел сразу побежать к ней, но сдержался.

Лина первая заговорила с ним, как бы случайно встретясь во дворе. Они остановились под кудрявым тополком, маленькие, едва распустившиеся ярко-зеленые листья которого слегка тербил легкий ветерок.

— Саша, говорят, вы поете в хоре? — спросила она.

— А ты... вы... поете?

— Плохо пою. А почему спрашиваете?

— Так. Думаю, что нельзя любить человека, который не поет и не любит песен.

— А если голоса нет?

— Все равно. Хороший человек хоть по-вороньи, да поет.

— По-вороньи? — засмеялась она. — Лучше совсем не петь.

Он предложил:

— Приходите сегодня вечером в клуб. Послушаете наш хор.

— Хорошо, приду.

Но Александру показалось, что она согласилась нехотя и ответила холодно. А ему хотелось, чтобы она при-

шла во что бы то ни стало, будто от этого для них обоих будет зависеть очень многое. Он повторил:

— Обязательно приходите, Лина. Ждать буду.

— Приду, Саша, обязательно приду... А за что вы попали на Доску почета?

— Да так, — смутился он, охваченный радостным чувством: девушка, видно, неспроста интересуется им. Сказать ей правду, подумает еще, что он хвастается. — Ну, работал, старался сделать больше и лучше, — просто ответил Александр.

— Это хорошо, — тихо сказала девушка. — Очень хорошо, когда тебя ценят.

И теперь уже будто само собой сорвалось у него с языка:

— Недавно я придумал новый способ закалки напильников, крейцмейселей, зубил и другого инструмента. Думаю, это немного повысит производительность работы.

— А что, уже применили этот способ?

— Нет еще. Вот расскажу мастеру.

— Так зачем же прежде времени хвастаться? — добродушно усмехнулась Лина.

Он растерялся, но тут же возразил:

— Да нет, я верю, что дело получится.

— Желаю вам удачи, — искренне сказала она.

Вечером он упрашивал Чайку:

— Витя, браток, ты сегодня играй так хорошо, как никогда еще не играл, — понял?

— Нет, не понял.

— Ну, чудак, а еще друг! Я объявил ребятам, что петь будем. Так петь, чтоб аж до неба песня летела...

— Все сам понимаю, Саша, — засмеялся Виктор. — Нечего скрытничать, это и слепым видно...

— Верно, Витюнчик, — смутился Александр, — нечестно скрывать от друга... Но я все-таки не понимаю, какая любовь правильная — та, что начинается с первого взгляда, или та, что после ссоры.

— Вот у тебя, кажется, та, что после ссоры, а вообще...

Подошли ребята, и разгорелся спор о том, существует ли любовь с первого взгляда:

— Ну как же, — восторженно рассказывал Еремин. — Конечно, с первого взгляда!.. Встретил я в прошлом

году девушку на вокзале. Она взглянула на меня и будто всего обожгла, даже мурашки по телу пробежали... Вот это, думаю, она, судьбина моя. И не знаю, братцы мои, что было бы, если бы она не вскочила в вагон отходящего поезда... Уехала она, а я еще долго стоял, пока сундуком не задел меня один дядька. И вот все больше думаю о ней, да не знаю, на каких широтах и долготах она затерялась...

— Ерунда! — возразил скептик Брызгин. — Мешок соли надо съесть, пока не распознаешь девчонку. Они ж хитрые и коварные, как ведьмы. А ты, Еремка, сам выдумал себе ту принцессу. Может, она спекулянтка...

— И ты, Гошка, тоже не прав, — сказал Виктор. — Есть чудесные девушки, и такую сразу по глазам узнаешь...

Спор затянулся, потому что никто из спорящих так и не мог доказать свою правоту. Только Александр прямо признавался, качая головой, как хмельной:

— Ничего, хлопцы, не понимаю, только знаю, что она — есть, есть...

Когда Лина вошла в клуб, Александру показалось, что сразу стало здесь и светлее и торжественнее. Ему хотелось, чтоб при ней никто дурного слова не сказал и чтоб все вели себя хорошо, точно она будет судить о нем по поступкам его товарищей.

— Давай любимую, — кивнул он Виктору Чайке. — Про чернооковую...

Чайка тряхнул выгоревшим на солнце белым чубом и заиграл.

Александр, точно поднимаясь на облаках, с замиранием сердца запел:

Что затуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой?
Что пригорюнилась, девица красная,
Очи блеснули слезой?

Лина пристально смотрела на певца. Он взглянул на девушку, и глаза его сказали: «Это я только тебе пою, про тебя и себя пою».

Ночь начинается, фонари качаются,
Филин ударил крылом.
Налейте мне чаю, налейте глубокую
Пенистым красным вином.

Лицо его то хмурится от смущения, то озаряется. Но вот он выпрямился. Первое смущение прошло. Голос становится сильнее и увереннее. Вот он, прислушиваясь к баяну, подхватывает звонким тенорком:

Много за жизнь я свою одинокую,
Много себя я губил...
Я ль виноват, что тебя, черноокою,
Крепче, чем жизнь, полюбил.

Но вот голос певца замирает. Стихает баян. А ребята все еще молча и удивленно смотрят на Александра. Смутившись, он не знает, что сказать, и, смеясь, с напускной беззаботностью спрашивает:

— Почему тихо? Да что вы все приуныли? Орлы вы или чижики? А ну, грянем партизанскую. — И первый затягивает:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

Пели и про калину, и про степь широкую, и про рябину. Александр стеснялся на людях подойти к Лине, но каждый миг чувствовал ее присутствие и старался, чтобы пели стройно, чтобы Лине было хорошо и радостно с ними.

Потом он все-таки подошел к девушке с альбомом героев войны.

— Вот посмотрите наш альбом. Сами делали. О героях войны... Вот это настоящие люди! И сколько их! Ведь они простые, как все мы, — да? А какие храбрые! Вот смотрю я на Тимошку. Как воробей — маленький и чудной. А может, завтра он-то и будет героем, — а?

Лина кивнула:

— Учитель наш, помню, сказал: «Великие всегда простые».

— Правда, правда, Ли-на, — с расстановкой произнес Александр имя девушки, наслаждаясь его звучанием. — Хорошо он сказал!

Он задумчиво смотрел на ее щеки со следами ожогов, на голубую жилку под золотистым пушком на левом виске, и в ясном взгляде его — уважение и нежность к этой заботливой и смелой девушке.

— Вот и мне, Линуся, страсть как хочется хоть капельку, хоть чуть-чуть быть человеком... ну... стоящим...

— Зачем? — лукаво улыбнулась она.

— Ну, чтоб от меня людям польза была, чтоб... — он вздохнул и тихо добавил: — Чтоб тебе нравился.

— Заче-ем? — тоже тихо и с придыханием спросила она.

Он смутился, стал теревить свой поясной ремешок, снял какую-то пушинку со своей белой рубашки.

— Ну, как же «зачем»? Думаю, каждый человек должен стараться быть лучше, чем он есть.

— Ого, какой вы серьезный! — чуть насмешливо сказала она и подумала: «И хорошо, что он такой. И хорошо, что он и серьезный, и веселый, и быстрый, как ветер».

— Да, правда, хочется быть лучше. А то иногда думаешь о себе и возненавидишь себя. Так много еще всякой дряни увидишь! Будто в зеркало смотришь на себя, а видишь ежа, — и первый засмеялся.

Лина весело спросила:

— Почему ежа? Правда, недостатки есть у всех нас, но ежа... — И она тоже засмеялась.

— Ага, верно, есть. И ты, Линочка, не стесняйся, пожалуйста, режь мне всю правду в глаза, если заметишь у меня что плохое.

— Хорошо, Саша. Я уже кое-что замечаю.

— Что? Что? — насторожился он.

— Волосы на голове надо причесывать, а то они у вас торчат, как у ежа.

— Да ты не шути, Линка! Волосы — верно. а еще что?

— Воротничок рубашки не разглажен.

— А еще? Похуже что?

— А еще — сам вы иногда грубоватый и колючий, как еж.

Он глубоко вздохнул:

— Да ты просто придираешься ко мне.

— А сам просил говорить все.

— Хотя... хотя, может, и правду сказала. Грубоватый. В колледжах или как там... не учился.

Им хорошо было вдвоем: они запросто могли говорить о чем угодно, шутить. Александру хотелось побыть с ней подольше. Но к ним вразвалку подошел принаряженный и напыщенный Клыков.

Александра охватило беспокойство: может, Клыков ей

нравится? Конечно, он с виду куда представительнее его, Матросова.

Но Лина сама не хотела, чтобы кто-нибудь посторонний вторгался в хорошее их чувство, о котором они оба стеснялись еще признаться самим себе и друг другу, и заторопилась:

— Ну, я пойду. Уже поздно. Спокойной ночи.

Александр даже не пошел провожать ее, чтобы никто ничего дурного не подумал о ней. Ночью он долго не мог уснуть, взволнованный большим, счастливым чувством и беспокойством, почему все-таки он так и не сказал то, что думал сказать. Его охватило неодолимое желание увидеть девушку снова. Хотелось сказать ей или сделать для нее что-нибудь особенное, выдающееся. Он ощутил в себе небывалую силу, казалось, можно горы сдвинуть.

Перед рассветом он уснул вдруг неожиданно и крепко. Но встал раньше всех и начал свою обычную работу, стараясь не думать о Лине. Потом пошел в слесарно-механический цех посоветоваться с мастером о новом способе закалки инструмента.

— Рад за тебя очень, — встретил его мастер, пожмая руку. — Доверили тебе воспитательство. Это, брат, великое дело, когда человеку доверяют. Только смотри, механику не забывай! — и ласково погладил станок.

Александр вдруг захотелось откровенно поделиться с мастером своими переживаниями. Он хорошо знает жизнь и людей, все поймет, не осудит и даст добрый совет.

— Да что механика, Сергей Львович! У меня несчастье, — сказал Александр печально.

— Что такое? — встревожился мастер. — Идем в кабинет.

Матросов сел против мастера, возбужденно блестя глазами.

— Выручайте, посоветуйте... И говорить вам стыдно и не знаю, что делать. Вот хожу, будто сам не свой, хотя знаю, — глупости все это.

— Да ты про что?

— Про девушку одну... Только она, понимаете, совсем не такая, как все. Я таких... таких хороших еще не видел. Это, знаете, как в сказке...

Сергей Львович улыбнулся:

— Несчастье, говоришь? Вот чудак, несчастье...

Ну-с? Да это, брат, и есть величайшее счастье, — добавил он задумчиво.

— Да вы не смейтесь! — взмолился Александр. — Я себя ненавижу. Раскис, спать не могу, как мальчишка.

— Старик! — засмеялся мастер.

— Правда, зло берет! И понять все трудно... Раскис я, но в то же время мне хорошо, так хорошо, как еще никогда не было. И работал бы, как зверь, и плакал бы от радости. Понимаете, петь хочется! Вчера за день я перевыполнил норму на триста пятьдесят процентов. Скажи она: «Саша, сдвинь гору Золотуху!» — и сдвину. Мне хочется стать лучше всех, — понимаете? А как увижу Лину... ту девчонку, — с горечью пояснил он, — и стою, как вкопанный, как дурак, глаз отвести не могу. Словом, нюня... В общем, извините, я по делу, насчет закалки...

— Постой, постой, давай по порядку! — прервал его Сергей Львович. — Все понимаю. Я рад за тебя, Александр. Рад, — понял? Хочется стать лучше, чем есть? Резон. Вот всегда так и поступай, будто за тобой наблюдают глаза любимого человека, тогда и будешь все делать хорошо, по совести.

— Ну, спасибо. Ох, и спасибо ж вам, Сергей Львович! Теперь о закалке... — И Матросов рассказал о своем изобретении.

Мастер одобрил новый способ закалки инструмента.

Матросов вышел из цеха солидно, не спеша, но во дворе не выдержал и пустился бегом... Сомнения его исчезли, он был счастлив.

В обеденный перерыв Александр прибежал в общежитие, заправил свою койку и койки товарищей, подмел пол, одернул занавески. Надев чистую тельняшку, тщательно разгладил складки на рубашке. Проходя сквер, подобрал клочки бумаги, расправил кем-то примятые на клумбе цветы: ему хотелось, чтобы всюду было чисто и празднично.

После обеда, выйдя из столовой, он встретил Лину.

— Понравилось тебе вечером в клубе? — спросил Александр.

— Да, очень, — тихо ответила девушка.

— И мне было очень, очень хорошо...

Лина улыбнулась, глаза ее засияли.

Александру больше ничего и не надо.

— Пойдем к пруду, — предложил он и, не дожидаясь

цвета, сорвался с места и по-мальчишески, с подскоком, побежал.

У пруда лег в тени под ракитой, щекой припал к траве и замер, ожидая: придет или не придет? Он не знал, долго ли пролежал так, потом, еще не видя ее, почувствовал: она шла к нему. Он встал. Его охватило небывалое ликование. Еще никогда так ярко не светило солнце. Еще никогда не было таким бесконечно-просторным небо, не расстилались бескрайним пахучим ковром луга. Это ему и ей кивают зелеными верхушками кудрявые березы. Это их зовет в дальний полет крылатый орел, скрываясь за белыми облаками.

Лина спускалась по зеленому пригорку, светловолосая, в белоснежном халате, вся освещенная солнцем. Такой ослепительно чистой он и запомнил ее на всю жизнь.

Александр быстро пошел к ней навстречу.

— День-то, день сегодня какой!

— Да, да... Как хорошо тут!

Взявшись за руки, еще стесняясь друг друга, они стоят рядом, слушая биение сердец.

Еле заметно плывут отраженные в зеркале пруда редкие белые облака. С высокого холма открывается огромный, необозримый простор. В прозрачной дымке зеленеют леса; между ними, извиваясь, сверкают реки Белая и Уфимка. На лугах волнообразно струится серебристый ковыль. Легкий ветер несет оттуда запахи медоносных трав; точно застыли в дреме высокие взгорья и овраги, поросшие вязом, дубом. А вдали под сивой шапкой паровозного дыма и пара — станция Дема. Широкою реку Белую перепоясал, будто синей ажурной мережкой, железнодорожный мост. Вон виднеется переправа через реку на Цыганскую поляну, окруженную дубами-великанами. Там летом, в башкирские праздники сабантуя, веселые, шумные гулянья.

Александр у все здесь любо: и близость Лины, и травы, и пруд, и ракиты, и редкие белые облака, и этот смешной желтоголовый длинноногий одуванчик. Столько вокруг прекрасного, что он дивится, как раньше не замечал его, точно мир преобразился только сегодня.

— Как хорошо! — Он раскинул руки, как крылья. — Сколько простора, свободы — полететь хочется! Вот если бы не война...

Лина грустно улыбнулась:

— Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет в бой... Это из «Фауста».

— Ох, здорово сказано! Конечно, борьбой все достигается. Смотри, Лина, тут кругом исторические места. Пугачев тут воевал. А вон там, за поворотом реки, Чапаев против белых высаживал десант. А там шли на Урал первые рудокопы...

Волнуясь, он говорил о сказочных сокровищах, какие открывает земля советскому человеку.

— А там — большие города. Страсть как хочу скорей попасть в Москву, посмотреть мавзолей, Кремль... Пойти в Третьяковскую галерею.

— А у нас в Ленинграде — Русский музей, Эрмитаж и много других музеев. Хочешь в Ленинград?

— Хочу... Я знаю, Линуся, чьи стихи про белые ночи: «Одна заря сменить другую спешит...»

— Постой, не надо... — вдруг сказала она, строго сдвинув брови.

— Что? — испугался он.

— Не надо про Ленинград... Там погибли мои отец и мать.

Она рассказала о том, как фашисты каждый день обстреливали город. Четыре раза снаряды пробивали каменные стены цеха, где работал отец Лины, разбивали железобетон, кромсали металл, но отец все-таки работал. Когда остановились трамваи, он ходил пешком с Петроградской стороны до своего завода — километров пятнадцать. Потом стал приходить домой все реже и реже, и однажды утром его нашли в обледенелом цехе у токарного станка совсем окоченевшим.

Мать строила оборонные укрепления и тоже пешком ходила рыть окопы, строить дзоты за Невской и Нарвской заставами. А в январе сорок второго года однажды принесли Лине одежду, зарплату матери, паек и сказали, что на Средней Рогатке мать убита осколком снаряда и уже похоронена. Завод взял Лину в свой стационар, где она и пробыла до эвакуации.

Александр слушал девушку, и его мучила совесть: ему тут хорошо с Линой, а в Ленинграде по-прежнему люди в железном кольце блокады, а на фронте идет смертельная борьба.

«Подам заявление в военкомат. Пусть меня добро-

вольцем отправят на фронт. Пора. Сказать ли об этом Лине? Но она подумает, что хвастаюсь. А меня, может, еще и не примут».

— Почему же ты мне до сих пор ничего не рассказывала о родителях? — спросил он девушку.

— Зачем? Хныкать и повсюду говорить о своем горе — это плохо.

— Твои родители — герои! А ты мне еще родней стала.

— Правда? — улыбнулась она, и влажные глаза ее заблестели. — Значит, мы друзья?

— Навсегда-навсегда, — твердо сказал он.

— Вот и хорошо, — вздохнула Лина, — очень хорошо! — И тихо запела тоненьким синичьим голоском:

Ночью и днем только о нем
Думой себя истерзала...

Она пела, глядя куда-то вдаль, а сама с детской настороженностью и любопытством ждала, что еще скажет и как поведет себя Саша. Вот он опять своей рукой коснулся ее руки, взял сначала один ее палец, потом другой, и каждое прикосновение и движение казалось полным значения и смысла.

— Нет, Лина, ты меня дождешься, если захочешь, — сказал он, как бы отвечая на то, о чем пела Лина.

— А ты, Сашок, можешь понять, что говорят мои глаза? — неожиданно спросила она, пристально взглянув на него. — Ведь можно говорить глазами, — а?

— Да, понимаю, — ответил он. — Сказать?

— Скажи, — покраснела она.

— Ты меня спрашиваешь: «Это у нас настоящее? Да?».

— Ой, как здорово угадал! — искренне удивилась она. — А ну ка, угадаю ли я, что отвечают твои глаза? Ты мне отвечаешь: «Да, это настоящее — и навсегда...»

— Ой, правда, Линуся! — сжал он ее руку.

— Да-да-да! Как хорошо, Сашок! — сказала она с сияющими васильковыми глазами. И, помолчав, спросила: — А кем ты хочешь быть?

— Кем? — смутился он. — Да я хочу быть инженером-механиком. Хорошо бы и астрономом, и ботаником тоже не плохо.

— Хватит! — засмеялась она. — Думала, ты серьезно.

— Нет, ты не смейся! Мне еще хотелось бы построить такую машину, чтоб управляла тучами и бурями...

— Ого, какой!

— Да я и музыку люблю. Вот по радио слушал ноктюрн Шопена! Ох, до чего ж хорошо! Мы с Виктором на баяне хотели... Не получается... Люблю я и живопись, и книги. Все-все люблю. И теперь кем захочу, — тем и стану. А Циолковский, Мичурин, Лысенко, думаешь из кого вышли? Только учиться надо! Знаю, учиться трудно, но до чего ж интересно! Только представь себе: институт или университет, аудитории, лаборатории, кафедры, профессора, академики... Каждый час перед тобой открывается что-нибудь новое, да такое, что дух захватывает. И я обещаю тебе — учиться буду много-много, Линуся.

Лина смотрела на него испытующе и ласково:

— А где ты был до колонии?

Он сразу померк:

— Не спрашивай, после скажу.

— Почему не сегодня?

— Сегодня у меня праздник. Особенный день. Понимаешь?

— И вечер вчера?

— И вечер был особенный. Теперь у меня все особенное...

Он хотел еще что-то сказать, но произнес только одно слово:

— Ли-ну-ся...

Не в силах дольше выдержать напряжения счастливой минуты, он вдруг спохватился:

— Ну и чудак же я, честное слово, чудак! Заговорился. А ведь мне надо срочно в сушилку — паровые трубы осмотреть. Ну, до вечера, Линусенька. — И почесался.

Она глубоко вздохнула, глядя ему вслед.

— Какой странный и... и хороший!

На следующий день Александр подал заявление в военкомат.

Глава XXVI

„ПРОСТИ - ПРОЩАЙ“

Наконец сбылась беспокойная, страстная мечта Александра: комиссия признала его годным, Родина зовет и его в бой. Что же, постоять грудью за мать Родину — выше и чести нет! Только жаль расставаться с Линой, будто самое кровное отрывается от сердца.

Они стоят у пруда в эти последние минуты перед его отъездом в военкомат. Зябкий сентябрьский ветерок рябит свинцовую гладь студеной воды. В небе — тревожный крик запоздалых птиц. Кружась на ветру, летят пожелтевшие листья тополя и ракиты.

Александр, стройный, по-военному подтянутый, в черной шинели с блестящими пуговицами. Лина с грустной улыбкой смотрит на него. Вот и конец их встречам и песням.

— Сашенька, как же мы теперь будем?

— Я так думаю, Линуся, будем ждать друг друга... Потом вернусь с победой, и все будет хорошо.

Она строго смотрит ему в глаза:

— Не утешай. Сама все понимаю.

Он опустил глаза, уголки губ его дрогнули.

— Но ты не волнуйся, — продолжала Лина. — Иди и помни: дни и ночи тебя ждать буду. — Она дает свою фотографию. — Возьми и помни меня.

Александр вынул записную книжку, бережно положил туда карточку и вчетверо сложенный лист бумаги.

— А это что? — спросила Лина.

— Характеристика. Расписали меня тут — спасу нет! — И протянул бумагу.

Она прочла вслух:

— «Матросов, Александр Матвеевич, 1924 года рождения, уроженец города Днепропетровска, происходит из семьи рабочего, образование семь групп, русский. В Уфимской детской трудовой колонии зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Работал на мебельной фабрике в качестве слесаря систематически стахановскими методами. За хорошую работу на производстве, отличную учебу в школе и поведение Матросов А. М. с 15 марта по 23 сентября 1942 года был в должности помощника воспитателя. Кроме этого, был избран председателем центральной конфликтной комиссии. Активная работа в учебно-воспитательной части и личное желание Матросова окончательно подготовили его к самостоятельной жизни. Тов. Матросов выдержан, дисциплинирован, умеет правильно строить товарищеские взаимоотношения. Характеристика дана для представления в РККА».

— Так вот какой ты у нас! — ласково и в то же время печально сказала Лина.

— Ну, сама понимаешь, хватили через край...

— Нет, они тебя еще мало знают. Хотя и правду написали, но этого недостаточно. Ты лучше, гораздо лучше!

— Хватит, Лина, а то поссоримся на прощанье... Эх, жаль, что я мало учился и мало знаю! Один мудрец сказал, что и двадцатилетний человек может принести народу такую пользу, что его никогда не забудут, и можно, понимаешь, сто лет прожить без пользы, как гнилушка. Здорóво сказано, — а? И я мог бы уже среднюю школу окончить, в армии был бы полезней, а после армии сразу в институт или в университет. А я что делал? Вспомнить противно.

Он умолк. О чем бы еще самом нужном не позабыть сказать? Но чувств и мыслей так много, что трудно выбрать из них главные. А секунды текут, и волнение растет.

Белые облака, прозрачные и чистые, быстро плывут на юг, чуть прикрывая солнце. Тихо шумят, качаясь, длинные, свисающие к воде полуоголенные ветки ра-

киты. Но вот слышится нарастающий рокот автомобиля. Александр и Лина переглянулись и пошли к машине. Его окружили товарищи, пришедшие проститься. Вот они, друзья испытанные: Чайка, Брызгин, Еремин, братишка Тимоня Щукин.

— Вот какая большая семейка теперь у меня, — говорит Александр Лине. — А был когда-то один-одинешенек.

С озабоченным лицом Четвертов смотрит на ноги Александра.

— Ну, яловые все-таки сапоги взял? То-то, а хотел франтить в хромо-вых. На войну, брат, — не на бал...

В последние дни он отечески заботился о снаряжении новобранца. Были заказаны сапоги яловые, а сапожник взамен их предложил Александру франтоватые хромо-вые. Четвертов запротестовал: яловые на фронте куда удобнее!

— Я вас послушался, Семен Борисович.

Александр растроганно оглядел друзей.

Друзья, друзья! Здесь, в колонии, он обрел вас, вместе с вами учился, работал, мечтал о большой и хорошей жизни. А сколько светлых минут пережито здесь! Да, это он хотел бежать отсюда и думал, что никакие цепи его тут не удержат. А вот разумное, душевное человеческое слово оказалось крепче цепей и удержало его. И трудно теперь уйти от этих родных людей.

— Вот, Саша, и сбылось твое желание, — говорит Виктор Чайка. — Все рвался на фронт, вот и дождался. А нам что же? Как там в песне поется: «Ты прости-прощай, зоренька ясная...»

Лина отвернулась, прикусила губу.

Взволнованный Александр решительно обрывает минуту горького расставания:

— Ну, друзья, до свиданья!

К нему подходит Лидия Власьевна, протягивает ему собственноручно связанные варежки:

— Вот тебе, Сашок, мой подарок на память.

— Самый дорогой подарок, Лидия Власьевна, — говорит Александр. — Руками в этих варежках крепче винтовку буду держать.

Она кладет руку на его плечо:

— До свиданья, Сашенька. Воюй, сынок, за Родину так, чтобы нам, твоим учителям, не было совестно за

тебя. Трудно нам, матерям, провожать вас на войну, но еще трудней... — Она запнулась, но тут же овладела собой: — И нет слов таких, — продолжала Лидия Власьева, — чтобы выразить горе материнское, когда вы не возвращаетесь с поля боя. Но только вы, сыновья наши, можете и должны отстоять нашу Родину. Так пусть же мое материнское слово придаст тебе силы в бою и закалит бесстрашием твое сердце. Иди, сын мой, и побеждай!

Александр целует ее сухонькую, шершавую трудовую руку.

— Обещаю вам, Лидия Власьева, как родной матери, и вам всем, друзья мои, обещаю защищать Родину, не жалея ни сил, ни жизни. Дружбы нашей не посрамлю, и стыдно вам за меня не будет.

Он порывисто обнимает Тимошку:

— Хорошо учись, братишка. Будь человеком. Да альбом героев не забудь, пополняй.

Тимошка мигает глазами. Он хотел улыбнуться, но по щеке скатывается слеза.

Александр обнимает всех по очереди. Лину задерживает чуть дольше, чем других. Потом вскакивает в машину. Рванувшись вперед, машина быстро несется к городу.

Часть вторая



Глава I

ВОЕННОЕ ПЕХОТНОЕ УЧИЛИЩЕ

В город Краснохолм Александр ехал с радостью. Его назначили в военное пехотное училище: быть ему офицером. Раньше об этом он даже и мечтать не смел. Это он-то, бывший «уркаган»¹ будет офицером! Он то и дело вытаскивал из кармана и перечитывал командировочное удостоверение. Правда, из-за училища он не сразу попадет на фронт, зато, обученный, принесет больше пользы.

В училище Александр с волнением надел военную форму: суконную гимнастерку, синие диагоналевые полу-галифе, сапоги, шинель, шапку-ушанку — все новенькое и еще пахнет нафталином.

— В этой форме даже и в Москве щегольнуть не стыдно, а? — спрашивает он шутливо тезку своего, Александра Воронова.

Воронов тоже охорашивается.

— Точно! А иная девушка увидит — сразу влюбится.

— Ну уж и влюбится!.. — Матросов краснеет: нет, ему бы только Лине хоть на миг показаться.

С Вороновым он познакомился в поезде. Вначале этот высокий стройный весельчак с чуть раскосыми на-смешливыми черными глазами не понравился Матросову. Александр считал, что все красивые и развязные

¹ Уркаган — беспризорник.

люди глуповаты. Потом оказалось, что Воронов не развязен, он общителен от избытка жизнерадостности. Да и поучиться у него было чему. Воронов окончил десятилетку, был начитан. Он неплохо разбирался в музыке, живописи, истории и мечтал стать философом.

— Жаль, война помешала, — говорил Воронов, — а то я уже студентом был бы. Десятилетку окончил хорошо, подал заявление в вуз, и вдруг — осечка! Будто снег на голову — повестка из военкомата...

— Студентом, говоришь? — с завистью спросил Матросов.

— Да, уже слушал бы лекции, научные дисциплины изучал. Это абсолютно точно... Что ж, старик, повоюем, а?

— Вот какой ты!..

Нравилось Матросову и то, что Воронов, как и он, любил песни, знал знаменитых путешественников. Матросов все чаще заговаривал с ним.

Однажды во время чаепития Матросов поднял жестяную кружку и сказал запросто:

— Ну, веселый философ, выпьем за нашу дружбу, — а?

Воронов охотно чокнулся задребезжавшей посудиной.

Потом Матросов подружился еще с Макеевым и Дарбадаевым.

Александр Макеев хмур, ворчлив, тшедушен, внешне мало привлекателен, но дружбу ценил выше всего. Только за это Матросов и мирился с его строптивым характером. И когда Воронов посоветовал не дружить с Макеевым, Матросов возразил:

— По-моему, правильно кто-то сказал: «Кто ищет друзей без недостатков, тот рискует остаться без друзей». Посмотрим, а настоящая испытка — в бою.

Воронов не стал возражать ему.

Башкир Михаил Дарбадаев плечист, высок, подвижен, и глаза у него смелые и быстрые, как у его земляка Салавата Юлаева, на которого Михаилу хотелось походить. Его большие жилистые руки комбайнера всюду искали работы.

— Это подходящий, — сказал Матросов Воронову.

Щедро сердце на дружбу в юную пору, когда оно переполнено горячими чувствами и жизнь только начинает открываться, когда цель у друзей одна и дорога общая.

Александр вообще не мог жить без друзей. Но каждого нового человека он разглядывал пытливо: а ну, каков он? Чему может он научить, на что способен, что из него выйдет?

— Вот уже и есть у нас команда, — шутил Матросов, довольно потирая руки. — Везет мне на друзей. В колонии много их осталось, а тут уже двух Сашек и Мишку подкинуло.

— Сам виноват, — смеялся Дарбадаев. — Совсем свойский парень.

Но дружба их вскоре подверглась испытанию.

Друзей назначили в стрелковую роту.

Матросов, получив автомат, сразу разобрал его до последней детали. Только подумать, у него в руках настоящее оружие! Давно ли он вооружался рогаткой и деревянными мечами и саблями? Теперь он не просто человек с таким хорошим оружием, но воин, защитник Родины! И хотелось показать, что это оружие ему по плечу, что разобрать автомат для него, слесаря, не так уж трудно.

Макеев насмешливо изумился такой дерзости:

— Больно прыткий ты. Оно, скажем, разобрать-то всякий умеет. А соберет — дядя?

— Сам соберу! — сказал Матросов и весело подмигнул. — Ну и машинка же! Эта не подведет!

— Да подвести-то может не она, — намекнул Макеев.

Матросов значительно взглянул на него и стал собирать автомат.

Сроки учебы ускорены. Программу училища надо одолеть в пять раз быстрее, чем в мирное время. Фронту нужны командиры. Время грозное: в боях решается судьба отчизны.

Подразделения курсантов соревновались в учебе. Успех подразделения зависел от каждого курсанта.

На стрельбищах Макеев и Дарбадаев плохо стреляли. Матросов недовольно хмурился. Он подал заявление комсору роты о вступлении в комсомол и старался, чтоб не только у него, но и во всем подразделении все шло хорошо, а друзья портили дело. Он не вытерпел, язвительно заметил:

— Автомат — не лейка, мишень — не огород; что лжете зря?

— Да мне куда легче бить фашиста оглоблей по

башке. Автомат, понимаешь, как перышко. Я его в руках не чувствую, — оправдывался Дарбадаев.

Макеев злобно накинулся на Матросова:

— Какое тебе дело, как я стреляю? Чего взъелся? А еще друг.

— Потому, тезка, и взъелся, что друг. Роту назад тянете, что же мне — веселиться, что дружки мои всех назад потянули? Да?

— Невыносимый ты человек! — выпалил Макеев. — От тебя и в казарме нет покоя. Замучил своими правилами: громко не говори и сапогами не стучи, когда спят, будто тут дворяне. Под ноги не плюй и ничего не бросай, листы книги не загибай, каждую вещь положи на свое место. Все делай так, чтоб после тебя не переделывали. Словом, придира и въедливый, как перец.

За Матросова вступился Воронов:

— Что же, тезка, эти правила полезные.

А Матросов уже смеется, потирая руки и вспоминая, как и он сам когда-то называл колонийского мастера придирой.

— А все-таки ты, Макеша, запомнил правила, запомнил! Жаришь их наизусть! Вот еще одно забыл: заправлять койку надо так, чтоб и она улыбалась.

— Ты сам не умеешь делать повороты на ходу! — злобно упрекнул Макеев. — На смотре ты опозоришь всю роту.

— А это верно, тезка, — сознался Матросов. — Не я буду, если не подтянусь.

— Мы себя еще покажем, — не унимался Макеев. — Не робкие, в пух и прах будем фашистов бить.

— «Не робкие»! Этого мало, — опять не стерпел Матросов. — Командиры говорят, что успех только тогда обеспечен, когда смелость и отвага сочетаются со знанием дела. Ясно, Макеша? Значит, пользы от нас больше, если лучше владеем оружием. Верно? Значит, интерес у нас общий и дружба должна помогать во всем. А плохую дружбу — по шапке.

— Дело хозяйское, — проворчал Макеев.

— Да чего ты злишься? — нахмурился Матросов. — Или мне надо было тебя похвалить, что плохо стреляешь? Нет, тезка, по-моему, друг должен помочь другу стать лучше, чем он есть, и говорить в глаза беспощадную правду. Так я понимаю.

— Правильно, — засмеялись Воронов и Дарбадаев.

Макеев надулся и до вечера не разговаривал с ними. Друзей это не удивило. Иногда, дуясь, он мог не разговаривать по нескольку дней.

Вечером Матросов получил хорошие письма из колонии и стал весело рассказывать Воронову и Дарбадаеву о колониjsких друзьях.

Макеев ходил поодаль, громко кряхтел, сопел и шумно вздыхал. Как и все слабовольные люди, он падал духом в минуты неприятности, горя. По ночам он мешал спать соседям своими вздохами, стонами и кряхтением.

В часы самоподготовки Матросов склонился над книгой и тетрадкой и сидел дольше других. Потом, позабыв про ссору с Макеевым, обратился к нему:

— Тезка, бьюсь, бьюсь и не пойму. Помоги, Макеша. Вот азимут¹... Какое расстояние звезды от меридиана? Угловое?.. И как пользоваться азимутом в лесистой местности при тумане?

Макеев недоверчиво косится, но, увидев ясный, бесхитростный взгляд Александра, смущенно отвечает:

— Не знаю.

— Ладно! Сбегаю к дяде. В третьей роте — агроном-топограф. Душевный усац, знающий!

— Ну, что ты! — не глядя на Матросова, говорит Макеев. — Не ходи! Если что в башку мою не лезет, я бросаю. В другой раз пойму, да и совестно к соседям бегать из-за всякого азимута. Завтра преподаватель разъяснит.

— Все равно не усну. Дело не довел до конца.

— Ну и непоседа же! — дивятся друзья. — Вчера ходил в первую роту спрашивать физика, можно ли использовать атомную энергию для полета на другие планеты. Третьего дня разузнал у инженера в шестой роте об устройстве паровой турбины. Прямо непоседа!

Вскоре Матросов возвращается, весело размахивая газетами.

— Ну и народ, какой народ! Вот про нашу чкалов-

¹ Азимут — угол, образуемый между направлением на север и направлением на какой-нибудь земной предмет. Наметив по компасу нужный азимут, можно двигаться в избранном направлении.

скую землячку напечатано! Вот она как пишет, наша колхозница Зубкова Агафья Ивановна: «...Муж мой сражается на фронте, а я хочу ему и нашей Красной Армии помочь быстрее разбить врага. Все свои сбережения, заработанные честным трудом в колхозе, я отдаю на строительство танковой колонны имени Чкалова. Я внесла в Госбанк сто тысяч рублей наличными деньгами. Пусть танк, построенный на мои трудовые средства, беспощадно истребляет фашистов и несет освобождение нашим сестрам и братьям»... Понимаете, вся газета заполнена такими письмами! Вот это здорово! Как одна большая семья...

— Неугомонный, спать ложись! — говорит Воронов.

— Ну, понимаешь, до чего ж здорово! — раздеваясь, продолжает Матросов. — В третьей роте газеты достал, о применении азимута узнал...

— Прямо одно беспокойство с тобой, Сашка, — примирительно усмехается Макеев. — Сам петушишься и людей баламутишь. То ты бегаешь за советом, то к тебе бегут...

— Спешу, Макеша, подучиться. На фронте некогда будет, а воевать надо умело, чтоб скорей побить фашистов. — И, помолчав, будто про себя, добавил: — Будь он проклят, этот Шикльгрубер!¹ Сколько горя людям принес!...

А учеба давалась подчас так трудно, что курсантам хотелось скорее попасть на фронт, будто там было легче. И верно, вначале Матросов плохо делал в строю повороты на ходу. Его это очень угнетало. В свободное от занятий время он один, подавая себе команду, шагал, делал повороты, упорно добиваясь четкости движений, пока не научился держаться в строю образцово. Но «это были цветики», как потом говорил он, посмеиваясь над самим собой.

Особенно изматывали занятия по тактической подготовке, проводимые в условиях, похожих на фронтовые. Увязая в сугробах при двадцати- и тридцатиградусных морозах, делали перебежки, стреляли, подолгу лежали в снегу. Надо не только себя правильно вести в бою, но и умело руководить доверенным тебе подразделением. А для этого нужны знания, опыт, личные боевые каче-

¹ Подлинная фамилия Гитлера.

ства. Не знаешь топографии местности, не умеешь читать карту, без которой командир, как человек без воздуха, — значит, не сможешь примениться к местности или заведешь подразделение не туда, куда следует, погубишь себя и людей, судьба которых доверена тебе. Да надо еще изучать уставы, историю военного искусства с древних времен и до последних дней и другие науки.

В училище большая библиотека. Матросов жадно читал и записывал в свои конспекты все услышанное на занятиях и вычитанное в учебниках. Он настойчиво изучал военное дело.

По вечерам он часто расспрашивал участника многих сражений, преподавателя капитана Пахомова о его боевых делах.

— Знание, умение, отвага — вот основа успеха, — любил повторять Пахомов. И рассказывал о многих случаях, когда бойцам его разведгруппы в самых трудных условиях помогали именно эти качества.

— Буду разведчиком! — возбужденно говорил Матросов. — В тылу врага такие дела можно развернуть, что любо-дорого...

Капитан хмурился и терпеливо разъяснял:

— Подвиг — не озорство, а хладнокровный, тяжелый и умелый труд...

После таких бесед Александр еще настойчивее изучал боевую технику, военные уставы и наставления. И при первых неудачах и когда было особенно трудно, он твердил себе: «Надо вырабатывать в себе упорство, выдержку, закалку. Эти качества не раз помогали мне и в колонии». Да, многое из колониальной выучки помогло ему здесь, в деле военном.

Начальник училища полковник Рябченко просматривал списки курсантов — отличников боевой и политической подготовки — перед занесением их на Доску почета.

— Это который Матросов? Одиннадцатой роты?

— Точно, товарищ полковник, — отвечает начальник учебной части.

— Отличный будет командир!

У Доски почета толпятся курсанты:

— Ого, здесь и Матросов!

— Это какой?

— Да тот, что в нашей роте про азимут спрашивал.

— Это наш, — гордо возглашает Дарбадаев. — Друг мой!

В училище Матросов находил время для участия в клубной самодеятельности: хлопотал о спектаклях, пел в хоре. Там он обрел еще одного друга — Петра Антощенко. Этот медлительный чернобровый украинец пел так задушевно, что Матросов заслушивался. Как-то он спросил Петра:

— Ты про что думаешь, когда поешь?

— Про Лесю, жинку, — ответил Петр.

— А какой ты области?

— Та Запорожской же. Недалечко от Днепрогэса живу. Ты, може, и сам слышал — в Москве на сельскохозяйственной выставке наш колхоз «Червоный партизан» золотую медаль получил.

— «Червоный партизан»? — вскрикнул Матросов. — Петро, да я же там был!.. А ты про Данько слышал?

— Про кого?

— Сказка такая... Отчего полевой мак цветет...

— Смотри ж ты! — удивился Петр. — Та дидуса наш мне рассказывал...

— А как деда звать?

— Та Макар же.

— И это мы с тобой в саду дрались?

— Та вже ж, — засмеялся Антощенко.

Матросов порывисто схватил руку Антощенко и сжал ее до хруста, потом крепко обнял его:

— Петро, запомни, друг ты мне по гроб! Родней брата! Ну как же это мы не узнали друг друга? Смотри, и усики чернеют уже. — Помню, дед гордился тобой: ты пионером больше всех колосков насбирал и ховрашков поймал. А как дед? Я, Петрусь, деда твоего в сердце ношу... Жив он?

— Та живой... был живой... а теперь, може, и нет, — ответил Антощенко, до глубины души растроганный неожиданной встречей. Потом рассказал: он с отцом бежал от фашистов с Украины, а мать, братишки Василько и Олесь, жена Леся и дед остались. Теперь там враги хозяйничают, и от родных нет вестей.

И Матросов, волнуясь, рассказал Петру о памятной встрече с дедом Макаром у Днепра, в колхозном саду.

— Век буду помнить его. Это замечательный дед, верь совести! Людей понимать и любить он меня научил, Петро!..

— Смотри ж ты, где встретились! — изумился Антощенко. — Ну, как же я тебя раньше не признал? Через дидусю мы с тобой прямо-таки родня. А с родней же всегда легче. Отвоюемся, поедem к нам, Сашко. Я тебя закормлю кавунами та виноградом и песен напиваемся вволюшку.

— Обязательно поедem, Петрусь.

Петро Антощенко вдруг нахмурился, пристально посмотрел Матросову в глаза, вздохнул и тихо, доверительно сказал:

— Эге, Сашко, про Лесю вот и спиваю... Ох, Сашко, коли б ты знал, какая у меня жинка Леся! Краше ее по всему Поднепровью не было. Первая песенница! Заспивает она — и замрет сердце твое... Неначе и звезды слушают ее, и степь, и Днепро... Эх, Леся, Леся!.. А теперь, може, палачи-катюги рвут ее тело белое або в неметчину в рабство погнали ее. Сам знаешь, как враг лютует. По всей Украине руины и виселицы. — Он мучительно скривился. — А я тут с тобою песни спиваю... Спиваю, Сашко, песни, а сердце мое горит — стерпу нема. Спиваю и плачу кровавыми слезами...

Матросов порывисто обнял его, как брата:

— Не надо, Петро, терзать себя. Не надо. У меня, друг, тоже... Лина есть, и высказать не могу, как тоскую по ней...

Антощенко гордо вскинул головой:

— Та чего я тут развел тоску-кручину! Только зря тебя расстраиваю.

— Нет, Петрусь, ты мне все-все говори. А я — тебе. Хорошо?

Так началась эта дружба.

Вскоре Антощенко писал домой письмо. Он мало верил, что оно дойдет до родных, но не писать не мог. Впрочем, был слух, что наши летчики отправляли солдатские письма партизанам, воюющим в тылу врага, а партизаны как-то доставляли эти письма адресатам.

«Дорогие дидусю, — писал он, — у меня здесь есть друг, такой же боевой, верный и кровный, каким всегда был и есть для вас дид Панас. Правда, вы прошли со

своим боевым другом всю гражданскую войну и били немцев, петлюровцев, белогвардейцев, а мы дружить только начинаем, но я верю: и наша боевая дружба будет такая, что в огонь и воду пойдем один за другого. А главное — друг мой есть тот самый Сашко Матросов, который бродячим хлопчиком забрался до вас в сад, а вы, дидусю, рассказали ему сказку «Від чого мак цвіте»... Так тот мой друг Сашко добрую память о вас, дидусю, носит в своем сердце»...



К стр. 202.

Глава II

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

И вот пришла долгожданная пора. Комсомольское собрание обсуждало заявление Матросова о принятии в комсомол. Александр волновался: впервые он должен говорить о себе, о жизни своей перед таким большим, многолюдным собранием.

Волнения и тревоги Александра возросли, когда уже был назначен день и час собрания, на котором его будут принимать. Сколько он мечтал об этом часе! А вдруг его не примут? Последнюю ночь он почти не спал, думал:

«Ленинский коммунистический союз молодежи... Ленинский!.. Это значит — быть в первых рядах борцов за счастье людей на земле... И вот вступаю... Но что я скажу им? Как я скажу этим хорошим людям, что я до колонии, вместо того чтобы учиться, бродяжничал и пропадаю? Я скажу им всю правду...»

Александр хотел произнести на собрании такую горячую, проникновенную речь, которая открыла бы всю глубину его сердца. Но говорить на собрании оказалось труднее, чем он предполагал.

Он прошел раньше всех, сел в задних рядах и вдруг почувствовал себя тут совсем затерявшимся, незаметным и был удивлен, когда на весь притихший зал прозвучала его фамилия.

— Матросов!..

Его вызвали к столу президиума. Поднимаясь по ступенькам на эстраду, Александр споткнулся, смутился еще больше. Ему предложили рассказать о себе.

— Родился в семье рабочего, в Днепропетровске, — начал Матросов. — Перед призывом на военную службу воспитывался в Уфимской трудовой колонии. А как жил до колонии, — стыдно вспомнить. Как крот в черной норе. . .

Он опустил глаза, умолк. Воротник, словно тиски, сжимал горло. Нестерпимая тишина торопила его, а он не знал, что еще сказать.

Послышался ободряющий голос Петра Антощенко:

— Смелее говори, Сашко! И мы не графы какие, — все в горе купаны.

— Если б можно было все повернуть назад, я жил бы по-иному, да жаль, — нельзя. Вот и время упустил для учебы, прямо волосы на себе рвал бы, так жаль. . . Всеми силами стараюсь наверстать упущенное и вижу — это вполне возможно, только сам не ленись. Одно я твердо знаю, что меня, как траву придорожную, затоптали бы в любой зарубежной стране. . .

Он рукой стер со лба пот.

— Почему вступаешь в комсомол? — спросили его.

Матросов даже удивился такому простому вопросу. Но тут же он понял, как трудно на него ответить: в ответе должен содержаться весь смысл жизни.

— Как почему? — смутился он. — Чтобы стать лучше, чтоб сделаться активным борцом, чтобы. . .

— Смелей, смелей, товарищ!

— Я так понимаю: комсомол — первый помощник партии. А партия руководит борьбой за коммунизм и счастье всех трудящихся. Пусть партия, комсомол и меня считают надежным бойцом. Верьте совести, не подведу!

— Почему до сих пор не вступал в комсомол?

— Не имел права, — ответил Матросов. — В комсомол нельзя идти с плохими показателями. Комсомолец — передовой, а я отставал. Теперь я немного подтянулся и, верьте совести, буду стараться все делать по-комсомольски.

— А как у тебя идет боевая и политическая подготовка? — спросил комсорг. — И что, по-твоему, сейчас самое главное для советского воина?

Матросов смахнул ладонью пот со лба.

— Самое главное — овладеть воинским мастерством, воевать умело, бесстрашно и победить врага.

Больше вопросов не было.

Первым в прениях выступил Антощенко:

— З мене оратор, як з пробки пуля, а молчать не можу. Я так понимаю: як сирота плаче, никто не баче. Натерпелся и Матросов, когда бродяжил. Теперь сознание у него есть, и гадаю — боец будет добрый. Предлагаю принять.

Попросил слова Макеев:

— Больно характерец у Матросова колючий. То он языком, как шилом, колет, а тут и говорить не может.

— По существу говори! — крикнул Воронов.

— Он в строю плохо держится. Повороты на ходу...

— Ай-ай, какой ты человек, Макеев! — с места выкрикнул Дарбадаев. — Зануда человек... Слыхали уже про повороты...

Быстро поднялся Воронов.

— Мне разрешите... — И взмахнул кулаком. — Товарищи, я понимаю, дело очень серьезное. В боевые свои ряды принимаем нового товарища. И я думаю о главном: достоин ли Матросов быть в наших рядах? Можно ли на него положиться? Не подведет ли в бою? Не опочит ли комсомол? Нет, я верю, Матросов не подведет, и готов с ним идти на самое опасное дело. Мне нравится его прямота, честность, искренность. Он тесно связан с коллективом, у него много друзей. Он всегда подтянут, аккуратен. Усиленно учится. Конечно, ему, как и всем нам, надо еще много учиться. Что же, комсомол будет ему хорошей школой. Предлагаю принять.

Матросова приняли в комсомол единогласно.

Вскоре в политотделе ему вручили комсомольский билет. Выйдя из политотдела, он долго с волнением рассматривал маленькую светло-серую книжицу, перечитывал написанное в ней, вдумываясь в каждое слово: «Комсомольский билет № 17251590. Матросов Александр Матвеевич. Год рождения — 1924. Время вступления в ВЛКСМ — ноябрь 1942 г. Наименование организации, выдавшей билет, — политотдел Краснохолмского ВПУ. 30/XI 1942 г.». А сверху на первой странице — ордена: Боевого и Трудового Красного Знамени. Ордена, заслуженные комсомолом в боях и в труде.

И будто ничего особенного не произошло и он, Мат-

росов, оставался прежним, но вместе с тем произошло многое. Он словно повзрослел, стал серьезнее относиться к себе, к людям, к своим обязанностям. Теперь ему еще больше хотелось активно участвовать в большом деле, скорее попасть на фронт.

В середине января училище получило приказ: часть личного состава отправить на фронт. Это была самая напряженная пора в ходе войны: завершалась решающая великая Сталинградская битва, готовилось наступление на всех фронтах.

Матросова не включили в маршевую роту. Он очень огорчился и подал рапорт с просьбой послать и его на фронт.

Начальник училища вызвал Матросова к себе.

Печатая шаг, Александр подошел к начальнику, выгнувшись, стукнул каблуками и вскинул руку:

— Товарищ полковник, курсант Матросов по вашему приказанию прибыл.

Полковник Рябченко хмуро полюбовался его выправкой и строго спросил:

— Ну, в чем дело? Без вас у меня хлопот хватает. На фронт хотите? А чем вы лучше других? Все хотят.

Матросов растерялся было, не ожидая такого вопроса. Конечно, он не лучше других; как же теперь убедить начальника?

— Разрешите доложить... Я так понимаю обстановку, товарищ полковник: Сталинград отбили, на всех фронтах сломили гитлеровцев, теперь только их бить и бить не переставая, чтобы с них перья летели! Нельзя давать им передышки. И на фронте сейчас каждый боец важнее, чем после. Включите меня в маршевую роту, товарищ полковник, прошу вас, очень прошу...

Начальник слушал внимательно, взвешивая слова Матросова. Потом лицо его прояснилось.

Матросов почувствовал себя увереннее.

— Каждый советский человек хочет что-нибудь сделать, чтоб скорее побить врага. Везде, на заводах и в колхозах, люди дни и ночи работают. Верьте совести, я не подведу.

— Добро, Матросов! Я вас понимаю и верю, что меня не подведете и комсомольскую честь не уроните... А меня, думаете, не тянет туда? — спросил полковник. — Старик, думаете? И я бы так фашистов бил, чтоб с них

перья летели! — И, скупой улыбнувшись, решил: — Хорошо. Включу вас в маршевую роту. Идите! Желаю боевых успехов.

Через несколько дней маршевые роты курсантов Краснохолмского военного пехотного училища стройно шагали на станцию. Над глубокими и чистыми январскими снегами гремела призывная грозная песня:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

В звонких голосах запевал слышался и голос Матросова:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война.

Глава III

НА ФРОНТ!

Быстро мчится воинский эшелон. Играет баян, летит солдатская песня навстречу бескрайним заснеженным полям и лесам, деревням и селам. Стремительно пролетает эшелон полустанки и станции, запруженные людьми, вагонами, машинами.

И солдату сдается, будто все раздвигается перед ним, уступая дорогу.

Приглядишься — и видишь: спешат на запад, на фронт, груженные поезда, везут боеприпасы, продовольствие, одежду. На платформах, в чехлах под брезентами, как мамонты, опустили грозные хоботы орудия, танки. Дни и ночи поезда бегут на запад, на фронт.

В этом великом напряжении всей страны, в движении машин и людей — неукротимое стремление миллионов человеческих волей, спаянных и направленных к единой цели всеобъемлющим разумом партии.

Матросов задумчиво смотрит в окно, мысленно повторяя мудрые слова: «Великая энергия рождается для великой цели». Да, Родина, партия пробудили великую силу в народе и указали ему благороднейшую цель освобождения страны и всего мира от фашистского варварства. И поезда мчат фронту снаряды, одежду, хлеб — все, что сделали для победы натруженные руки советских людей.

На стыках рельсов стучат колеса. Тусклый свет пасмурного дня едва проникает сквозь обледенелые стекла.

Уже перепеты все песни, уgomонился вихрастый гармонист Пашка Костылев. Бойцы в полумраке с увлечением играют в шахматы, домино. Только Петр Антощенко, сидя у окна против Матросова, все еще тихо поет грустные украинские песни.

Перед Матросовым — книга. Он уже прочел ее и теперь листает, просматривая особенно понравившиеся места, думает. Ему хочется поделиться своими мыслями с Антощенко, но, взглянув на него, Матросов невольно улыбается.

Петр, завороженно глядя куда-то вдаль и покачивая головой, шепчет:

Ой, сердце все лыне в той гай золотый,
Де Леся спивала про щастя и долю.
Ой, витре, мий брате, мий виснык крылатый,
Леты ж ты по морю, по чистому полю,
Скажи мой Леси, що вирно люблю.

Заметив, что Матросов внимательно слушает его, Петро замолк и опустил глаза.

— Чьи это стихи, Петро?

— Та ничьи.

— Как ничьи? Хорошие — и ничьи?

— Та не сердься, друже, мой вирши.

— Ох, Антошка, да ты поэт!

— Та не смийся... То я про Лесю нарочно так гладенько складаю слова, щоб их спивать можно было.

— Ну, еще читай!

— А ты, часом, не шуткуешь?

— Вот чудак! Да просто ж хорошо! Читай!

Антощенко читает стихи о Лесе. Глаза его влажнеют, блестят, губы по-детски вздрагивают. Кончив, он отвернулся.

— Ну, что ж ты, Петрусь? — участливо спросил Александр. — Такие хорошие стихи, а ты насупился!

— Знал бы ты, Сашко, як важко сердцу... — тихо говорит Антощенко. — Чую, фашист-зверюга издевается над Лесей, над семьей моей... А може, и замучили уже, а я тут вирши складаю.

Матросов опускает глаза, думает. Какие найти слова, чтобы утешить друга?

Поезд подходит к большой станции, забитой эшелонами и людьми.

— Где чайник? За кипятком пойду.

— Не твой черед, Сашка, — мой, — говорит Костылев.

— Ничего. Доброе дело можно делать и вне очереди.

Матросов любит ходить на станцию: можно увидеть много незнакомых людей, узнать последнюю оперативную сводку, добыть газеты.

С чайником он бежит к вокзалу. У витрины — толпа. Люди читают сводку. Он приподнимается на носки, чтобы лучше видеть. Но толпа довольно уже гудит: «Прорвана блокада!.. Прорвана блокада Ленинграда!»... Прочитав сводку, Матросов улыбается соседу:

— Хорошо! Освобождают Ленинград, и на всех фронтах разворачиваются большие дела!

Довольный, он подбегает к кубу с кипятком, но тут непорядок. В клубящемся облаке пара толпятся люди, отталкивают друг друга, обжигаясь, проливая кипяток.

Матросов с минуту смотрит на все это и, не вытерпев, вмешивается. Он еще под впечатлением сводки: и как эти люди не понимают, что надо все делать организовано, дружно?

— Ну-ка, военные, покажем пример, — властно говорит Александр. — Так дело не пойдет. Кипятку не возьмем и ошпарим друг друга. Стройся в очередь! Ну, кому говорю? Становись в затылок.

Матросов быстро наводит порядок. Люди благодарят его, унося кипяток.

— Молодец! Это по-нашему, по-военному, — одобряет девушка в ватнике, туго затянутом ремнем. Обожженное морозными ветрами лицо ее светится улыбкой, а в черных глазах — веселый огонек.

Матросов вздрагивает от удивления: где он видел этот вздернутый нос?

— Мы с вами будто где-то встречались?

— Я из Ленинграда, — отвечает девушка.

— Из Ленинграда?

— Ну да, я же сказала, — из Ленинграда.

Порывисто сдвинув шапку-ушанку на затылок, девушка делится своей радостью:

— Сводку знаете? Войска Волховского и Ленинградского фронтов прорвали блокаду Ленинграда! Теперь бьют фашистов в Синявинских болотах. Вот хорошо-то!



— Знаю: я только что прочел сводку, — улыбнулся Матросов и, подумав, спросил: — Скажите, как вас зовут?

— Людмила Чижова.

— Люда? — почти вскрикнул Александр.

— Ну да! — засмеялась девушка. — Сержант ОЗАДа. Понимаете? Отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Вон вагоны в конце вашего эшелона. Чего так уставились? Не видали девушек сержантов, что ли?

— Видать-то видал, да не таких... А вы, товарищ сержант, не были на Днепропетровщине?

Девушка всмотрелась в Матросова, вдруг просияла и обхватила его шею руками:

— Сашка! Сашенька! Да я ж думала, что ты совсем пропал. Да как же я тебя сразу не узнала? Помнишь, как мы с тобой в детдоме альбом разрисовывали?

— Ну вот, — стыдливо и осторожно отстраняется Матросов от Люды, — а говоришь «я из Ленинграда».

— А как же, Сашенька? Ведь я студентка Ленинградского университета. Понимаешь?

Они настолько увлеклись воспоминаниями, что и не заметили, как подошли к вагонам. Друзья спешили поговорить обо всем, боясь, что судьба, так щедро наградившая их этой неожиданной встречей, так же быстро и оборвет ее.

— Ну, какой же я индюк! — смеется Александр. — Как же я не заметил, как же я не почувствовал, что к нашему эшелону прицепили ваш ОЗАД и что ты, Людка, едешь со мной в одном поезде! Говоришь, — студентка? Но почему же ты тут?

— Да я бы ни за что не уехала из Ленинграда, как бы ни бомбили его, как бы ни обстреливали... Жаль, понимаешь, жаль оставлять его! Только надо было, заставили эвакуироваться.

Александр слушает ее, жадно ловя каждое слово. Но вот уже свистнул паровоз.

В черных глазах Люды искрится ласковый огонек:

— Ты ж скорей приходи к нам! Девчата рады будут, ой, как рады! Петь будем, чай пить. Сухари у нас мировые. Ох, и запируем, Сашенька!

— Спасибо, приду.

— Может, в Москве будем, по музеям вместе походим, — говорит девушка. — А в Ленинграде после войны встретимся — весь город обойдем, Сашенька...

Эшелон, дрогнув, тихо тронулся.

— Не прощаюсь, — махнула Люда рукой. — Увидимся на следующей станции. Ждать буду, приходи! — И побежала к своему вагону.

Матросов вскочил в вагон, запыхавшийся и радостный.

— Почему тихо? Дружки мои, ну и хорошую же я сводку читал!

— Сводка сводкой, — усмехается Воронов, — мы боялись, что совсем приворожила тебя эта черноглазая в ушанке, с наганом на боку. Думали, отстанешь.

— Э, да у него и кипяток ледком покрывлся.

— Какая девушка, хлопцы! — восторгается Матросов. — Какая девушка! Смелая, обстрелянная! Настоящая ленинградка! И, оказывается, моя старая знакомая. Приглашала к ним в вагон.

— Тебя одного или всех? — спросил Дарбадаев. —

Что ж, пойдём, — согласился он, подумав. — Только и моя Магрифа не хуже. Эх, на коне летит, как птица! У нас нет плохих девушек...

— А Люда песни спивает? — спросил Антощенко.

— Ещё как!

— Можно и с ней поспивать, — вздохнул Петро. — Хотя наперед знаю: никто на свете не может петь краше моей Леси. Бывало, на човне плывем по Днепру, поем, и песня летит на всю степь, и ту песню слушают звезды и Днипро.

Матросов снял ушанку, потер лоб ладонью.

— Слушай, хлопцы, сводку. Сообщение Совинформбюро.

— Сталинград как? — не вытерпел Воронов.

— Там наши добивают окруженных гитлеровцев. А в Ленинграде прорвана блокада.

Все вскочили с полок, окружили Матросова, зашумели в радостном возбуждении. Кто-то крикнул «ура».

— Везде наши наступают и бьют фашистов, — взволнованно говорит Матросов. — На Юго-Западном фронте наши заняли Белую Калитву, Каменск, форсировали Северный Донец. Под Великими Луками фашистов тоже сбили и погнали; бьют и гонят на Северо-Кавказском и на Воронежском. Заняли города Валуйки, Уразово. Полностью окружена вражеская группировка в районе Каменка — Россошь. Сейчас она уничтожается. А в тылах у гитлеровцев везде орудуют наши партизаны. Скорей бы на фронт! — потирает он руки.

Неудержимо мчится эшелон. Часто стучат колеса на стыках рельсов. Вот поезд проскочил несколько станций и полустанков. «Может, так без остановки доедем до фронта?» — думает Александр. Укрепив на столике зажженную свечу, он садится писать письма Лине, воспитателю Четвертову и Тимошке.

Перед отъездом из училища он получил письма от Брызгина и Чайки. Они уже в армии. Еремин стал мастером на фабрике. «А как там Тимошка, Тимоня? Эх ты, братишка мой курносый, писал, что стал теперь стахановцем... И что делает сейчас Лина? Думает ли обо мне?»

Дробно стучат на стыках колеса. Мчится эшелон, огнями рассекая черноту ночи. Склонясь у свечи, пишет Александр.

Костылеву не спится, он ворочается на жестких досках.

— Ты все пишешь? — спрашивает он. — Так на станции пойдем к твоей ленинградке? Сам знаешь, Саша, нет у меня девушки, которая сказала бы мне ласковое слово.

Поезд замедляет ход. Люди прильнули к окнам. Световые вспышки выхватывают из темноты огромные черные силуэты заводских труб, корпусов. Вот эшелон остановился, и бойцы кинулись к выходу. Первым спрыгнул с подножки Костылев.

— Где же зенитный дивизион, Сашка?

— Тише ты, индюк! Это военная тайна.

Костылев нетерпеливо схватил Матросова за руку, и они быстро пошли в конец эшелона.

Глава IV

ФИЛИ

Синий тусклый свет фонарей слабо освещал рельсы, вагоны. Станция, видно, большая: много эшелонов, разноголосые гудки паровозов. В конце поезда, куда Матросов вел своих друзей, играл баян. В синем полумраке навстречу шла девушка в ватнике. Матросов сразу узнал ее:

— Люда!

— Саша, ну скорей же! — подбежала Люда.

— Это какая станция?

— Станция Фили. Вон Москва, Сашенька, — кивнула она.

Замедлив шаг, Александр посмотрел в том направлении, куда кивнула девушка. Москва, Москва! Как много мечталось о ней, и вот — она!.. Но город тщательно затемнен, и ничего там не видно, только слышится отдаленный гул да изредка голубые трамвайные вспышки выхватывают из темноты никогда не виданные им, но почему-то знакомые очертания города. Матросову хотелось остановиться, поговорить о Москве, насмотреться на нее хоть издали, но Люда тянула его за руку:

— Пойдем, пойдем скорее, ждут!

Вокруг баяниста в слабом синем свете фонаря пели и танцевали, пристукивая о мерзлую землю. Люда вбежала в круг и на минуту затерялась среди танцующих.

Потом вынырнула откуда-то из круга, схватила за руку Матросова и втянула в бурлящий водоворот пляски.

Танцевали уже и друзья Александра — Воронов, Дарбадаев, Макеев, а белый вихор Костылева, высокого, но верткого, мелькал всюду, — Павел хотел понравиться Люде. Только Антощенко стоял, хмуро насупясь. Матросов подошел к нему.

— Петро, что нос повесил, когда все веселятся? Иди в круг, кажи товар лицом.

— Эй, гармонист! — отчаянно крикнул Антощенко. — Давай гопака! Да такого, щоб земля гнулась!

Вначале с ним танцевало с десятков парней и девушек в солдатских шинелях. Потом в круге становилось все просторней, — Антощенко так стремительно вертелся, приседал, подпрыгивал, загребал и выстукивал каблуками, что только полы шинели мелькали, как крылья огромной птицы, и снежная пыль разлеталась кругом.

— Гоп-гоп! Гоп-гоп! — приговаривал и присвистывал он, прося гармониста: — Ще жару! Дай огня!

— Ну и Антоша! — смеясь, дивился Матросов. — Не знал его таким. Вот и пойми его: то неповоротлив, молчалив, неуклюж, то быстрый, как вихрь.

В кругу остались только двое: Люда и Петро. Теперь они, уже не суетясь, старались показать свое мастерство. То он «навпрысдки» рыл каблуками землю, крутил замысловатые кренделя, вскидывая ноги выше головы, а она вокруг него плыла павою; то оба неслись по кругу в буревом неистовстве.

Наконец гармонист устал, и танцоры под одобрительные возгласы вышли из круга, раскрасневшиеся и довольные.

Костылев дернул Матросова за рукав:

— Скорей познакомь с Людой.

Матросов представил ей своих друзей, а девушка познакомила их со своими подругами.

— Вот потанцевали вместе, — засмеялась Люда, — и знакомство крепче будет.

Костылев смотрел на Люду со стороны, стесняясь заговорить.

— Ну, расскажи, Люда, про Ленинград, — попросил Матросов.

— Что ж говорить? — улыбнулась Люда, все еще находясь под впечатлением пляски. — Меня раз-таки чуть не ухлопали проклятые фрицы, честное слово. Наш отряд рыл траншеи на Марсовом поле. А я, знаешь, из

учетного бюро по набережной. Невы несла девушкам продовольственные карточки. И только дошла до Фонтанки, начался обстрел. И так бьют, что вода в Неве от снарядов бурлит и фонтанами летит выше домов. Осколки так и свистят! Я бегу вдоль Летнего сада, думаю, — проскочу! А моряки с корабля кричат мне: «Ложись, девушка, сшибет!» А я так бегу, что дух захватывает. Мне бы только до Лебяжьего мостика, там за домом — укрытие. Слышу — зазвенело: осколком вырвало кусок железа из ограды Летнего сада; будем в Ленинграде — покажу тебе, Саша: за девятой гранитной колонной. Я бегу, а моряки надрываются, кричат: «Ложись, родненькая! Падай, проклятая! Убьет!» А я как засмеюсь: «Родненькая, проклятая...» А один моряк покрутил пальцем у виска: дескать, она уже рехнулась. А я все бегу и морячкам рукой помахиваю...

— А почему не переждала?

— Нельзя было. Голодные девушки хлебных карточек ждали. А голодный — какой работник? Они и так еле ноги волочили. А обстрел мог и до вечера продолжаться... Вот соберемся, бывало, дрожим от холода и при коптилке мечтаем: неужели снова настанет время, когда мы вволюшку будем есть картошку и хлеб, этот черный, ржаной, пахучий хлеб? Неужели опять будем слушать оперы, танцевать в карнавалах на Масляном лугу в Кировском парке? Как не умели мы ценить нашу мирную жизнь! И вот так помечаем, потом озлимся, примемся за работу и до упаду работаем. Хорошие у нас люди, Саша!

— Что верно, то верно, товарищ сержант, — заговорил стоящий позади Люды боец. — Панфиловцы, например... На параде в ноябре сорок первого участвовали. Своими глазами видел я...

Все повернулись к нему. Это был белорус Михась Белевич из соседнего вагона — высокий, синеглазый. Он сразу оказалась в центре круга и очень смутился.

— Да я-то что ж! Я к тому... Не боязливы люди: для Родины на все готовы, вот что...

— Да ты говори, говори! — подбодрил его Матросов.

Белевич сдвинул набок ушанку, поправил поясной ремень, одернул полу шинели и показал варежкой в сторону города, где в темноте, как всполохи, время от времени освещали небо голубые вспышки.

— В ночь на седьмое ноября мы спать не могли. О параде еще не знали, но чувствовали: будет. Чистим винтовки, пришиваем подворотнички, начищаем сапоги, — словом, готовимся. А все-таки и тревожились: враг в двух переходах от Москвы. И слух был такой, будто Гитлер все бесится и требует от своих генералов, чтоб те как можно скорей Москву взяли. Да и фашистская авиация могла налететь...

Часов в пять нас повели на парад. Еще темно было, а москвичи заполнили улицы, приветствовали нас. Шел снежок, белели баррикады из мешков с землей. Обошли мы танки и танкистов. Снегом залепило их порядком. Мимо Исторического музея вышли на Красную площадь.

Построили нас на площади. Рассвело уже, и белым-бело кругом от снега. Мавзолей, кремлевская стена, елочки у стены — все в снегу! Была команда «вольно», но мы стоим недвижимо, будто вкопанные, смотрим на трибуну мавзолея, на Спасские ворота, шепотком переговариваемся. Неужели все-таки настоящий парад будет? Ждем.

Тут раздалась команда: «Равняйся!» — и такое «ура» загремело, что я кричал и своего голоса не слышал. Это на трибуну вышло наше правительство...

Белевич умолк. Он, видимо, не впервые рассказывал об этом, но и теперь заново переживал волнующую минуту. С таким же волнением будет он, видно, рассказывать о ней своим детям и внукам.

— Ну, продолжай, продолжай, Михась, — просит Матросов.

— А потом замерли мы, и стало так тихо, что слышно было, как шумел ветер в знаменах. Тогда и сказал нам Сталин: «Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина»... И вспомнили мы, как и в гражданскую войну под этими ж знаменами батьки наши воевали и побеждали. И самим захотелось скорее в бой.

А когда уходили мы с площади, сводный оркестр грянул ту песню, что в гражданскую войну еще пели: «Приказ голов не вешать, а глядеть вперед». Мы подхватили ее... Век того не забуду!..

Ну, хлопцы, а потом пошли мы прямо в бой и так влепили фашистам, что десятки километров они мордой землю ковыряли.

— Михась, — вдруг придвинулся к нему Матросов и,

точно позабыв, что кругом люди, страстно сказал: — Дай руку, Михась. Ты мне друг по гроб. Верь совести! Что ж ты раньше не сказал, что в панфиловцах был? Почему молчал? .. Люда, где ты? — поискал он глазами и, увидев девушку, взял ее за руку. — Познакомься с Михасем. Дружки вы мои...

Два прожекторных луча вдруг полоснули над Москвой по серым низким тучам, как гигантские голубые мечи, уперлись концами в одну точку темного неба. Люди посмотрели туда, на минуту умолкнув: прожекторы напомнили о неутихающей военной грозе.

Костылев развернул мехи баяна. Ему хотелось показать Люде свое искусство. Все рады были продлить веселую минуту. Михась Белевич, польщенный вниманием Матросова и его друзей, крикнул Костылеву:

— Ну-ка, играй «Лявонику» либо «Крыжачка»! Знаешь?

... Когда раздалась команда «По вагонам!», все удивились, что так быстро кончилась стоянка в Филях.

— Люда, хорошо, что мы встретились! — говорил Матросов. — До свиданья, до утра!

Костылев дольше других пожимал руку Людмиле и вскочил в вагон уже на ходу поезда.

Рано утром, когда эшелон остановился на какой-то глухой станции, Матросов с друзьями побежал в конец состава, но Люды-зенитчицы уже не было. Вагоны зенитного дивизиона ночью где-то отцепили:

— Адрес?! — с отчаянием вскрикнул Костылев. — Мы даже не записали адреса!

— Адрес у всех общий — фронт! — вздохнул Матросов.

Так снова затерялась на военных дорогах черноглазая Люда.

Эшелон, миновав Ржев, Оленино, Нелидово, домчался до станции Земцы. Тут и закончился долгий путь поезда.

Глава V

„НУЖНЫ САМЫЕ СМЕЛЫЕ“

Высыпай, братки, домой приехали! — шутит Матросов, выскакивая из вагона. Возбужденные солдаты весело прыгают за ним на железнодорожное полотно, осматриваются. Кажется, эта станция Земцы затерялась в лесной глуши. Но и здесь видны следы войны — оборванные телеграфные провода, воронки от взрывов снарядов и бомб.

Послышалась команда «Становись!», и у вагонов вытянулись стройные шеренги и по команде «Смирно!» замерли. Серые вещевые мешки на спинах аккуратно подтянуты.

Вдоль строя медленно идут командиры, пристально вглядываются, оценивая новое пополнение.

Матросов ловит их взгляды, всматривается в обветренные лица. Вот они, настоящие фронтовики, — обстрелянные, испытанные, герои, о которых знал лишь из газет и слышал по радио. Вот они — его новые учителя и друзья по оружию, овеянные пороховым дымом и боевой славой.

— Вольно! — охрипшим басом командует огромный, с длинными седыми или заиндевелыми усами старшина Кедров, в шапке-ушанке и полушубке с опаленной полкой. На широкоскулом лице его расплывается добродушная улыбка.

Матросов кивает Воронову, любуясь могучей фигурой старшины:

— Вот это гвардия! Как из камня высечен.

— Сибиряк, одно слово!

Вперед вышел старший лейтенант Артюхов. Белый полушубок на нем туго затянут ремнями, цигейковая шапка-ушанка чуть сдвинута набок. Артюхов вытянулся перед строем — коренастый, прямой, собранный.

— Товарищи, я отбираю в роту автоматчиков самых смелых и смекалистых. — Карие глаза его быстры, пронзительны. — Предупреждаю: трудно будет у меня. Автоматчикам придется выполнять самые сложные боевые задачи — десантом врываться на танках в гущу неприятеля, воевать в фашистских тылах. — Он подумал и сурово добавил: — И еще имейте в виду: буду требовать беззаветной храбрости и презрения к смерти. Кому это не по плечу, — лучше помолчи. Ну, есть желающие в мою роту?

Секунду длится тишина. Потом раздается звонкий тенорок:

— Есть такие!

Артюхов окидывает взглядом ряды и останавливается на задорно поблескивающих голубых глазах ничем не приметного улыбающегося паренька.

Артюхов на секунду задержал на нем взгляд.

Матросов смутился, но выдержал пристальный взгляд командира. Нет, не сразу он ответил ему: «Есть такие!» Подумал, способен ли выполнить все требования, и решил: должен выполнить эти требования! Теперь его глаза с чуть заметным озорным огоньком подтверждают: «Это я сказал».

К Матросову подошел сразу запомнившийся скуластый капитан; на молодом, почти юношеском лице его выделялись седые виски.

— Комсомолец? — спросил он.

— Так точно, товарищ капитан.

— Добро. Так я и подумал, — довольно усмехнулся командир.

Артюхов пристально оглядел ряды курсантов. Сам он недавно окончил Тюменское военное пехотное училище и сразу отличил их образцовую выправку.

— Все ребята как на подбор, — шепнул он капитану. — Глаза разбегаются, не знаешь, кого и брать! —



И кивнул командиру взвода, безусому краснощекому лейтенанту Кораблеву: — Запиши сначала добровольцев.

Кораблев шагнул вперед:

— Ну, кто желает в автоматчики? Два шага вперед!

Снова недолгое молчание. Тишина.

Вот шагнул вперед один.

— Фамилия? — спросил лейтенант.

— Матросов.

Вслед за ним шагнули вперед Воронов, Антошенко, Дарбадаев, Макеев, Костылев, Белевич... Комвзвода теперь не успевает записывать.

— Автоматчики — толковые ребята, — говорит Матросов. — Пишишь, братки!

Отбор закончен. Новых автоматчиков ведут в часть. В лесу они идут вольным шагом. Узкую дорогу обступает густой заснеженный зеленый ельник. Монотонно похрустывает снег под ногами. Матросову хочется заго-

ворить с кем-нибудь из командиров, но заговорить первым он стесняется. Да может, это и не положено. И когда старшина Кедров обратился к нему, он очень обрадовался.

— Это ты первый шагнул вперед?

— Так точно, я, товарищ старшина.

— То-то я тебя заприметил сразу. Хоть у нас в Сибири и нет таких дробных, но ты, видно, сибиряк?

— Нет, я из Уфы, товарищ старшина, но нужно ж было кому-нибудь первому. Я — комсомолец, мне иначе нельзя.

— Люблю смельчаков!

Матросов просиял.

— Да я, товарищ старшина, собственно говоря, мечтал в разведчики. Разведчиком в тылу у врага можно такие дела развернуть, что любо-дорого! Но в автоматчиках — тоже неплохо.

— Ясно, неплохо. В самый раз угадал.

Кедров испытующе смотрит на Матросова. Что-то девичье было в его с виду озорных голубых глазах, а разлет бровей — резкий, орлиный. Золотисто-русые густые ресницы и такой же пушок на верхней губе.

— Годков-то сколько?

— Девятнадцать, — не сразу ответил Матросов. Ему хотелось казаться старше перед этим усатым сибиряком, но прибавлять года неудобно.

— Это не беда, что мало. Считают не по годам, а по ухватке.

Матросов давно уже познал прелесть добрых отношений с новыми знакомыми. Теперь у него глаза разбегались: хотелось скорей узнать командиров своей части, которые, по слухам, немало прославились в последних боях на Калининском фронте.

В сторонке мелькнул, как живой снежный ком, заяц-беляк.

— Эх, мать честная! — вдруг преобразился Кедров. — Вот бы душу отвести, поохотиться!

— Вы охотник, товарищ старшина?

— И не говори, хуже пьяницы! Пропадал бы в лесу... Да гляди ж ты, вон клест пролетел. Ишь, как звонко крикнул! До чего же, брат, занятная птица! Гнездует клест, выводит птенцов даже в такое неположенное время, как теперь, в трескучий мороз.

— А это какие?— указал Матросов на стайку пичужек с черной маковкой.

— Синички-гаечки... А вот та, на снежку под елкой, — голубая лазоревка. Тут обязательно должен быть и дятел-долбун. — И Кедров ищет глазами. — Ну да, вон прилип, рябой, к стволу сосны и кует себе, вон, вон, черно-белый, малиновое брюшко. Дело ясное: где дятел, — там и синицы. Он выдалбливает в коре жучков короедов, а синицы подбирают, лакомятся.

— Вы все про птицу, оказывается, знаете.

— Да, я все повадки звериные и птичьи изучил.

Кедров щурится на собеседника: этот шустрый паренек чем-то сразу вызвал у него к себе отеческие чувства. Может, тем, что этому безусому юному солдату, и правда, нужна здесь отцовская опека.

— Гоже, что и ты любишь природу. Мне как раз такие вот по душе. Я тебя еще на станции приметил. Глаза, вижу, зоркие, как у беркутенка.

Матросов совсем осмелел в таком «не служебном» разговоре.

— Товарищ старшина, у меня к вам большая просьба. Можно в наш взвод перевести Белевича? Михась Белевич, белорус.

— Родня, что ли?

— Нет, но это такой человек! Словом, панфиловец. Москву защищал, понимаете, участвовал в параде на Красной площади.

— Так и я там бывал.

— Где?

— В Кремле, на совещании стахановцев. И меня, значит, как кузнеца-стахановца вызывали в Кремль...

— Вот повезло! А еще кто был?

— Да кто? Стаханов сам, колхозница Маруся Демченко, кузнец Бусыгин, трактористка Паша Ангелина, — много было.

Старшину позвали к командиру роты, и он, обернувшись, пообещал:

— А насчет Белевича спрошу.

Матросов с улыбкой смотрел на богатырскую спину старшины.

— Антошка! — окликнул он шагающего впереди Антощенко. — Ну и везет мне на людей, ну и везет! Понимаешь, этот старшина...

— Да ты сам везучий. Видишь, примечают тебя.

Друзья были довольны назначением. В один взвод лейтенанта Кораблева попали Матросов, Воронов, Макеев, Дарбадаев, Антошенко, Костылев и Белевич. Они были довольны и своей новой воинской частью.

Девяносто первая бригада добровольцев-сибиряков, сформированная осенью сорок второго года, входила в состав шестого стрелкового корпуса сибиряков. В октябре бригада была уже на Калининском фронте и в ноябре вступила в горячие бои в районе Красный стан—город Белый. И скоро о славных боевых делах сибиряков узнали на всех фронтах. После трудных, но успешных наступательных боев бригада была отведена для пополнения.

Новичков разместили в землянках. Матросов вошел в землянку с волнением: тут начиналась подлинная фронтовая жизнь, о которой так много думал.

— Вот они, наши хоромы! — усмехнулся он и хозяйским взглядом окинул новое жилье. Сквозь маленькое оконце скупое проникал серый дневной свет. Пахло увядшими березовыми листьями, слежавшимся сеном. Александр сразу заметил неурядицы, которые легко можно было устранить: печурка полуразвалена, стекло в оконце внизу сдвинуто, в дыру дует ветер, даже залетает снежок, на полу валяются сухие ветки.

— Братки, да этот дворец мы можем сделать еще уютнее, — сказал Матросов и, сбросив вешевой мешок и шинель, стал засучивать рукава гимнастерки. — А то мерзнуть в лесу вроде стыдно. Ну-ка, хлопцы, за дело!

Через несколько минут землянка была выметена, дыра в окошке заделана, а сам Матросов заканчивал обмазывать печку, беззаботно и звонко напевая что-то веселое.

За этой работой и застал его старшина Кедров.

— Кто пел? — спросил он, вглядываясь в полумрак.

Матросов смутился: может быть, тут петь не положено? Или старшина не любит песен?

— Это я пел, товарищ старшина, — виновато сознался он. — Извините.

— Чего извиняешься? — засмеялся Кедров. — Не осудить, похвалить хочу тебя. Песня — это, брат, хорошо. Песня — краса человека. Человек без песни — что птица

без перьев. Песня — у нас на вооружении, как непобедимая душевная сила.

— Ой, хорошо сказали, товарищ старшина! — просял Матросов. — До чего ж люблю песни!

— Значит, ко двору пришелся, — довольно подкрутил усы Кедров. — Да ты и печку никак уже оборудовал? Специальность твоя печник, что ли?

— Нет, слесарь. Да ведь солдат должен все уметь, товарищ старшина. Верно?

— Это правда, — кивнул Кедров и, помолчав, сказал: — Ну, товарищи, кто член партии, — заходи ко мне в землянку. Вот тут справа, под старой сосной. Я парторг роты.

Глава VI

В ЗЕМЛЯНКЕ

Вечером в натопленной землянке — тепло. В тусклом оранжевом свете коптилки, сделанной из снарядной гильзы, лица бойцов, окружающих Кедрова, кажутся медными. Попыхивая у печки трубкой, старшина, пришедший к новичкам, с гордостью говорит:

— Прямо вам скажу, — ваше счастье, что попали к нам. Народ у нас крепкий. Словом, сибиряки, а значит — не пугливые. Двадцать шесть контратак отбили. Земля под ногами горела, а ни один не струсил. А потом, значит, выдержали мы характер, измотали притких фашистов и как трахнули им по башке — тридцать семь километров гнали их и все били: в хвост и в гриву! Освободили до сорока населенных пунктов. Разбили полсотни фашистских танков, шестнадцать артбатарей; захватили сотни автомашин, много пушек и другого оружия, трофеев разных набрали уйму! Вот они какие, сибиряки!.. Оно, правда, еще маловато. Вот подформируемся, подправимся — сильнее трахнем. Теперь уже надобно гнать гада до самой его берлоги, а там уже отрубить ему хвост по самые уши...

Трубка его засопела. Матросов протянул ему кисет. Вынули кисеты и другие бойцы.

- Моего покурите, товарищ старшина.
- Мой крепче, за печенку берет.
- А мой уфимский, пахучий.

Кедров, чтоб никого не обидеть, по шепотке взял из каждого кисета, набил трубку.

Матросов в знак особого уважения поднес к его трубке горящую тростинку. С волнением спросил:

— А в бою поначалу было страшно?

— Как же не страшно? Любая букашка жить хочет, а человек и подавно. А ты его зубами стиснешь, страх этот, и поступаешь, как надо. Он ведь слепой, страх. Ты над ним хозяин... Опять же трудности... Хныкать всякий хлюпик умеет, а ты сам не хнычь и другого подбодри, вот тогда ты фронтовик. Да теперь и воевать куда ясней. Знаем, за что воюем. А вон в царскую войну, к примеру, под Тарнополем гнали меня в бой, голодного и почти безоружного, гнали на верную погибель. А за что я должен был воевать? За наживу заводчиков и купцов-барышников? Или за то, что царь замучил моего отца на каторге, а я остался безродным подкидышем? — сердито спросил Кедров, шевеля седыми усами.

Все придвинулись ближе и затихли. Но старшина только сопел трубкой, ковыряя палочкой угольки в печке, и молчал.

Наконец Матросов не вытерпел:

— Ну, расскажите, товарищ старшина. Пожалуйста. Почему подкидыш и сын каторжника?

Кедрова еле упростили рассказать о себе.

— Владимирка, — вздохнув, начал он, хмурясь. — Дорога такая начиналась от Москвы. Теперь шоссе Энтузиастов. По Владимирке в самую Сибирь гнали в кандалах революционеров. Так угнали и моего отца, когда я был еще сосунком...

Кедров старался говорить спокойно, но усы его часто подергивались, медное лицо морщилось.

— Мать, видно, крепко любила моего отца, потому что со мной, грудным ребенком, пошла вслед за конвоем, который гнал отца по этой бесконечной Владимирке. И дошла до самой Иркутской каторги. Кормилась, видно, тем, что люди подавали из милости. Мало я знаю про своих родителей. С тех пор, как помню себя, я жил в богатой кержацкой семье. Меня часто пинали, как щенка, кормили объедками, называли подкидышем. Лет шести я уже понял, что я в этой семье чужак. Одна сердобольная старушка про мать мою рассказала и объяснила мне горький смысл слова «подкидыш». Никто не

знал имени моей матери, не знали, как звать и меня, несмысленыша. И потому, что подобрали меня под кедром и в месяце марте, называли: Мартын Кедров. Полая вода вынесла на берег реки труп неизвестной пришлой нищенки. Думаю, то и была моя мать...

Кедров засопел трубкой, жадно вдыхая табачный дым. Все выжидающе смотрели на него.

— Не под силу мне было у кержака, — продолжал он, — замучил меня бородач работой, да все с богом да с укором. Подрос я малость и сбежал от него. Но попал из огня да в полымя. Принял меня в учение один хозяйчик, владелец кузницы. Тут за все давали подзатыльники. Переступишь — бьют, недоступишь — бьют, мало сработал — бьют и много съел — опять бьют... Так вот я и рос и мыкался по свету, а потом в восемнадцать лет забрали меня в солдаты...

И Кедров рассказал, как в окопах во время прошлой мировой войны тайком читал большевистскую газету «Окопная правда» и как после революции пришлось отстаивать молодую советскую республику.

— Ой, жарко нам было! Со всех сторон, как шакалы, лезли на нас колчаки, деникины, юденичи и с ними вся нечисть капиталистическая. У них была лучшая по тому времени техника, а мы бились чем попало...

Комсорг батальона лейтенант Брагин вошел незаметно в землянку и стоял у входа все время, пока Кедров рассказывал, потом пробрался к печке, потирая руки. Ему радушно уступили место.

— Э, да вы, хлопцы, хорошо устроились, — весело подмигнул Брагин, окинув землянку довольным взглядом. Лицо его было такое приветливое, что всем показалось, будто они уже давно знакомы с этим белокурым юношей. — Ага, — хлопнул он себя ладонью по колену, — так вы, сдается, уже и о боевых традициях части заговорили? Что ж, наша часть хоть и молодая, а героев у нас уже много. Взять хотя бы нашего капитана Буграчева, помощника начальника политотдела по комсомолу. Надеемся, звание Героя Советского Союза присвоят ему. Да вы, наверное, заметили его на станции. Молодой, а виски седые. В деле таком побывал, что поседел. Орел, скажу вам!

Все приготовились было слушать, но к Брагину быстро подошел связной и, козырнув, доложил:

— Товарищ лейтенант, в штабе вас ждет капитан Буграчев.

— Легко на помине, — засмеялся Брагин. — Что ж, товарищи, в другой раз поговорим.

Но, как только Брагин и связной ушли, Матросов и его друзья стали упрашивать Кедрова, чтоб он рассказал о Буграчеве.

— Ну что ж, расскажу, — согласился Кедров. — Известно, капитан — это настоящий комсомольский вожак. Лейтенант, конечно, заговорил о нем не случайно, хотя героев у нас много. К примеру, наш командир роты Артюхов или командир батальона Афанасьев, или рядовой Щеглов! Да и про самого лейтенанта Брагина есть что рассказать. А Буграчев — это да, это орел!

На войне жизнь человека — у всех на виду. На фронте судят о человеке по его делам, быстро узнают о подвигах и хранят их в памяти. Старшина не раз слышал о Буграчеве: накануне войны капитан отлично окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, начал было научную работу, но в первые же дни войны добровольцем ушел на фронт.

В августе сорок первого года, когда часть, в которой служил Буграчев, отошла с тяжелыми боями в Эстонию на новый рубеж, раненый комсорг батальона Буграчев оказался в тылу у противника. Восемь дней полз он по лесам и болотам к своей части, полз без медицинской помощи и пищи, утоляя жажду болотной водой. По пути он осматривал убитых бойцов и командиров, уничтожал их документы, а партийные и комсомольские билеты забирал с собой. И на девятый день, когда Буграчев, наконец, добрался до своих и сразу впал в беспамятство, у него нашли пятьдесят семь партийных и комсомольских билетов.

— Дело понятное, — пояснил Кедров. — Попадись он фашистам с такими документами — верная гибель.

А когда бригада вступила в бой под городом Белым и в самый разгар боя комбат был тяжело ранен, комсорг батальона Буграчев принял командование батальоном, умелым, решительным фланговым ударом разбил противника и занял шесть населенных пунктов. Бригаде был открыт широкий простор для дальнейшего наступления. За эту операцию, шел слух, он и представлен командованием к званию Героя Советского Союза. Ему

присвоили звание капитана и назначили помощником начальника политотдела бригады по комсомолу.

Матросов слушал Кедрова, и непонятный холодок пробегал по телу. Он попал в огромную семью героев, и это волновало его, радовало и — обязывало.

Старшина Кедров заметил входящих в землянку Буграчева и Брагина, быстро встал, хотел скомандовать «смирно!», но Буграчев махнул рукой:

— Не надо.

Сняв шапку, он запросто сел у печки, пригладил волосы и всмотрелся в лица солдат.

Матросов глядел на него, не сводя глаз. Да, именно этот вот человек, израненный и обескровленный, восемь дней и ночей сознательно рисковал жизнью, сберегая партийные и комсомольские билеты в тылу врага. Видно, очень трудно и страшно ему было, раз так побелели его виски. Но он преодолел страх и достиг своей цели. Это и есть настоящий человек — отважный советский воин.

Матросов смотрел на Буграчева, ожидая, что вот капитан скажет сейчас что-нибудь особенное, но Буграчев потер ладонью лоб и спросил о самом обычном:

— Хлопцы, а как у вас портянки, валенки и вообще одежда, в порядке? А то, видите ли, на войне никогда не знаешь, что завтра делать прикажут... Может, тактические учения, а может, долгий марш или бой.

Он взгляделся добродушными, грустными серыми глазами в лица людей. Темная прядь волос, смоченная потом, прилипла ко лбу, уже пересеченному тремя тонкими морщинками. Когда он снял шапку, у него особенно стали выделяться белые виски и широкие скулы. От его полушубка пахло овчиной и дымом.

Матросову раньше казалось, что герой и внешне чем-нибудь отличается от всех людей, — может, каким-то особенным, рыцарским поведением, одухотворенным взглядом. Но Буграчев прост, как все, даже, кажется, угрюм и скупен. Вид у него тоже самый обыкновенный, и заговорил сразу о портянках. И все же, несомненно, он — герой. Для него, Матросова, полны нового значения простые слова Буграчева о готовности к маршу и бою. Значит, величие духа и умная простота в герое — нераздельны.

Буграчев достал из кармана кисет:

— Закуривайте, кто хочет.

Капитан свернул толстую сигарку, и несколько человек протянули ему огонь, — кто горящую лучинку, кто спичку. Он не спеша затянулся, синей выходящей стружкой пустил вверх дым и говорил о фронтовой жизни, о предстоящих боях. Потом окинул повеселевшими глазами людей, низкий бревенчатый потолок землянки и распахнул пулушубок.

— Хлопцы, а ведь мы только начинаем жить! Впереди ждет нас такая прекрасная жизнь, о какой и не мечтал человек. Это про нас в песне поется: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»... Ведь начали же мы создавать новые моря, изменять направление рек, рыть каналы, орошать пустыни, превращать их в сады и плодородные пашни, выращивать новые, невиданные растения. Да, мы по усмотрению будем изменять и климат и направление ветров... — И глубоко вздохнул, сдерживая взлет собственной фантазии.

Солдаты смотрели на него выжидающе: что скажет еще этот молодой ученый в военном полушубке? Но Буграчев молчал, задумчиво глядя в потолок землянки, будто слушая шум ветра и потрескивание хвороста в печурке. Посветлевшее от улыбки лицо его теперь было приветливым, добродушным.

Матросов упрекнул себя: ошибся он, подумав вначале, что Буграчев скучен, угрюм. Неукротимая буйная сила светилась теперь в мечтательно горящих глазах этого молодого, но уже поседевшего человека. Матросову раньше казалось, что фронтовики, претерпевшие ужасы войны, — люди суровые, озлобленные, мрачные. Тем удивительнее, что здесь, в уютной землянке, затерявшейся в лесных дебрях, так детски-простодушно и взволнованно Буграчев говорил о будущем нашей страны. Он, видно, много знает такого, что заслушаешься.

— Товарищ капитан, — не вытерпел Матросов, — ну, пожалуйста, расскажите — как это изменять направление ветров, рек?..

Буграчев посмотрел на этого паренька с бойкими, пытливыми глазами.

— А так! — оживился Буграчев. — Правда, это только начало, но у нас уже есть Московское море, есть озеро Ленина, поднятое плотиной Днепрогэса. А ученые наши уже планируют еще бóльшие водохранилища.

Антощенко толкнул Матросова под бок, кивнул на Буграчева.

— Оцей капитан для мене — ходячая академия. Я ж на агронома хочу учиться, а он все знает.

Буграчев окинул взглядом придвинувшихся к нему солдат и заговорил о том, что, видимо, всегда волновало его:

— Мы только на одной Волге построим такие гигантские гидроэлектростанции, в сравнении с которыми Днепрогэс будет малышом. Да, да. Мощные плотины поднимут новые моря, воды которых хлынут по оросительным системам в иссушенные зноем степи. Мы зальем светом города, заводы, колхозы. Мы с избытком снабдим электросилой всевозможные машины и все жилища, облегчим и украсим жизнь человека.

— А если воды не хватит? — спросил расчетливый колхозник Михась Белевич. — Гидростанции остановятся?

— А Каспий лужей станет? — недоверчиво заметил Макеев.

Матросов посмотрел на Буграчева: сможет ли он ответить на каверзные вопросы? Но Буграчева они будто даже обрадовали.

— А мы заставим северные реки, впадающие в Ледовитый океан, повернуть свои воды на юг, куда нам потребуется.

— Как это так? — изумился Матросов.

— К примеру, на верховье Печоры создадим водохранилище, в несколько раз большее, чем Московское море. Это будет огромный резерв воды, которую по мере надобности будем пускать в Каму. Воды величайших рек в мире — Оби, Енисея, Лены, если понадобится, мы перебросим через каналы в бассейны Аральского и Каспийского морей, попутно оросим огромные пустыни. Аральское море мы сможем опреснить и из Аму-Дарьи через пустыню Кара-Кумы проведем канал до самого Каспия. Мы оросим бескрайние вековые пустыни, превратим их в цветущие оазисы. Изменим климат. Никогда уже суховеи не будут угрожать нашим полям. А в Сибири мы построим гидроэлектростанции еще более грандиозные, чем на Волге. Наступление на тайгу откроет нам неисчерпаемые богатства. Засверкают огнями и там новые города, дворцы культуры, на тысячи

километров раскинутся фруктовые сады... Да что говорить, товарищи? Мы ведь на пороге применения атомной силы, которая двинет наши поезда, пароходы, новые машины, межпланетные самолеты...

Вдруг Буграчев умолк, слушая отдаленный орудийный гул. Нахлобучил на голову шапку, пропахшую горьким дымом фронтовых костров и пороховой гарью, поморщился так, точно острая боль пронзила сердце.

— Да... — вздохнул он, глядя в землю, и сквозь зубы продолжал тихо, будто про себя: — Ох, если бы не фашистская черная чума!.. — Он поднял глаза и посмотрел на бойцов, тоже нахмурившихся. — А сейчас, товарищи, самое главное для нас — учиться бить фашиста, бить гада, пока не издохнет. И помнить: от дисциплины — шаг к победе... Желаю комсомольцам из пополнения скорее сдружиться, сродниться с нашей фронтовой комсомольской семьей. Надеюсь, что автоматчики пойдут впереди по всем показателям боевой и политической подготовки. На днях у нас будет батальонное комсомольское собрание. Будем обсуждать наши очередные дела. Прошу вас подготовиться к собранию.

Бойцы переглянулись. Каждый подумал о себе: как-то он будет выполнять пожелания капитана?

И как только вышли из землянки Буграчев, Брагин и Кедров, Матросов сказал друзьям:

— Видали? Вот это — да! Настоящие люди. Фронтовики! Ну, прямо повезло нам, хлопцы. Тут, братки, подкачать нелбзя.

В землянку быстро вошла, точно вкатилась, маленькая кругленькая сандружинница Валя Щепица. Светлые пушистые пряди волос выбивались из-под серой цигейковой шапки-ушанки, закрывали уши. У нее были полные румяные щеки с ямочками и сердито надутые пухлые розовые губы. Валя казалась не девушкой, а капризным холеным подростком, наряженным в шинель; тем удивительнее было ее внезапное появление в этой землянке.

— Инфекции или натертости ног, или еще какие заболевания есть? — строго спросила Валя.

Все молчали. Только Дарбадаев спросил:

— А чем лечить, товарищ доктор, тоску по жене?

— Риванолевая примочка к носу помогает, — так же строго сказала Валя. — Или горчичник на язык.

Все засмеялись. У Вали лишь дрогнули уголки губ.
— Объявляю: полковой медпункт — землянка под березой, — сказала Валя и вперевалочку вышла.

— Ну и девчонка! — покачал головой Костылев. — Ну и сестренка! Заметили у нее медаль «За отвагу»?

Бойцы переглянулись, и каждый вспомнил свою далекую семью.

Матросов, обрадованный, что узнал сегодня номер полевой почты своей части, предложил писать письма. Все придвинулись к коптилке с тетрадами, блокнотами, а думы уносили бойцов далеко, в разные концы страны, к самым близким, любимым...

«Я на пути к заветной цели», — с волнением писал Матросов Лине. Глаза его лучились. Он доволен, что сбылась, наконец, его давняя мечта и он попал на фронт. О многом он хотел сказать Лине, давнему другу своему Тимошке Щукину и всем колонийским товарищам — о своих встречах с настоящими фронтовиками, о новых друзьях и первых фронтовых впечатлениях. Здесь он почувствовал еще большую ответственность бойца, защитника страны, но сознание этой ответственности не тяготило, не пугало, а радовало его.

«Помнишь, Линуся, — писал он, — как мы стояли на холме и, держась за руки, смотрели вокруг, и было нам так хорошо, и был кругом такой солнечный простор, что полететь хотелось? А сколько такого счастья у нас еще впереди! Только верь мне: всегда буду поступать так, как велит комсомольская совесть, как велит Родина».

Антощенко, откинув голову к глинистой стене землянки, смотрел на счастливое лицо Матросова и тихо пел:

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли.
Смертный бой кипел, как гроза.
Ой, Днипро, Днипро, ты теперь далек,
И вода твоя, как слеза.

Матросов взглянул на Антощенко и понял его горе: опять думает о Лесе. Александр придвинулся к нему и, будто по ошибке перепутав слова, запел конец песни:

Ворог воду пьет из твоих стремнин,
Захлебнется он той водой.
Славный час настал, мы идем вперед
И увидимся вновь с тобой.

Антощенко подхватил песню, и в черных глазах его блеснула надежда.

Глава VII

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ

Тревога была объявлена ночью. Свет зажигать не разрешили. В землянке — непроглядная темень. Бойцы на ощупь быстро находят одежду, оружие, вещевые мешки. А снаружи уже слышится голос командира взвода, Кораблева:

— Выходи строиться! Становись!

Голос старшины Кедрова неузнаваемо строгий, требовательный:

— А ну, живей! Кто там копается?

Матросов никак не может разбудить Антощенко. Петр спросонья трет кулаками глаза, не совсем еще понимая суровый смысл слова «тревога». Матросов злится на него, говорит, что последний раз нянчится с ним, а сам помогает одеваться. Выбегают они из землянки почти последними. Старшина укоризненно замечает:

— Хвосты тянешь, Матросов. Не ждал от тебя!

Упрек нестерпим, но Матросов молча становится в строй.

В темно-серой мгле бушует вьюга, качая деревья, швыряя в лицо колющий снег. Кто-то говорит, что времени — четыре ноль-ноль.

Командир роты Артюхов коротко объявляет боевую задачу: батальон идет на штурм укрепленной полосы противника, потом поведет бой в глубине его обороны; остальные распоряжения — на исходном рубеже.

Походная колонна идет с охранением, со всеми пред-

осторожностями. Но солдаты, поеживаясь от холода, даже не знают, — продолжение ли это занятий по боевой подготовке, или они идут в настоящий бой и в землянку больше не вернутся?..

Бригада находилась в резерве фронта, пополняясь людьми и вооружением. Каждый час был использован также для боевой и политической учебы.

Это была пора долгожданного перелома в ходе войны. На всех фронтах наши войска наступали, и бои становились все напряженнее. Уже была прорвана блокада Ленинграда, и заканчивалась великая битва под Сталинградом. В любой час бригаду могли бросить в бой.

На занятия подразделения поднимали еще затемно, иногда по тревоге и ночью. На тактических учениях, увязая по пояс в снегу или ползая по незамерзшим болотам, бойцы штурмовали опорные пункты «противника», прорывали его оборону, наступали по открытой и лесисто-болотистой местности. Порой шинели обледеневали, в них трудно было поворачиваться, а приходилось еще долго бегать по лесу, по колючим кустарникам, прыгать через траншеи, болотные лужи, преодолевать проволоочные и минные заграждения. Возвращались бойцы в землянки поздно вечером — усталые, в мокрой и промерзшей одежде. Но коммунисты и комсомольцы шли еще на партийные и комсомольские собрания, выполняли партийные поручения и помогали в учебе отстающим.

— Эх, выспаться бы где-нибудь в теплом углу! — потирал задубелые руки Матросов.

Трудно приходилось ему и его друзьям на военных занятиях. В Краснохолмском училище Костылев и Дарбадаев вышли в отличники по стрельбе, а тут вначале стреляли плохо. Костылев сам на себя злился: его искусные пальцы молниеносно летали по клавишам баяна, выводя самые замысловатые переборы, а во время стрельбы коченели и были непослушны, как деревянные.

На исходном рубеже, в непосредственной близости «противника», за несколько минут до штурма укрепленного пункта простуженный Макеев стал так отчаянно чихать и кашлять, что вызвал справедливые нарекания командиров.

— Потерпи, — просил его Матросов. — Грохаешь, как

полковая пушка. Огонь «противника» вызовешь, все дело погубишь.

Макеев, сдерживаясь, смешно кривил лицо, шапкой закрывал рот, но кашель был неукротим.

После преодоления болота и проволочного заграждения, во время решительных коротких перебежек Антощенко вдруг пополз по глубокому снегу, неуклюже поднимая зад. Взводный Кораблев, возбужденный близостью рукопашного боя, раскрасневшийся, раздраженно зашипел:

— Кто там ползет, как черепаха?

Матросов оглянулся: так и есть, опять что-то неладное с горемычным дружкой.

— Беги и падай скорей, Петро! Чего, как баржа, плывешь?

— Та хоч ты не гырчи, — отозвался Антощенко. — Причина есть...

— Какая?

— Не скажу, — тихо, но сердито ответил Антощенко.

— У Петра, наверно, какой-нибудь пустяк, а вот у меня — кашель, — сказал Макеев. — И вообще не понимаю, зачем здесь так много всяких занятий и даже политграмота?

— Тяжело на ученье — легче в бою, Макеша. А без политграмоты боец, как без души, как пушка без снаряда.

Во время трудных тактических занятий яснее раскрывались характеры людей. Матросов заметил: чем больше человек устает, тем раздражительнее делается. Но один умеет сдерживаться, а иной не имеет выдержки. Макеев стал еще более ворчливым, придирался к товарищам, а Воронов больше отшучивался и усмехался.

Понятнее становились и характеры командиров. Подчиненные — первые судьи своих начальников. Солдаты между собой отмечали хорошее в поведении командиров, что и перенять можно, и едким смешком порицали дурные черты характера.

Комбат Афанасьев, обычно молчаливый и хмурый, сразу преображался даже в этих учебных боях. Он становился задорен, горяч и красив в своей стремительной подвижности. Он увлекал на лихие дела и требовал решительных и быстрых действий.

И сегодня, когда рота Артюхова залегла в ожидании

сигнала к штурму укрепленного пункта, комбат сердито спросил:

— Ты что, чай с пирожными распиваешь, Артюхов? Почему не атакуешь?

— Сейчас, товарищ капитан, третий взвод ударит с фланга, а я в лоб ударю, — тихо, с невозмутимым спокойствием отвечал Артюхов, только дрогнувшая щека выдала его волнение.

Любитель обстоятельных бесед и задушевных песен, старшина Кедров «на службе» был суров и нещадно требователен, но говорил тихо, сдержанно, веско, отчего слова его становились еще убедительнее. В батальоне вспоминали случаи, когда Кедров проявил свою каменную выдержку. Как-то командир батальона несправедливо распекал его за то, что он не обеспечил роту горячей пищей. Кедров тихо возразил: походную кухню в пути разбила мина, а люди часом позже уже были накормлены. Но комбат продолжал отчитывать старшину, ехидно намекая на его возраст: надо было, мол, на печке сидеть, а не на войну идти. Кедров тяжело дышал и молчал. Только могучие железные руки его за спиной свертывали в трубку, как бумагу, подвернувшуюся алюминиевую тарелку. Комбат, наконец, сделал замечание старшине: зачем тот держит руки за спиной, перестал браниться, выслушал Кедрова и, убедившись, что тот не виноват, удивился: «Почему ж ты молчал и мямл эту дурацкую тарелку?» Кедров усмехнулся: «Винovat. Стало быть, у меня выдержки не хватило, раз тарелку мямл. Шут ее поднес!»

В боях под городом Красный Стан, когда командир штурмовой группы выбыл из строя, старшина принял на себя командование. Семнадцать контратак противника отбила группа Кедрова. И когда противник уже был достаточно измотан, Кедров повел солдат в атаку:

— За мной, сынки, вперед!

Группа выбила гитлеровцев из укрепленного пункта и погнала дальше.

Кедров смеялся редко, но, когда смеялся, вытирая по-детски кулаками глаза, все его широкоскулое усатое лицо расплывалось и делалось таким добродушным, что у всех теплее становилось на сердце.

А командир взвода Дубин в трудных случаях суетился, кричал на подчиненных, бранился. Его боялись, но

не уважали. Как-то Кедров смотрел, смотрел, как этот безусый лейтенант «власть свою показывает», и, не вытерпев, шутя заметил:

— Плохой хозяин и хорошую лошадь задержает, норовистой сделает. А людьми управлять куда трудней! Спокойней держись.

Дубин и на него накричал:

— Кажется, я по званию старше, и нечего мне указывать!

Матросову нравилась твердость характера и поддержка Афанасьева, Артюхова и Кедрова.

Здесь трудно было не только новичкам из пополнения, но и опытным фронтовикам. Закаленный вояка старик Кедров как-то пошутил:

— Думали, в Земцы на отдых пришли, а тут не легче, чем на передовой. Да ничего не поделаешь, надо.

— Не хнычь, — твердил Матросов ворчливому дружку Макееву, когда тот жаловался на трудную учебу. — Вон старые фронтовики — и те учатся воевать, а нам и подавно надо.

К полудню батальон выполнил учебную задачу. Людям разрешено было поест. Бойцы уселись на поваленные деревья, на пни, на еловые ветки. Сухари и консервы казались необыкновенно вкусными.

Кедров начал было свой обычный осмотр: все ли у солдат в порядке — оружие, одежда, обувь?

Тут появился из-за ольшаника заместитель командира батальона по политчасти, капитан Климских, и позвал его к себе.

Матросов смотрел вслед старшине. Кедров шел сначала вразвалку, потом, приближаясь к замполиту, зашагал четким строевым шагом и в трех шагах от него вдруг остановился, одновременно стукнув валенками, и отдал честь, прямой и неподвижный, будто в землю врос. «Вот это выправка», — восхитился Матросов; он слышал, как замполит говорил парторгу Кедрову:

— Меня вызывает комбат, а ты сейчас проводи политзанятия. Партийцев и комсомольцев расставил по взводам и отделениям?

— Так точно, товарищ капитан.

— Надо выделить агитаторов из пополнения. — Он стряхнул с полушубка снег, упавший с еловой ветки. — Большевицким словом, Кедров, надо закалить сердце

каждого солдата. Особо займись с бойцами из пополнения.

Кедров почтительно слушал замполита, глядя, как подергивается его лицо: Климских еще не избавился от последствий контузии.

Замполит ушел, а Кедров вынул книгу из своей полевой сумки, набитой уставами, брошюрами, деловыми бумагами, и, прислонясь к стволу сосны, стал листать ее.

Да, трудновато старику. Он и парторг роты, и старшина. Нелегка упряжка, — будто гору везешь. У него всегда тысячи дел. Никто не видит его спящим: он раньше всех поднимается и позже всех ложится. Это его повседневная забота, чтобы солдаты его роты были вовремя и хорошо накормлены, аккуратно одеты. И надо следить за тем, как изучают бойцы воинские уставы, как содержат оружие и боевую технику. Да и политинформации, беседы, политзанятия проводить надо. Обеспечить солдат всем необходимым во время занятий по боевой и политической подготовке; боеприпасами — в бою, ниткой и иглой — в быту — тоже его забота. Старшина — первая опора командира.

Бывалый, умелый воин, Кедров обучал солдат искусству штыкового рукопашного боя, того искрометного неукротимого боя, какого не выдерживал еще ни один враг. А в трудную минуту находил он нужное слово, чтоб утешить солдата, подбодрить, поднять его дух. Требуя от солдат молодцеватого, бодрого вида, неутомимый старшина разучивал с ними новые строевые песни. И роту его еще издали узнавали по чеканному строевому шагу, по удалой песне.

Порой старик так уставал, что все тело его болело. Но разве он имел право кому-нибудь пожаловаться на свою усталость? Он ведь сам учил коммунистов всегда и везде служить примером. Слово его не могло расходиться с делом.

«Вот бы мне его силу и выдержку, — думал Матросов. — А я перед ним слабый, как чижик перед орлом. Надо подтянуться, чтоб не ударить лицом в грязь».

И когда Кедров сел перед бойцами на пень и стал по-хозяйски раскладывать на коленях брошюры, блокноты, Матросов нетерпеливо ждал, что скажет старшина, спросит ли его, и о чем.

По обыкновению начал старшина с будничных дел.

— Прямо сказать, выучка еще слаба у нас, товарищи. Подкачали на тактических Антощенко и Макеев. Тебе, Антощенко, надо было бы продвигаться то короткими перебежками, то ползти по-пластунски. А ты как полз? Трудненько с непривычки?

Антощенко хмуро молчал, глядя в землю.

Макеев не вытерпел, пожаловался:

— Измотались мы, товарищ старшина. Спим на ходу. То по шею в сугробах карабкаемся, то брюхо по болоту волочим. Лучше б уж в бой скорей.

— У тебя, вижу, много амбиции, да мало амуниции,— безобидно усмехнулся старшина.— Хорош будешь неучем в бою. Любая жаба тебя забодает.

Старшина окинул взглядом солдат, подкрутил усы, сдвинул на затылок ушанку:

— Да, слов нет, трудноато, а от неуменья и непривычки — и подавно. Да ничего не поделаешь, надо учиться воевать. Верно говорил Суворов: «Трудно на ученье — легко в бою». Необученный солдат в бою, как овца, шарахается, погибает зря. А смелый да умелый — побеждает. К примеру, в приказе номер триста сорок пять прямо говорится: «Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти». Но что для этого надо делать? Кто скажет?

Он посмотрел на поднятые руки бойцов, кивнул Антощенко:

— А ну, скажи ты.

Антощенко встал, растерянно посмотрел на бойцов, но тут же овладел собой.

— Поперше всего надо всеми силами изматывать врага, — с жаром заговорил он и, палимый чувством ненависти, стал рубить кулаком в такт словам. — Истреблять его живую силу, сничтожать его технику. Словом, як я понимаю: дубасить гада так, щоб с него шкура клочьями летела.

Когда пришла очередь говорить Матросову, он выпрямился и хотел ответить четко и точно. Приказ номер триста сорок пять он знал хорошо.

— От упорства и стойкости советских воинов, от их воинского умения и готовности выполнить свой долг перед Отчизной зависит разгром врага, — начал он, но тут заметил, что замполит Климских, остановившись по-

одал, слушает его, и смутился. Мысли полетели вскачь, смешались, и он умолк. Сколько раз он внушал себе: не теряться, когда говорит на людях, владеть собой — и опять сорвался.

Матросов еще больше встревожился и был озадачен, когда после политзанятия замполит приказал ему:

— Вечером зайди ко мне в землянку.

— Слушаюсь! — ответил Матросов, с волнением думая: «Зачем зовет? Наверно, будет взбучка»...

Глава VIII

„ДОБРУ МОЛОДЦУ — РОСТ И СИЛА“

В этот день до вечера занимались тактической и стрелковой подготовкой. Бойцы преодолевали в лесисто-болотистой местности укрепления, подобные вражеским, штурмовали дзоты, учились мастерству маневра. Стремительно обходили, охватывали «противника», барахтаясь в сугробах, атаковали его. Или в лесных зарослях расчищали проходы, окапывались в снегу или мерзлом грунте.

Возвращались в лагерь уже в сумерки. Но и этот обратный путь комбат Афанасьев и комроты Артюхов решили пройти с пользой — проверить, научились ли автоматчики ходить ночью по азимуту. Каждая группа имела свой маршрут движения по азимуту. Нелегкое дело — продвигаться по темному лесу без видимых ориентиров. Только стрелка и визир компаса заостренными светлячками указывали путь.

Дружки Матросова вернулись в землянку, когда уже стемнело, и забеспокоились: Саши среди них не было. Не заблудился ли он в лесу? Только Макеев, завидуя Матросову, пробурчал:

— Не пропадет он. Видел я его в лагере.

Автоматчики успокоились. Окоченевшие за день, усталые и обрадованные, что вернулись опять в землянку, они дали отпотеть оружию, почистили его и сразу притихли, укладываясь на нарах.

Воронов пошутил было, потирая руки:

— Тепло, не дует и уютнее, чем в хоромах.

Но Макеев злобно оборвал его:

— Язык твой, что овечий хвост, треплется. Не до шуток.

— Жаль, нет Сашки, — вздохнул Костылев, — он отбрил бы тебя... И как это в жизни бывает? С иным человеком веселей живется и легче дышится, а иной так тоской уморит.

Все нахмурились, умолкли.

А Матросов шел к землянке замполита Клиских, тревожно гадая, зачем его сюда позвали.

Замполит, парторг Кедров и комсорг Брагин уже сидели в землянке и говорили о нем.

— Парнишка прелюбопытный! — рассуждал Кедров. — Со смешком эдак обо всем допытывается — почему да отчего. Поначалу даже удивлял меня: экий, думаю, почемучка! А среди солдат — одному подмигнет, над другим подшутит, а иному поможет в чем. Эк, думаю, неугомонный мальчишка. А бойцы льнут к нему, как пчелы на цветок. Нравится он им.

— Льнут, как пчелы? — засмеялся Клиских. — Это хорошо!

— В чем тут, думаю, штука? Пригляделся к нему ближе. А он — веселый, ну просто удержу нет. Смех будто распирает его. А веселых любят люди. И спрашивает про все: про людей, про птицу и зверя, и запоем читает, потому — жадный до всего; интерес ко всему имеет серьезный.

— Жадный к знанию — это хорошо.

— Известно, умелый и веселый человек — самый богатый. И на службе Матросов аккуратен.

— Годится, — решил замполит.

Когда Матросов вошел в землянку, замполит сказал, кивнув на собеседников:

— Мы тут говорили о тебе, Матросов. Ты много читаешь, но читаешь только для себя. А ты вот разъясняй бойцам, выясни кто чем интересуется, а мы тебе поможем.

— Как это? — встревожился Матросов. — Вроде агитатора?

— Чего испугался? — отечески улыбнулся Кедров. — Подтянешься, то и сможешь. Птице — простор для полета, а добру молодцу — рост и сила.

— Так у нас же много бойцов грамотнее меня.
— И тем найдется дело.
— Да я не знаю, как и говорить с людьми...
— А говори так же просто, как и с нами говоришь, — посоветовал капитан. — Только побольше бери из жизни хороших примеров. Да ты не сомневайся; если трудно будет, мы тебе поможем.

«Уговаривают меня, как мальчишку безусого», — подумал Матросов и для пущей солидности басовито кашлянул. Опустив голову, задумался: все-таки страшновато браться за совсем незнакомое дело. Не осрамиться бы перед товарищами. Но Александру было приятно сознавать, что доверяют ему и парторг, и замполит, и комсорг. Он впервые испытал это в колонии, когда выбирали его классным организатором. Когда тебе доверяют, чувствуешь себя сильнее и хочется быть лучше, чем ты есть.

Задержав Матросова у выхода, Брагин предложил ему выступить на комсомольском собрании. К этому тоже надо подготовиться.

Возвращался от замполита Матросов веселый, возбужденный.

Вот он, откинув обледенелую палатку, заменявшую дверь, влетел в землянку, и вьюга ворвалась вслед за ним. Язычок копилки затрепетал и чуть не погас. Матросов стряхнул с одежды снег, потер у печурки озябшие руки, оглянулся по сторонам и удивился: спать еще рано, а тут унылая тишина. Только ворчит Макеев, натягивая на голову шинель: «Ходят и холоду напускают!»

— Почему тихо? — не вытерпел Матросов. — Братки, что приуныли? Орлы вы или мухи? До отбоя ведь еще далеко.

— Да и я про то говорю, — приподнялся Воронов.

— Так что же, по-твоему, нам кадрили танцевать? — злобно проворчал Макеев. — Все тело занемело.

— Тетка, — встряхнул его за плечи Матросов, — что ты мне закатил тоску-кручину? Мне петь хочется. Даже отдыхать нельзя с таким кислым настроением, как у тебя. Ты микробом скуки уже всех заразил. Ты рассадник инфекции, — понял? Так и Вале нашей скажу.

Макеев хмуро съежился:

— Чего липнешь ко мне? Мы ж поссорились.

— Ой, да я и забыл, что между нами прерваны

дипломатические отношения! — рассмеялся Матросов. — Ну ладно, ладно, Макеша, — тормошил его за плечо Александр. — Развеселись. Скучать солдату не положено, — а?

Макеев примирительно ухмыльнулся:

— Да я что ж? Кабы не уморился...

Но Матросов уже тащил за ногу лежащего на нарах Костылева.

— Паша, бери баян, играй. Ну, уважь, друг!

Матросов, как и все, устал за эти дни, похудел; резко обозначились у него в межбровье две складки, потемнел пушок на верхней губе, лицо обветрилось. Он возмужал, повзрослел. Но по-прежнему он весел, шутит, и, хотя старается быть степенным, порой прорывается у него мальчишеская резвость. И теперь, задорно тряхнув головой и блеснув глазами, Александр сказал Костылеву:

— Играй «Калинку», Паша!

Костылев заиграл на баяне, Матросов запел «Калинку-малинку» и пошел по кругу, подрагивая плечами и хлопая в ладоши. Вот подтянул Воронов; не вытерпев, запел и Антощенко. Всем стало весело, даже Макеев ухмыльнулся.

Эта землянка была самая веселая. Сюда вечерами собирались любители попеть, поговорить. Пришли и в этот вечер «душа коллектива» Брагин, сандружинница Валя Щепица и старшина Кедров.

Валя, как всегда, пришла «по делу». Стряхнув снег с золотистых кудряшек, еще у входа строго спросила:

— Инфекции, натертости, заболевания есть?

Все хором ответили: «Есть» — и пригласили девушку к печке погреться. Только Антощенко поерзал на месте, — видно, всерьез хотел пожаловаться Вале на что-то, но, оглянувшись по сторонам, смолчал.

— Да у вас тут точно клуб, — снисходительно улыбнулась она, и пухлые щеки ее зарумянились.

Солдаты заулыбались, подвинулись, чтобы освободить ей место.

Костылев, покраснев, отчаянно тряхнул чубом, захватски пробежал ловкими пальцами по клавишам баяна и с готовностью спросил:

— Какую, Валя, играть? Не стесняйся, говори, буду хоть до утра.

— «Под горой росли цветочки» — знаете?

Все с огорчением сознались, что не знают. Костылев смущенно опустил глаза.

— Ну, вот эту. — И запела свою любимую:

Проводила я миленка,
Он ушел фашистов бить.
Я прощалась — обещалась
Одного его любить.

— До чего ж хорошая песня! — воскликнул Матросов, вспомнив Лину. — «Одного его любить»... — повторил он. — Еще, Валуша.

— Еще, еще пой, — просили ее и другие солдаты.

Валя с волнением продолжала; ей уже подтягивали:

Проводила я миленка,
Он уехал, дорогой.
Помахал он мне платочком,
Я одна пошла домой.

На минуту она задумалась, вспоминая далекую свою Кочубеевку на Полтавщине и прощанье с чернобровым Иванком. И опять тихонько запела о вишневом садочке, где соловейко на заре поет.

Стали разучивать эту песню. Лица солдат посветлели. Песня будит воспоминания о доме, о том, что было лучшим в жизни.

Вошел Кедров, прислушался, расправляя заиндевевшие усы. Он предложил спеть давние революционные песни и начал хрипловатым баском про колодников, про звон кандалный и путь сибирский дальний, по которому товарища на каторгу ведут.

Когда песня кончилась, Матросов и Брагин попросили старшину еще спеть.

Но старшина, взволнованный воспоминаниями и тем, что его песня всем понравилась, молодо встал и решительно сказал с порога:

— Спать, спать! Солдатская ночь — птичья!

Уходит и Валя.

Матросов спохватился: ему обязательно сегодня же надо прочесть брошюру, — чего доброго, оскандалишься перед замполитом. Он сел у столика на снарядный ящик.

Макеев посмотрел через его плечо на разложенные перед ним брошюры.

— Вот чем ты занимаешься!

— А как же, Макеша? — пошутил Матросов. — Я уже тертый, что твой луженый солдатский котелок.

Все улеглись спать, а он склоняется у коптилки над блокнотом, на открытой странице которого уже записано:

«Я верю в бессмертие честных людей». Горький, «Мать».

В народе тот не умирает,
Кто за отечество умрет.

Г. Державин

Он задумался и, вспомнив, поспешно записал услышанные от Брагина слова Маяковского:

Быть коммунистом — значит
Дерзать, думать, хотеть, сметь.

Матросов раскрыл брошюру и приготовился читать, но к нему подсел Антощенко и тайношвенно зашептал:

— Сашко, не серчай, посоветуй мне... Видишь ты, какая закорючка. Я на тактике тебе не сказал, а теперь и сам не знаю, как быть. Кожу на ноге дюже содрал я, когда преодолевали заграждения. А сандружиннице сказать боюсь, — в санбат отправит. А время, сам знаешь, какое: часть в бой пошлют, а меня — в тыл царапину лечить.

— Покажи.

Антощенко нехотя показал: нога ниже колена распорота колючей проволокой, штанина и портянка окровавлены.

— Чудак, надо Вале сказать. Пусть скорее перевяжет.

— Я ж и говорю тебе: не хочу, боюсь. Попаду в санбат — хлопцев потеряю.

Матросов сам перевязал ногу Петра.

— Ты никому ж не говори про это, — попросил Антощенко. — Будь другом, не говори. Обещаю: как на цуцке, заживет. И на занятиях не отстану, роту не посрамлю.

Успокоенный другом, Антощенко засыпает, а Матросов, сдвинув брови, опять погружается в чтение.

Лицо его сурово, и он выглядит старше своих лет. Он не замечает, как, накинуд шинель, подсаживается к нему Михась Белевич.

— Не спится что-то, — шепчет он. — У меня, видишь, дело такое, что при людях не хочется говорить — настраивание им портить. А тебе все-таки ж скажу. На Полесье семья моя у фашистов — отец, мать и жена с ребенком. А може, и нет уже никого живого. Замучили... Вот я и думаю: а что, як бы написать так: «Москва, Беларусь, Калининичи» — и дальше по порядку. Дойдет письмо? — И замер насторожась.

Матросов смущен: такой рослый, плечистый человек советуется с ним, безусым пареньком. Он хмурится, думает и уверенно говорит:

— Думаю, через Москву куда хочешь дойдет. Ведь наши партизаны везде есть. Из Москвы летчики свезут к партизанам, а те доставят...

— Ой, — облегченно вздыхает Белевич, — як бы так и сбылось! Все-таки ж ты молодец! Ну, напиши адрес. У тебя почерк ясный.

Вскоре уснул и Белевич, уснул с отрадной надеждой, что Москва во всяком деле поможет.

Матросов опять склоняется над брошюрой и блокнотом. Тихо. Только слышно, как шумит лес. И Матросову не тягостно, а приятно думать: все-все в землянке спят, а он готовится, чтоб лучше выполнить доверенное ему дело.

Глава IX

ЗАМПОЛИТ

На другой день Кедров, Матросов и Воронов шли к землянке замполита Климских.

Кедров, шагая впереди, по обыкновению что-то тихо напевал. Матросову очень нравилось, когда тот пел. Будто кругом становилось теплее, уютнее. И откуда у старика эта неодолимая потребность петь? Он, видно, в такие минуты совсем выключался из обычных дел и думал о чем-то своем, хорошем, сокровенном, и взгляд у него был детски-ясным, простодушным, добрым. Голос у старика — глухой дребезжащий басок, но Кедров так умело владел им и пел так тепло, что нельзя было не заслушаться.

И когда старшина спел «Смело, товарищи, в ногу, духом укрепнем в борьбе», Матросов заговорил:

— Как хорошо, товарищ старшина, что вы всегда поете!

— А как же, чудачок? — отозвался Кедров. — Меня ведь негорюха родила, нетужиха повила, потому и пою.

— Как, как? Негорюха и нетужиха? — переспросили Матросов и Воронов.

— Они самые, — хитровато усмехнулся старик. — Без песни человек — что птица без крыльев. — И шагнул в землянку.

Связной замполита Зыбин встретил их холодно.

— Нету капитана, — сердито сказал он и снова стал усердно зашивать полушубок, лопнувший по шву на его

широкой спине. В глазах связного Кедров прочел упрек: «Все ходят и ходят сюда. Ни днем, ни ночью покоя от них».

— Мы по важному делу, — строго сказал старшина, думая, что тот хитрит.

— Капитан в политотделе на учебе, — уже мягче ответил связной.

— Так-с, ученый учится, значит, — с удивлением сказал Кедров, домовито сядя у покрытого газетой столика, на котором лежали книги. Он предложил сесть и солдатам.

Внимание Матросова привлекли три необычные книги. Листы и обложки книг были покорежены, пробиты мелкими осколками, испачканы суглинком.

— Почему так попорчены книги, товарищ старшина? — спросил Матросов.

— Эти книги — ветераны, — значительно ответил Кедров. — Такие книги у нас на вооружении, и сильнее они, чем винтовки и пушки. Да, книги — бойцы. И ранены вместе с капитаном... Не знаете, почему капитан, когда волнуется, часто моргает? То-то вот. Страшный случай был.

И старшина стал рассказывать.

Это было под городом Белым. Взрыв снаряда грянул у самой землянки, в которой занимался замполит. Землянка обрушилась. Капитана Климских завалило землей и бревнами. Когда его откопали, он, растерзанный, изможденный, долго был в беспамятстве. Потом, придя в себя, стал требовать заплетающимся языком, чтобы разыскали его книги. Книги были так же истерзаны, как и он. В госпиталь ехать капитан отказался: на Калининском фронте шли жаркие бои. Повалявшись с неделю в медсанбате, он вернулся в батальон. Но сильная контузия, видно, на всю жизнь покалечила его и часто дает о себе знать. С книгами же своими капитан так и не расстаётся.

Матросову очень хотелось потрогать, посмотреть эти книги. Разрешит ли старшина? А Кедров продолжал с увлечением рассказывать о замполите.

— Ишь, учится... До чего же цепкий человек! До войны учителей будущих учил, а сам и теперь учится.

— Как не учиться? — отозвался связной, перекусив зубами нитку. — Там начполитотдела полковник

Богатко такой знающий — заслушаешься. Говорят, профессор.

— Эх, я упустил время для учебы! — с сожалением вздохнул Матросов.

— Что ты! — даже обиделся Кедров. — Я вот старик, а только теперь начинаю по-настоящему понимать, что к чему. Учиться никогда не поздно. И здесь все учатся — и солдаты, и командиры, большие и малые. На партийных и комсомольских собраниях учатся, на лекциях, на курсах, на семинарах.

— Даже чудно, — усмехнулся Матросов. — Будто не фронт здесь, а какая-то академия.

— Академия и есть, — оживился старик. — Даже наивысшая. Партия наша, она, брат, как сталь, выверяет сердце каждого солдата и закаляет его наибольшей наукой — большевистской правдой. Это им, тем фашистским дикарям, даже выгодней, чтоб их солдат был бездумным истуканом, чтоб легче было его обжулить. А наш человек, чем больше постигнет правду, тем сильнее станет.

Матросов нетерпеливо придвинулся к столу.

— Что ж это за книги? Разрешите посмотреть?

— Непоседа, — отечески проворчал Кедров, косясь на Матросова. — Посмотри скоренько, а то не нагрянул бы капитан.

Матросов стал бережно смотреть израненные осколками снарядов книги: томики Ленина, Сталин — «О Великой Отечественной войне», брошюры, журналы. Тут же лежал лист бумаги, исписанный косым, летящим вперед почерком. Вверху подчеркнут заголовок: «Морально-политический облик советского воина». Много книг было в углу землянки на полке из неотесанной доски от снарядного ящика.

Листая одну из книг, Матросов вдруг обратился к Кедрову:

— Товарищ старшина, что тут отмечено? Что? — показал он подчеркнутые синим карандашом слова.

— Вот настырный! — проворчал Кедров. — Ну, одно беспокойство с тобой!

Возвращаясь, капитан Климских услышал в своей землянке возбужденные голоса, остановился у двери.

Кедров, увидев замполита, быстро поднялся и смущенно скомандовал:

— Встать, смирно!

Матросов вытянулся, растерянно мигая глазами и пряча книгу за спину.

Он с тревогой смотрел на удивленное лицо замполита и ждал: вот капитан сейчас отчитает его за то, что без разрешения рылся на полке.

На замполит Климских рассмеялся, видя замерших, смущенных людей.

— Вольно, вольно!.. А что — не ждали? Ладно уж, ладно!

Он шагнул к повеселевшему Матросову.

— Что подчеркнуто, спрашиваешь? А вот, например, что Клаузевиц пишет: «Мужество никоим образом не есть акт рассудка, а представляет точно такое же чувство, как и страх». Как думаешь, прав он, этот ученый немецкий генерал?

— Да как же это — мужество не от рассудка? — удивился Матросов. — Ведь именно сознательно идет наш боец на любую опасность, даже на смерть, потому что любит свой народ...

— Ясно, не прав он. Они, эти буржуазные авторитеты для гитлеровцев — Клаузевиц, Мольтке, Шлиффен, Бисмарк и другие идеологи и военные теоретики — не поняли, проглядели главную силу — сознательного человека. Потому-то для гитлеровцев солдат — дрессированная скотина, заводная бронированная кукла. Разве понять им, кто такие Лиза Чайкина, Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло?.. Ну, садитесь, садитесь, — чего стоите?

Вскоре землянка наполнилась людьми. Замполит начал беседу с агитактивом, и Матросова сразу же заинтересовала и увлекла эта необычная беседа.

— Вот шел сюда и вспомнил я одного молодчика, — говорил замполит. — По снабжению работал в нашем батальоне. Сержант Зыков. В батальон пришел Зыков — залюбовались им. С виду — герой человек, высокий, статный, лихо подкрученные черные усыки, сам чертом глядит. А начнет рассказывать про свои подвиги — заслушаешься. Он и столько-то танков подорвал, и целую роту фашистов один гнал, и в одном только колхозе тридцать девчат любили его. Словом, герой на все руки. И в батальоне проворен был — из-под земли все достанет.

Матросову хотелось скорее узнать, — почему замполит говорит о Зыкове? Он и спросил об этом старшину.

— Постой, — ответил Кедров, — замполит подведет под нужное дело. Башковит человек.

Замполит Климских окинул опытным взглядом собравшихся: все слушали его внимательно. Он подумал и продолжал:

— И вот, помню, пришел к нам с пополнением один паренек — Суслов. Прямо из десятого класса. Маленький, хилый и слабый с виду, как былинка. Его такого и в армию, наверно, не взяли бы, забраковали. Так он добровольцем в ополчение пошел. Да еще шинель была у него не по росту — длинная, широкая, и он был в ней, как в мешке. Наш красавец Зыков и поднял Суслова на смех: «Что за кикимора! Что за букашка?» — спрашивает Зыков. Суслов отвечает ему: «Что же, бывает корова и с большим брюхом, да толку от нее никакого».

И случилось Зыкову и Суслову быть в одном бою. Зыков к тому времени проворовался — известно, такие ухари любят жить на широкую ногу, — его и послали рядовым в ту роту, где Суслов был комсоргом. Бойцы любили комсорга. Держался Суслов скромно. Беседы проводил толково. На любой вопрос мог ответить. А главное — слово с делом не расходилось у него. В походе ли, в бою, как ни трудно, сам ни единым стоном не пожалуется и товарищу такое слово скажет, что у того силы прибавится. И вот в одном жарком бою, когда тяжело был ранен командир, встал испачканный землей Суслов, поднял винтовку над головой и крикнул: «Товарищи, слушай мою команду! За мной, вперед!» И в словах его люди почуяли такую веру в свои силы, что будто перед ними встал не маленький, слабый парнишка, а богатырь, подобный Илье Муромцу. И бойцы без колебаний ринулись за ним и заняли укрепленный пункт.

— А как же Зыков, разрешите спросить, товарищ капитан? — не вытерпел Матросов.

— Имей терпение, скажу по порядку, — заметил капитан и продолжал: — Вот заняли высоту, а враг опомнился, в контратаку лезет. Одну отбили, другую, третью контратаку... Боеприпасы на исходе, а враг все лезет. Тут и вспомнили, что за патронами еще до атаки послали Зыкова. Что с ним? Верно, убит brave солдат. И вот нашли его в одной воронке, лежит лицом вниз и

голову под корягу спрятал. Так он со страху, как очумелый баран, и пролежал в воронке часа три. Когда спросили, почему он не выполнил приказа, Зыков, трясаясь и заикаясь, ответил, что у него насморк и нос его не переносит порохового дыма.

В землянке все засмеялись. Усмехнулся и замполит, подергивая бровью.

— Вот Зыкову после того случая бойцы проходу не давали. Не знал он, куда и деваться от насмешек. Хорошо, что попал в штрафной батальон, а то не жите было б ему. А Суслов и в других боях вел себя геройски. Сейчас он в госпитале. Пишет, что просится в наш батальон. Может, скоро и увидите его. Так что тысячу раз прав Владимир Ильич Ленин: о людях надо судить по их делам, а не по словам. А на войне — прямо скажу — настоящую цену человеку узнаешь в бою. И агитатор лучший тот, у кого слово с делом не расходится.

Капитан говорил так естественно и просто, будто в своей домашней обстановке, среди близких ему родных людей.

— Великую силу имеет правдивое слово агитатора, — говорил он. — Такое слово сильнее снаряда и динамита. Оно может поднять человека на любой подвиг. Великий писатель Горький говорил, что наша народная армия сильна не только потому, что у нее хорошие штыки, но, главное, потому, что ее вооружили непобедимой правдой. И вы должны использовать каждую возможность для того, чтобы рассказать солдатам последнюю сводку Совинформбюро, прочитать свежие газеты, провести беседу. Партия ведет народ к победе. Вы идете в авангарде. С вас во всем берут пример. Помните об этом всегда.

Валя Щепица смотрела на замполита пристально и хмуро, запоминая его слова. Заметив взгляд Матросова, чуть улыбнулась и вздохнула. Александр понял ее душевное состояние. Валя, как и он сам, думала об ответственности, о которой говорил замполит.

Но Матросова отвлек восхищенный взгляд Кедрова. Старик будто спрашивал: «Ну, каков замполит? Хорош? То-то, учись у него».

Матросову хотелось о многом спросить замполита. Но, когда тот кончил говорить, Александр не решился первым обратиться с вопросом. Ведь спрашивать надо

толково и умно. Он помнил поговорку, что один дурак может задать такой вопрос, что и сто мудрецов не ответят.

Молчание длилось недолго.

— Товарищ капитан, разрешите спросить? — поднял руку Воронов. — Патриотизм советских людей — это понятно: любовь к социалистической Родине. А в чем, собственно говоря, истоки патриотизма русских людей, которые шли на подвиги за Суворовым, Кутузовым?

Матросов завистливо покосился на Воронова: «Ишь, прыткий какой! И слова-то у него какие — «истоки патриотизма»... Умнющий парень. Куда мне до него!» Но тут же сам спросил:

— Товарищ капитан, а правда ли, что в здешних местах проходит великий древний путь... как его... «из варяг в греки»?

Замполит, ответив на вопросы агитаторов, посоветовал, кому и какие беседы провести. Воронову поручил рассказать солдатам о полководцах Суворове и Кутузове.

— А Матросов, — сказал замполит, — проведет беседу о важнейших исторических событиях, какие произошли в этих местах, где мы находимся.

Матросов покраснел от волнения. Его охватила тревога: «Как это у меня получится? Ох, не осрамиться бы!»..

Когда уходили, его еще больше смутила Валя.

— Приду тебя послушать.

— Да что ты, Валюша, я и так провалюсь!

Но Валя озабоченно заговорила о другом:

— Ой, попало мне от парторга! Не вовремя выпускаем боевой листок. А какой из меня редактор? Теперь много ребят из пополнения куда грамотней меня.

Ему приятно, что эта молчаливая гордая девушка так необычно приветлива с ним.

— Сашечка, — вдруг ласково сказала она, — приходи вечером ко мне в землянку. Мы скоренько сделаем этот боевой листок. Слышала: ты рисуешь хорошо; насчет тебя и с парторгом я уже договорилась. Придешь, серденько, а?

И он неожиданно для себя сразу же согласился:

— Приду.

Повеселевшая Валя махнула vareжкой и убежала. Когда Матросов проводил свою первую беседу с бойцами, случилось именно то, чего он опасался.

План беседы был им продуман, и он уверенно начал рассказывать о главнейших исторических событиях, происшедших в северо-западной части страны, где и теперь шли жаркие бои.

Его слушали внимательно. Только Макеев все кричал, ерзал и сопел недовольно.

Матросов, с тревогой косясь на Макеева, говорил о немецких псах-рыцарях, как они разоряли дотла и сжигали русские города и села и как их разгромил Александр Невский на льду Чудского озера.

Матросов говорил и примечал: чем больше он волнуется, тем хуже владеет речью своей. Слова или забегают одно на другое, или теряются, мысли летят вразброд, язык деревенеет. Он старался скрыть свое волнение.

— А какая погода хорошая! — услышал он хриплый голос Макеева.

Матросов сдержался, будто и не слышал замечаний Макеева. Ничего. Он выдержит характер.

От нервного напряжения по лицу его катились крупные капли пота, точно он выполнял сейчас тяжелую физическую работу.

И еще Александр заметил за собой: когда он говорил заученными фразами, часто не мог вспомнить их, и речь прерывалась, а когда своими словами рассказывал, получалось лучше.

Вдруг Макеев звучно зевнул и ехидно спросил:

— Ребята, и чего он турысы на колесах разводит?

На него зашикали.

— А ты, коли знаешь, помолчи, — строго сказал Белевич.

Матросов метнул ненавидящий взгляд на Макеева.

— Ты, Макеев, может, лучше меня знаешь, тогда говори.

— Не знаю и знать не хочу, — резко ответил Макеев.

— Ну и дундук! — удивился Антощенко. — Не знаешь, — так чего ж не слушаешь?

— Даже вон замполит учится, — сказал Белевич.

— Да чего пристали? — крикнул Макеев. — Стерпеть я не могу, чтоб меня тут поучал всякий пескарь.

Смешно даже! Тоже мне лектор. Из одного котелка едим кашу...

— Не буду! — вспыхнул Матросов и бросил блокнот на столик. — Пусть он сам.

— Сашко, и чего дурака слушаешь? — встал Антошенко.

— А чего он скулит? — голос Матросова дрогнул, глаза заблестели.

— От я ему зараз ребра посчитаю, — взмахнул кулаком Антошенко.

В это время вошли в землянку Кедров и Валя. Кедров изумился:

— Что за кулачная дискуссия? Думал, беседу проводят, а тут дело до драки дошло.

Матросову так стыдно стало, что он кинулся на нары и уткнулся лицом в вещевой мешок.

Это уже было совсем не солдатское поведение, и Кедров хотел скомандовать: «Встать! Смирно!», но не скомандовал, только с усмешкой покачал головой. «Ну, совсем еще мальчишка. И смех и горе с ним»... Выяснив, в чем дело, старшина сурово сказал Макееву:

— Не знал я, что ты такой ученый. Известно: только неуч думает, что он много знает. А вот один профессор мне говорил, что он учится у всех уму-разуму: у академика и рабочего, у инженера и сапожника, у молодого и старого... Дисциплинарное взыскание налагаю на тебя за срыв беседы.

В этот вечер в землянке стояла тишина. Матросов был задумчив, а когда все улеглись спать, он снова склонился над книгой и блокнотом. Колеблется от дыхания оранжевый язычок коптилки. За окном поскрипывает от ветра старая ель. Сдвинув брови, Александр торопливо пишет: «Гитлер говорит, что немцы должны завоевать весь мир, и требует в первую очередь истребить славянские народы. Гитлеровцы уже истребили и истребляют миллионы славян и других народов. Советский Союз объединяет семьдесят национальностей и народностей, скрепленных такой любовью и дружбой, какой не было на свете. И трудовые люди всего мира с надеждой глядят на нас. Гитлеровские генералы учат своих солдат: «Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай вся-

кого русского, советского, не останавливаясь, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик»... А днепровский колхозник дед Макар говорил мне: «Жить надо так, чтоб людям легче было оттого, что ты живешь. Совесть — глаза народа. Служи народу по совести».

Какая красивая душа у нашего человека! Какая черная, звериная душа у фашистского мракобеса!»

В ночной тиши шумит ветер над землянкой. Стонет седая обомшелая ель. Друзья спят, но Александру спать не хочется. Хорошо, что он теперь в кругу отважных, испытанных людей, но ему еще вс многом надо подтянуться, чтобы быть достойным их. По стрельбе обгоняют его Белевич и Антощенко, а Воронов гораздо лучше его отвечает на политзанятиях. Но ему, Александру, все-таки везет; у него много друзей и каждый охотно поможет.

Над землянкой завывает вьюга. Она, видно, бушует над всей землей. Заметает в окопах солдат.

И опять он припадает к блокноту и торопливо пишет: «Великое счастье быть сыном народа, который идет впереди всего человечества. Завидная доля выпала нам, комсомольцам, быть в боевых рядах нашего народа!»

Глава X

КОМСОМОЛЬЦЫ

На комсомольском собрании Александр не воспользовался своими записями. Его увлекли волнующие выступления других комсомольцев. После доклада комсорга Брагина о дисциплине сразу же заговорили о том, как содержится оружие, о выполнении приказов, о поведении в бою. Комсомольцы приводили примеры, взятые из быта подразделений, называли имена лучших бойцов. И Матросов решил: тут все уже продумали, прочувствовали и знают то, что он с такой ясностью впервые понял и записал прошлой ночью, что ему полезнее послушать других.

— Я предлагаю привлечь к ответственности комсомольца Сулова за недостойное поведение в бою, — сказал вдруг солдат Щеглов, коренастый, крепкий, покрасневший от возмущения.

Собрание насторожилось. Щеглов стоял в заднем углу большой землянки, именуемой клубом, и все обернулись к нему. Капитан Буграчев только что хвалил бойцов — Щеглова, подбившего три немецких танка в бою под городом Белым, и Сулова, раненого на том же рубеже. Похвалил именно за то, что они оба хорошо выполнили свой долг, отбив контратаку целой роты фашистов, и этим дали возможность ему, Буграчеву, заменявшему тогда комбата, решительно ударить по врагам с фланга и опрокинуть их.

— Как же? — встревожился Матросов. — Этого Суслова замполит в пример ставил, героем называл. Неужели и замполит ошибся?

Суслов только сегодня утром вернулся из госпиталя. В штабе батальона он весело заявил: «Ну, теперь я дома!» — и рассказал, с каким трудом ему удалось выпроситься в свою часть. И здесь, до начала собрания, сияющий Суслов всем, знакомым и незнакомым, крепко пожимал руки, довольный, что снова вернулся в свою боевую семью. Теперь он, потрясенный обвинением Щеглова, растерянно смотрел по сторонам, еще не совсем понимая, в чем его обвиняют, но уже страшась слов «недостойное поведение в бою».

— В самую горячую минуту, — продолжал Щеглов, — когда к нам подходил фашистский танк, Суслов метнулся по ходу сообщения назад и был ранен. Почему комсомолец Суслов показал врагу спину?

Солдатам нравился Суслов, тоненький, как былинка, веселый паренек, и никому не хотелось верить, что он преступник и трус.

— А ты почему до сих пор молчал? — спросили Щеглова.

— Я привык правду говорить в глаза, — обиделся Щеглов. — Чего же я зря говорил бы, если он был где-то в госпитале да, может, и не живой уже...

Дело принимало серьезный оборот. Гневные лица повернулись к Суслову:

— Чего же притаился? Говори, Суслов!

Суслов поднял руку:

— Товарищ председатель, разрешите... Товарищи, да мне страшной боя и смерти слышать такие слова. — Голос его задрожал. — Патронов у меня не стало и последнюю гранату бросил. Я и метнулся за гранатами, вспомнил, что они на дне окопа в уголке лежат. Ну тут меня ударило в плечо, и я упал.

Его прервали:

— Сзади и ударило? Значит, спиной к танку был?

— А почему у меня гранату не взял? — спросил Щеглов.

— Ну, может, с испугу не сообразил, — искренне сознался Суслов.

— «С испугу»? А мне, думаешь, не страшно было? — уже мягче сказал Щеглов. — Главное, один танк подбил,

другой тоже, а третий прет прямо на меня, а я попасть в него никак не могу. А тут Перепелкину осколком голову снесло. Сысоев упал, и ты метнулся. Жарко мне было так, что пятки горели, да пересилил себя, ловчей прицелился и подбил.

— А как это патронов не стало? — придиричиво спросили Суслова из задних рядов.

— И почему раненый ушел, раз так трудно было на рубеже? Может, не тяжело был ранен и еще помог бы?

— Честное комсомольское, товарищи, — сказал Суслов, и глаза его заблестели от слез, — я вообще не думал уходить, а кинулся за гранатами, и раненый не ушел, а потерял сознание, и меня санитары вынесли.

— А чем докажешь?

Председатель поднял руку:

— Спокойнее, товарищи, больше порядка!

Матросов, Костылев и Антощенко сидят в задних рядах, слушают. В словах фронтовиков много поучительного. Бойцы и командиры рассуждают здесь о смерти в бою, как о чем-то совершенно обычном, простом. О страхе говорят, что его вполне можно преодолеть. Боятся и теряются в бою чаще всего необстрелянные новички, над которыми потом подшучивают товарищи. В бою страшно, конечно, всем, но настоящий боец подавляет, преодолевает страх, потому что страх помрачает разум, сковывает волю, силу, ведет к гибели. А главное в бою — умело, точно, с честью выполнить боевой приказ. Поэтому всех так взволновало дело Суслова.

— Ох, скорей бы в бой, что ли! — говорит Матросов. — Проверить себя.

Костылев и Антощенко, переглянувшись, усмехнулись. Известно: Матросову всегда хочется поскорее все узнать, все изведать.

— Успеешь, Саша, повоевать. Затем и приехали сюда.

Буграчев предложил отложить дело Суслова для доследования.

— Зачем же откладывать? — взмолился Суслов. — Как же я товарищам в глаза смотреть буду с таким обвинением? Я прошу сейчас же вызвать Козлова, санитаря.

Собрание решило вызвать Козлова.

Огромный рыжебородый Козлов уже спал в теплой землянке и, когда его будили, долго не мог понять, зачем его вызывают. На собрание он спросонья пришел злой и, узнав, кто обвиняет Суслова, накинулся на Щеглова:

— Да ты что, очумел? Зачем на парня напраслину возводишь? Ты, значит, и не видел, как я Суслова полумертвого под крошечным огнем утащил? Не видел, — спрашиваю?

— Не до бороды твоей там было, — смущенно отозвался Щеглов.

— То-то и оно-то, не видел, а зря говоришь!

— А я видел, как он метнулся назад.

— Метнулся! Он бы кровью изошел, кабы не я.

В землянку вошел замполит Климских. С улыбкой он подошел к столу президиума, что-то тихо сказал Буграчеву и Брагину; те широко открыли глаза и тоже заулыбались. Все взгляды выжидающе устремились к президиуму. Козлова уже не слушали. Главное он уже сказал: Суслов не виновен.

Тогда Климских шагнул вперед и, волнуясь, объявил:

— Товарищи, разрешите сообщить вам великую радость. По радио передали приказ Верховного Главнокомандующего об окончательном разгроме окруженных под Сталинградом вражеских войск.

Все, как по команде, разом встали. От громких рукоплесканий и возгласов, казалось, раздвинулась над головами промерзшая насыпь землянки.

Замполит сообщил, сколько тысяч из огромной отборной гитлеровской армии под Сталинградом убито, взято в плен, какие захвачены трофеи.

— Трудно было нам в сорок первом, когда вооруженный до зубов и уже опрокинувший с десятков государств враг внезапно кинулся на нас и дошел до Москвы, до Ленинграда, а в сорок втором и до Сталинграда, — говорил замполит, и лицо его от волнения подергивалось. — Но фашистский зверь сломал себе зубы. Мы устояли. Устояли, и теперь бьем, и добьем врага, обязательно добьем, потому что нас вела и ведет коммунистическая партия — ум, честь и совесть народа.

— Ум, честь и совесть народа, — повторил Матросов, постигая глубокий смысл этих слов, и насторожился: заговорил его любимец Буграчев.

— Да, устояли, а теперь начинаем окончательно изгнание и разгром самого сильного, самого коварного и жестокого врага, какого еще не знала история.

Буграчев говорил тихо, но слова его тяжелы, как металл, и в суровом взгляде — стальной блеск.

— Наш советский человек — самой чистой совести, самой высокой нравственной культуры, самых светлых идеалов, и в этом наша несокрушимая сила. Фашисты сжигают на кострах книги передовых мыслителей, хотят поработить и отбросить человечество на века назад. Почернела от руин и пепла наша земля, где прошел враг. И теперь особенно враги ждали нашей гибели. Они кичились своей первоклассной техникой. Но техникой можно уничтожить заводы, города, но нельзя убить душу народа, правду народа. На место одного сраженного у нас становятся тысячи. Мы устояли да еще вооружились новой техникой и вот ударили под Сталинградом. Фашистам теперь уже не подняться. А мы только плечи разворачиваем. Сила советского народа неисчерпаема. Много впереди еще трудных боев, но только наша армия спасет мир от фашистского рабства.

Опять грянули рукоплескания и возбужденные голоса:

— Скорее и нас ведите в бой!

— Ведите на врага!

Замполит поднял руку, требуя тишины. И когда все замолкли в ожидании, торжественно объявил:

— Рад сообщить вам, товарищи, что желание ваше идти в бой совпало с приказом командования. Есть приказ — выступать.

— Ура-а! Ура-а! — снова загрелись возгласы.

Но замполит энергичным жестом водворил тишину и продолжал:

— Но предупреждаю: поход предстоит очень трудный. По бездорожью, через леса и болота. Надеюсь, все трудности марша преодолеете с честью. Дальнейшие распоряжения и инструкции получите от своих командиров.

— Дождались, дождались! — возбужденно говорил Матросов друзьям, довольно потирая руки в предчувствии манящей и пугающей неизвестности.

На обратном пути из «клуба» Матросову было так хорошо от ясности душевной, что он затеял игру в снеж-

ки, забрасывая друзей комьями снега и ловко увертываясь от них.

На другой день был проведен боевой смотр. Результат короткой, но трудной учебы оказался хорошим. Пополнение неразлично слилось с колоннами фронтовиков. Когда стройные шеренги солдат шагали перед командованием бригады, Матросов уловил довольную улыбку седого генерала. Потом он говорил друзьям:

— Хорошо, когда начальник улыбается. Увидел я, как генерал улынулся, и, понимаете, сами ноги еще крепче шаг припечатывают. Командир доволен, и тебе хочется еще лучше сделать. Ну, братки, теперь скоро.

— Та вже ж скоро, — усмехнулся Антощенко.

Вечером автоматчикам выдали на руки патроны, гранаты, продовольственный «неприкосновенный запас», и бригада выступила в поход.

Глава XI

НА МАРШЕ

Бригада шла форсированным маршем выполнять важное задание командования. Уже гремели наступательные бои на всех фронтах, от Баренцева до Черного моря. Разбитые под Ленинградом, Сталинградом, на Дону и на Кавказе, гитлеровцы отчаянно цеплялись за новые рубежи, пытались удержаться, но все шире разворачивалось наше наступление — фашистов изгоняли из пределов советской страны. Развивались решительные бои и на Калининском фронте.

После небольшой передышки бригада должна была быстро проделать двухсоткилометровый марш, имея общее направление на город Торопец и населенные пункты Стрельцы, Демидово, Клюково, Шилово и Махай на реке Ловать, севернее Великих Лук, где предполагался район сосредоточения бригады. Потом бригаде предстояло быстро развернуть наступление в районе города Локня, выйти на линию железной дороги Локня—Насва и перехватить эту важную магистраль.

Второму батальону было приказано выполнить особую задачу: с ротой автоматчиков во главе достигнуть деревни Чернушки, во что бы то ни стало разгромить мощный укрепленный пункт противника, открыв тем самым дорогу для дальнейшего успешного наступления бригады.

Солдаты идут с полной боевой выкладкой: на них — автоматы, запасные магазины, гранаты, лопатки, веще-

вые мешки с продовольствием и прочим походным солдатским имуществом. Третьи сутки уже идут они днем и ночью, часто по пояс увязая в снегу; идут и не знают, далеко ли еще идти.

Чем дальше, тем хуже дорога; в сугробах все чаще застревают машины, и растет ноша на плечах бойцов. Все больше вводится предосторожностей. Ночью передается по цепи предупреждение: «Не курить, громко не разговаривать». Днем все чаще в небе стали появляться вражеские самолеты, и тогда летели предостерегающие возгласы: «Воздух!», «Воздух!».

Еще стояла суровая зима, но морозы вдруг сменила предвесенняя февральская ростепель и чувствовалось дыхание весны. Лопались коричневые почки ивы, и на голых красноватых ветках серебрился нежный пушок. Днем иногда подтаивало. Солдатские валенки промокали, и в них хлюпала вода. А ночами опять крепчали морозы, и валенки промерзали и стучали, как каменные. Или валил снег, выла вьюга, сбивала с ног, слепила глаза, закидывая снегом неверные тропы, наметая сугробы в рост человека.

Была только одна дневка; редко устраивали привалы.

Быстрота марша решала успех ответственной боевой операции. Бойцы сами неудержимо рвались вперед. Начался решительный перелом в ходе Великой Отечественной войны. В дымном зареве нарастающих боев уже явно чувствовалась долгожданная победа. Каждому хотелось вложить и свою долю труда в великое дело освобождения Отчизны.

Матросов шагает с ротой автоматчиков впереди колонны. Автоматчики первыми протаптывают дорогу.

Утро морозное, румяное, звонкое. На рассвете, когда переходили реку Торопу и сворачивали с Великолукской дороги на север, Матросов почувствовал во всем теле ноющую усталость, и ему так хотелось спать, что он боялся уснуть на ходу. Петр Антощенко, тоже до предела уставший, шагал рядом, прихрамывая и клюя носом.

Но утро разгорелось такое хорошее, что сон прошел, усталость забыта. Справа, за рекой Торопой, сначала вспыхнула багровая заря, и сквозь запушенные снегом деревья заблестело, как начищенная медь, вытянув-

шееся по горизонту облако. Потом малиново-золотистое пламя от восходящего солнца брызнуло и залило весь заснеженный лес, и синие тени на снегу стали голубыми.

Матросов повеселел. Он умел настраивать себя на веселый лад даже в минуты грусти, но теперь хорошее настроение пришло само собой. Хорошо, что нескончаемо тянутся леса, и тут он узнает много нового о зверях, птицах, о растениях. Хорошо, что сбывается его мечта и он идет на фронт, к заветной цели. Хорошо, что у него есть Лина, такая родная, близкая, что он всегда как бы чувствует ее рядом с собой.

Охваченный воспоминаниями, Матросов глядит вокруг и не наглядится. Часто меняются краски: леса. Вот уже поднявшееся над деревьями солнце пронизало и осветило золотисто-розоватыми лучами огромные зеленые сосны и ели, белогрудые березы и черные рябины, облепленные сверху мягкими хлопьями снега чистейшей белизны. Вековые деревья обступают движущуюся колонну, как рать седых великанов. Повисшие ветви ивы и березы, покрытые инеем, вспыхивают на солнце сверкающими искрами. Дятел крылом задел ветку, и плоские звездообразные снежинки, легкие, как пух, опускаются, плавно и медленно кружась и поблескивая цветами радуги. Тишь. Не шелохнется ни одна ветка. Лес в снежном убранстве, будто насторожась, торжественно ждет чего-то необычного. Кругом сияет слепящая первозданная чистота.

— Ты глнь, Петро, — кивает Матросов другу, — ну до чего же хорошо!

— Та вже ж хорошо, — морщится Антощенко: у него болит нога, и, когда он ступает на нее, каждый раз ему кажется, будто впивается в нее нож.

Одна дорога у солдат, а думы разные. Матросов думает о лучших днях своей жизни. Вот они с Линой стоят на высоком зеленом холме; оба они еще только на пороге большой жизни, но уже чувствуют себя ее хозяевами и вслух мечтают, кем они будут и какие небывалые совершат дела...

Тихо хрустит под ногами снег. Трудная и долгая солдатская дорога. Но хороших дум у Александра хватит на любую дорогу. И на душе чисто и ясно, как в этом солнечном заснеженном лесу.

Мерно шагают бойцы, шурша снегом и вслушиваясь в глухой отдаленный гул орудийного грома. Колонна так растянулась, что даже на открытой местности не видно ее конца, только где-то далеко покачиваются длинные стволы противотанковых ружей.

Старшина Кедров обгоняет Матросова и подмигивает:

— Ишь, лес какой!

— Ой, до чего ж хорошо, товарищ старшина!

— Хорошо! — замедлил шаг Кедров. — Ну, а студеный цвет знаешь?

— Нет, какой это?

— Да вот лес белый, будто сад в цвету. Это и есть студеный цвет.

Матросову приятно, что с ним заговорил Кедров.

— Вот, товарищ старшина, говорят еще: плакучая береза. А она совсем не плакучая, а веселая. Глядите, товарищ старшина, она, как девушка с распущенными косами. А весной, когда в сережках, просто не нагладишься. Помните у Некрасова: «Белая березонька с зеленою косой». Хорошо!

Кедров понимающе усмехнулся:

— Я вот, знаешь, приглядывался к людям, и сдается мне: кто красоту примечает и любит, душа у того будто красивей... Ну, брат, некогда мне. — И быстро зашагал по обочине в голову колонны.

Матросов хотел спросить его, почему он так торопится, скоро ли привал или дневка, и постеснялся: без него много разных хлопот у старшины. «Студеный цвет!»... Ну и занятный старик! Всегда у него в запасе есть что-нибудь интересное... Александру не терпится продолжить разговор, хочется, чтобы все почувствовали красоту этого лесного утра и чтобы у всех на душе было так же хорошо, как у него.

— Петро, гляди, как здорово кругом!

— Здорово, — вяло соглашается Антощенко, не желая обидеть друга своим невниманием.

— Смотри, вон-вон снежок розоватый, как от солнца играет на ветках!

Хмурый Антощенко молча кивает головой. Ему не до красот. Рана на ноге растерта, кажется, до кости. Идти мучительно больно. Но даже другу не хотел он пожаловаться.

— Думаю, рушник, что Леся вышивала, выкинуть, — сказал он. — Дуже важно. Хочешь — возьми.

А Костылев предложил Матросову флакон одеколона, что купил еще в Краснохолме.

— Не возьмешь — выброшу. Иголлка будто пуд весит.

— Даже голову на плечах нести не вмоготу, — хрипло сказал Макеев.

— Да что это вы, хлопцы? — удивился Матросов.

— А что? — обиделся Костылев. — Казенное нельзя, а свое личное можно и бросить.

Матросов понял: совсем, значит, устали друзья, если Антощенко решается бросить такую дорогую память, как Лесин рушник, а франт Костылев — одеколон. А вчера возник спор из-за баяна. Одному Костылеву нести его было трудно. Матросов предложил нести по очереди. Макеев советовал бросить баян: «Сухари и те тащить трудно», — говорил он. Матросов воспротивился: «А я скорее сухари оставлю, чем баян!» — Все-таки решили нести баян по очереди. Его чаще других несут Дарбадаев, Матросов и Воронов.

Александру тоже тяжело, как и другим. Проклятая лямка вещевого мешка впиалась в левое плечо, но он по-малкивал: не легче ему будет оттого, что пожалуется, а Макеев только позлорадствует и потом еще больше расхнычется. Но Петру и Пашке, видно, тяжелее... И Матросов берет у Петра вещевой мешок и вскидывает его через правое плечо за спину, а у Костылева — одеколон:

— Ладно, свой магазин «Тэжэ» открою.

— Еще и шутишь! — грустно усмехнулся Костылев, завистливо косясь на Матросова. — И где только силы берешь?

— У земли, Паша, у земли сила. Знаешь про Антея?

Они идут молча. У Матросова не сходит с лица изумленная улыбка. Но вскоре она гаснет.

Все чаще встречаются следы войны. Вот колонна второй раз уже пересекает бывшую линию фронта: иссеченные осколками деревья, заброшенные и засыпанные снегом блиндажи, окопы, шалаши из веток, разрушенные и сожженные лесные деревушки. Вон висит полусрезанная осколком снаряда крона березы, склонив до земли заснеженные кудри. А вот дальше целое кладбище изуродованных боевых машин. Гигантские танки с зияю-

шими пробоинами в стальных боках, пушки с развороченными, изогнутыми и задранными вверх дулами. А вокруг обезглавленные и обожженные деревья. Сдается, что еще совсем недавно здесь гремел бой стальных мамонтоподобных чудовищ. Потом налетел железный ураган и смял все. А люди, где же люди? Да, были и люди. Вон из-под сугроба торчит рука в рукаве эсэсовского мундира. Окостенелые желтые пальцы растопырены, точно эсэсовец торопился скорей схватить что-то. И не успел. Настигла его неумолимая кара.

Вот слева на снежном сверкающем фоне чернеют трубы выжженной дотла деревни. У дороги — фанерный щит прибит к обугленной сосне. На щите, будто свежей кровью написанные, горят слова:

«Советский воин!»

На месте этих руин была цветущая деревня Отрадное. Был колхоз-миллионер «Рассвет». Привольно и счастливо жили здесь советские люди. Фашисты-изверги сожгли деревню за то, что часть ее населения ушла в партизаны. 24 человека — мужчин и женщин, стариков и детей — закопали живыми. 17 повесили. 48 парней и девушек угнали в рабство.

Воин! Отомсти врагу за муки и смерть советских людей, освободи скорей из неволи поработанных! На тебя с надеждой смотрит вся страна!»

Солдаты замедляют шаг, читают, стискивают зубы и молча идут дальше. Много таких щитов встречают они на своем долгом пути. И каждый боец мысленно отвечает на призыв: «Иду!»

Старшина Кедров говорит бойцам:

— Читай, запоминай, готовься и голову держи выше.

Уже с полчаса колонна идет густым лесом. Над узкой, заваленной снегом дорогой местами сплетаются ветки высоких деревьев и закрывают небо.

Вдруг люди оживляются. По всей длинной цепи бойцов летит приказ:

— Командиров рот — в голову колонны!

Командиры рот, увязая в снегу, по обочине обгоняют колонну. Бойцы, идущие по четыре в ряду по протоп-



танной уже дороге, сочувственно смотрят на командиров и связных, которых часто вызывают в голову колонны.

Через несколько минут командиры рот стоят на обочине, пропуская мимо идущих, каждый ждет свою роту.

Вскоре объявляется привал. Колонна, растянувшись вдоль дороги по опушке леса, располагается на отдых. Люди шутят над своей усталостью и тут же валятся на мягкий снег.

— Вот это перина, Антошка! — усмехается Матросов, вытягиваясь на снегу. — Даже твоя жинка такую не постелет.

Антощенко, скрывая боль, хочет казаться веселым.

— Та вже ж! И тебе, Сашко, так мягко дома спать не приходилось.

— Ноги тяжелые, как чугунные, — говорит Костылев.

Беспокойный Матросов не унимается, озорно подмигивает:

— Мишка, друзья-солдаты, идите до гурта, закурим. Хата моя — табак ваш.

— Хитрый, свой табачок бережешь, — отозвался Дарбадаев.

К Матросову подходят Дарбадаев, Воронов, Белевич. С этим веселым и разбитным пареньком веселее отдых. Матросов хорошо знает, как вести себя на марше, когда и сколько пить воды, как лучше обертывать портянками ноги, как на привале надо ложиться, чтоб лучше отдохнуть.

Макеев сидит в стороне, хмурится. И ему хотелось бы посидеть вместе с дружками, но с Матросовым он в ссоре.

— Макеша, — зовет его Матросов, — а ты чего там один? Иди до гурта.

Макеев смущенно подходит.

— Прошу всех до хаты, — приглашает Матросов гостей, кивнув на свой вещевой мешок, висящий на сучке ели, а сам, подтянув рукава шинели и ватника, быстро умывается снегом. — Уж извините, с туалетом припозднился. — Вытащил из вещевого мешка аккуратно сложенное полотенце, вытерся, и, надев варежки, хлопает ими, согреваясь. Потом подошел к Костылеву и незаметно сунул ему флакон с одеколоном. Костылев удивился:

— Я же насовсем тебе отдал. Все равно выбросил бы.

— Я и без него красив, — пошутил Матросов.

— Да, может, опять его бросать придется...

— А ты лучше Вале подари.

— И верно, — веселеет Костылев. — Только бы пришла. Ох, и друг же ты, Сашка!.. Ну, дай водички попить: в горле пересохло, а моя вода в фляге замерзла.

— А воды не дам сейчас.

— Да жаль тебе, что ли?

— Не жаль, а не дам. Чайку — можно, а холодную сейчас вредно: разгоряченный, и лежишь на снегу. На марше можно пить холодную воду только перед подъемом.

— Ты, как старик, все знаешь, — смеется Дарбадаев, разминая ноги и встряхивая открытой потной головой, от которой валит пар.

— Да всем же объясняли! — оправдывается Матросов. — А ты, Мишка, не храбрись, надевай шапку.

— Да мне жарко, чужак. Голову в снег сунул бы.

— Вот потому и надень.

Дарбадаев послушно надевает шапку.

— А за это вот тебе хороший табачок, — смеется Матросов.

Закурив, друзья ложатся на снег, вытягивают затекшие ноги.

Несколько минут они лежат недвижно. У каждого так ноет отяжелевшее, будто свинцом налитое тело, что трудно шевельнуть пальцем.

Но вскоре начинается бойкая бивуачная жизнь. Люди еще издали увидели синий дымок походной кухни и оживились:

— Думали, она, матушка, в сугробе завязла, а она следует. Любит солдата.

Завтракали вместе, усевшись в круг.

— Ну, и кулеш добрый! — шурился от удовольствия Антощенко, хлебая из котелка густой жирный суп. — Сроду не ел такого!

— И хлеб, как пирожное, тает во рту, — сказал Матросов, грызя мерзлый хлеб. Потом опустил его в дымящийся пахучий суп. — Ну и пир, братки! Честное слово, вкусней ничего не едал.

— Пройдешь двести километров, так и обгорелое полено копченой колбасой покажется, — хмуро замечает Макеев. — А кто, ребята, знает все-таки, далеко ли еще шагать?

— Далеко ли? — усмехнулся Дарбадаев. — У нас в Башкирии так говорят: хороший конь — до деревни семь километров, а плохой — семьдесят семь. Понял, Макеша?

— Молчи, заноза! — сердится Макеев. — Не до смеху тут.

— Ну, заплачь, — советует ему Воронов. — Надоело всем твоё нытьё. Не солдат — мамалыга какая-то.

— Сосочку ему с молочком, — предлагает Костылев.

— Идите вы все к шуту! — шипит Макеев. — Вы еще увидите, какой я солдат.

Матросов добродушно подмигнул ему:

— Слушай, Макеша. С виду ты парень геройский, а все приbedняешься. Постой, я тебя, ледяного, чайком согрею. Братки, уж пировать, так пировать! Набивай котелки снегом!

Матросов находит в кустах сушняк, вытаптыкает в снегу местечко и разжигает костер — быстро и аккуратно.

— Если бы мне надо было выбирать невесту, — говорит он, подвешивая над костром котелок со снегом, — я сначала испытал бы характер девушки на трудных маршах или в экспедициях.

Сидя на корточках, он шевелит костер, шурясь от едкого дыма, и думает, чем бы хоть немного развеселить дружков своих.

— Хотите, ребята, расскажу вам, как мы с Тимошкой — братишкой моим — на базаре промышляли, когда беспризорничали? Уморушка одна...

— Говори, говори, чего тут спрашивать! — говорит Воронов.

— Тимошка был настоящий артист, хотя и было ему лет одиннадцать. Была, значит, у беспризорников своя промышленная академия с факультетами...

Матросов опускает все неприятное и тягостное из своих походов с Тимошкой и говорит только о веселых приключениях, и дружки от души смеются.

— Промышленная академия, говоришь? — смеется повеселевший Костылев. — Факультет!.. Ха-ха-ха!..

— Это, хлопцы, вроде того, як ведьма била дядьку Прокопа, — начинает Антощенко, хотя это было совсем не «вроде того». — Значит, гулял Прокоп с жинкою на свадьбе одной, и приглянулась ему одна бабочка — вдовица-красавица, прямо краля писаная, а жинка у Прокопа, Прыська, — сущая лахудра: рябая, дробенькая, рыжая и злющая, ревнющая, як мартовская кошка. Вот хватил Прокоп горилки и стал атаковать вдовицу-красавицу, не жалеючи словесного боезапаса — усищи свои чуть ли не за уши закручивает, бровями двигает и все выхвывается, що не боится он ни черта, ни бога и никакой нечистой силы и що не родился на свет человек, который испугал бы его чем-нибудь. Прыська, готовая лопнуть от злости, предупреждала мужа: ой, Прокопе, прикуси язык, а то не было б лиха. А сама уже замышляла разные козни. А известно: ревнующая жинка готова на все, даже в ложке дегтя утопить собственного мужа, так говорит наш дидусь Панас. И вот ночью вышел Прокоп из хаты по известному делу, а темнота — хоть глаз выколи. И вдруг будто с хатней крыши — прыг ему на плечи щось лохматое, все в шерсти, як корова, и завыло по-совиному: «у-у-у...» Прокоп сразу обомлел: это ж, думает, она, проклятая ведьма, мстит ему за то, що он вы-



хвалялся. Упал Прокоп на четвереньки, кричит не своим голосом: «Рятуйте, люди добрые!» А ведьма уже сидит на нем верхом, держит его за усищи, як коня за поводья уздечки, и хрипит в ухо: «Вези меня, такой-сякой, до Ерусалиму!..» А Прокоп свое: «Ряту-уйте, люди!..» Открылась дверь из хаты, полоса света упала на Прокопа, люди выбежали к нему, а он уже полз на четвереньках до хаты и все хрипел: «Рятуйте». Схватили его под руки, втащили в хату, а он с перепугу на ногах не стоит, падает. Словом, и смех, и грех. Стали допытываться у Прокопа, что случилось, а он, до краю перепуганный, мычит одно слово: «Ведьма... ведьма...» И тут одни люди дрожат от страха, других смех разбирает. В то время и вошла в хату Прыська, в руках почему-то держит кожух, свернутый шерстью наружу. Потом бросила кожух и кинулась до мужа: «Ой, Прокопчику мой, що ж это такое подеялось с тобою, мой герой бесстрашный?..» А люди — ну просто со смеху падают, догадались, как надругалась проклятая баба над собственным мужем...

Смеется и Матросов, кулаками трет глаза, слезящиеся не то от едкого костровского дымка, не то от смеха. Хохочут его дружки и обступившие их солдаты. Только все еще хмурится Макеев. Матросов, смеясь, протягивает ему кисет с табаком:

— Закуривай, Макеша. Не дуйся, как сыч, когда всем весело.

— Не до смеху тут, ежели плохое настроение, — ворчит Макеев, скручивая сигарку. — И ноги вон одеревенели, и писем все нет; может, и не будет.

Матросову хочется развеселить и Макеева.

— Настроение, говоришь? Поддайся ему только, настроению, оно тебя в болото заведет. Я сам настроение настраиваю, как хочу.

— Это верно, — говорит Воронов. — Регулировать настроение можно.

Они пьют чай, смеются и спорят.

Слышится строгий голос старшины:

— Эй, Суслов, чего шапку снял? И на снегу потный не лежи. Перегрелся — походи тихонько, потом и отдыхай.

У Кедрова лицо озабоченное, осунувшееся. Матросов приглашает его:

— Товарищ старшина, чайку попейте с нами! И табачок есть хороший. Споем вам что-нибудь.

— Спасибо, некогда, — говорит Кедров на ходу, значительно заметив: — Курите, пойте, пока запрету нет. А скоро и нельзя будет.

Матросов спешит воспользоваться пока еще доступным счастьем и, прислонившись спиной к стволу сосны, тихо запевает:

Ой, да ты, калинушка...

Песню сразу же подхватывают Антощенко, Воронов, Дарбадаев. Высоко взвывается тенорок Матросова:

Ты малинушка!
Ой, да ты не стой, не стой
На горе крутой...

Не вытерпел и Костылев, поднимается, берет баян, играет. Подходят комсорг Брагин и комвзвода Кораблев, тихо подсаживаются к костру и тоже поют.

Матросов поет самозабвенно, глядя куда-то на верхушки сосен, будто за ними и открывается эта калинушка на горе крутой. Александр поет и думает о Лине. Так всегда: волнующая музыка, песня, все прекрасное напоминает о ней. Любовь! Как хорошо ощутить в сердце эту вечно молодую силу. Большая любовь рождает и большие дела.

Ой, да ты не стой, не стой
На горе крутой...

Широкая, как степь, как вешняя Волга, льется песня. Сандружинница Валя Щепица, чтоб не помешать певцам, стала поодаль, у корявой ели, и заслушалась.

В голове колонны, слушая песню, приподнялись командиры — Афанасьев, Климских, Артюхов и Кедров.

— Мои автоматчики поют, — гордо усмехается Артюхов. — Матросов запевает. Мои орлы!

— Ишь, соловей, залился, — подкручивая седые усы, подмигнул Кедров, когда тенорок Матросова зазвенел на высокой ноте. Прислушиваясь, подняли голову бойцы всей колонны, растянувшейся по опушке леса вдоль дороги. И в самом конце колонны бойцы третьего батальона узнали:

— Автоматчики поют... Матросов.

А песня летит все шире и шире:

Ой, да корабель плывет,
Аж вода ревет.
Ой, да как на том корабле
Два полка солдат...
Ой, да два полка солдат,
Молодых ребят...

И когда замерли последние звуки песни, автоматчики, еще переживая ее очарование, переглянулись. Воронов заметил необычный блеск влажных глаз Матросова.

— Сашок, что с тобой?

— Да ну тебя, тезка! — смутился Александр и, рукавом шинели утерев глаза, просиял: — Дымок от костра в глаза... Ой, хорошо! Ну до чего ж хорошо! Поешь и будто видишь всю нашу землю — поля, леса, березку у плетня, и моря, и горы... Песня — сила! Жизнь и душу украшает. Хорошо сказал старшина: человек без песни — что птица без крыльев. Ох, и люблю песни!

Антощенко вздохнул:

— И Леся моя так хорошо спивает, — аж сердце млие.

Вдруг друзья умолкли, насторожились: послышался плач ребенка. Это было совсем неожиданно в лесных дебрях.

Глава XII

БЕЖЕНЦЫ

Матросов быстро встал и пошел в лес, откуда слышался детский плач. За густым ольшаником, поодаль на поляне, он увидел женщину с детьми. Закутанная в тряпье, она сидела на груди битого кирпича у черной закопченной трубы, оставшейся от сгоревшей избы. Трудно было определить ее возраст: она была так худа, что скулы, обтянутые сине-желтой кожей, торчали, как у скелета. Прижимая ребенка, она совала в его рот искусанную, тощую, как тряпица, грудь. Изможденная девочка жалась к колену матери.

— Здравствуйте, мамаша, — сказал Матросов.

Женщина подняла на него суровые синие глаза и хрипло ответила:

— Здравствуй, сынок... Хлебца дай...

Ей, видно, трудно было говорить.

Пообещав быстро вернуться, Александр побежал за вещевым мешком и скоро возвратился, вынул из мешка завернутый в газету кусок хлеба и протянул женщине. Она приняла его дрожащей рукой. Девочка сразу же схватилась за руку матери, жадно глядя на хлеб.

— Вот еще сахар, — подал Матросов сверток. В мешке рука его нащупала банку консервов. Он быстро вскрыл ее большим ножом и протянул женщине. Жуя и глотая, она говорила медленно и деловито:

— С дитем бедую. Молоко в груди присохло. Да те-



перь мы дома, — кивнула она на пепелище. — Это наша деревня Замосье, — слышал? А мы от немца, видишь, сегодня пришли сюда.

Матросов разглядел засыпанное снежком пожарище. На месте прежней деревни торчали из развалин черные трубы, обгорелые деревья, валялись обломки домашней утвари.

Подошел Дарбадаев.

— Ты что тут, Матросов?

— Да вот, видишь, мамаша домой вернулась и бедует.

Хромая, подошел Петр Антощенко.

— Теперь бы мужа дожидаться, — говорила женщи-

на. — Только не отпускают — замучают, проклятые... Спалили деревню и погнали нас в Германию, когда уже наши подходили. У меня, видите, эти маленькие. Как идти? Ихний обер-унтер долговязый прикладом по спине меня бьет. Потом наши пушки начали стрелять. Унтер, видно с испугу, погнал нас еще скорее. Я упала, он оттолкнул меня сапогом в канаву, стрельнул, да мимо. Троша, мой муж, схватил его за руку, а долговязый ударил его автоматом по голове, пригрозился застрелить и погнал, погнал... Может, вы, родненькие наши, догоните их и освободите наших, а?

Матросов пристально смотрит на женщину. Она сует жеванку в ищущий рот ребенка и, радуясь, что вернулась домой, к своим, говорит охотно. Кивнув на молодой сосновый борок, раскинувшийся по холму, поясняет:

— В песке там зарыто девятнадцать душ из нашей деревни. Отказались идти в Германию. Поначалу гитлеровцы из зондер-команды СС в черной одежде, с вышитыми накрест человечьими костями и черепом, согнали старого и малого со всего села. Как лошадей на торгу, стали отбирать тех, кто поздоровее. А когда отобрали, объявили, что поедут в Германию. Тут люди закричали, бабы и детишки заголосили. Опять все смешались в одну толпу, разбежаться стали. Эсэсовцы разозлились, схватили кого попало. Старшим проволокой руки скрутили и погнали, детишки побежали за родителями, так их всех и расстреляли. Перед смертью иных долго мучили, выпытывали, где партизаны...

И она говорит о замученных, повешенных, заживо закопанных или на кострах сожженных односельчанах и людях окрестных деревень, называя мучеников по именам.

— Смерть люди принимали, а не сдавались. Мы вас так ждали. Так ждали!.. Прошлой зимой ходила тут по деревням девушка-провозвестница...

— Какая провозвестница? — насторожился Матросов.

— Так у нас прозвали комсомолку Лизу Чайкину.

— И здесь она была? — взволновался Матросов. — Вы ее видели?

— Да как же! Мы же Лизу прятали, когда фашисты ее искали и много денег за нее обещали.

— Что же она говорила? Что?

— Она всю правду говорила народу. Не покоряйтесь, говорит, врагу. Бейте, как можете. Скоро наши придут, скоро победа. И люди шли в партизаны. Только с маленькими детишками оставались. Фашисты лютовали и дотла сжигали целые деревни. Люди терпели, верили, ждали. А когда эсэсовцы мучили ее, чтоб сказала про партизан и про Красную Армию, она им только и ответила: «На свете нету таких мук, каких не стерпит советский человек, а совесть свою не продаст!» А потом уже, голубка, молчала, как ни мучили ее. Только когда на расстрел привели и, чтоб запугать ее, стали так стрелять, что пули над самой головой в стенку били, Лизонька крикнула, голубка: «Да здравствует Сталин!» Тут фашисты не стерпели и выстрелили ей прямо в сердце.

Матросов, закусив губу, молчал. Потом тихо спросил:

— Еще что про нее знаете?

— А еще люди про нее такое сказывали, — вздохнула женщина. — Когда девочкой вступала в комсомол, сказала матери: «Для народа жить хочу». И такой будто был матери сон: стали советоваться между собой небо, земля, солнце и самый умный на свете человек — Ленин, как наградить девочку за ее любовь к людям. Небо и говорит: «Я ей дам синие-синие и глубокие глаза, такие же, как я». А земля говорит: «Урожаем жив человек. Я дарю ей волосы золотые, как венок из спелых колосьев». А солнце говорит: «Я согрею сердце ее так, что оно никогда не остынет». Тогда сказал Ленин: «А я такой правдой закалю ее сердце, что никогда и никто на свете не испугает его». Она, видишь, такая и была: и глаза синие, и волосы золотые, и сердце горячее, и бесстрашная...

На поляну из-за кустов вышли беженцы. Исхудалые и оборванные, они шли, еле передвигая ноги, опираясь на палки и держась друг за друга. От группы отделилась старуха, раскинула руки, упала лицом вниз, обнимая землю, заголосила.

— Ишь, убивается Макариха, — говорит женщина. — Сына-партизана фашисты замучили. Глаза выкололи, звезду на груди вырезали... А мужа, Макара, повесили; одна осталась. А жили хорошо до войны. На агронома сына выучили.

— Ото ж и по всей Украине такое, — вздохнул Антощенко. — Порубал и спалил ворог наши сады и хаты. Он вынул из вещевого мешка хлеб и тоже отдал женщине.

Она слабо улыбнулась:

— Спасибо.

— А як же вы, мамаша, тут жить будете?

— Дойти б до района. Власть не оставит, поможет. Дарбадаев, развязывая мешок, пошел к другой толпе беженцев.

Матросов, сдвинув брови, не сводя глаз, смотрит на женщину, на багровый кровоподтек под ее правым глазом и думает о Лизе Чайкиной, о тысячах и тысячах советских людей, замученных фашистами в городах и селах. Много он читал и слышал о фашистах; теперь он сам видит их черные дела.

Послышалась команда:

— Вста-ать! Подъем!

Матросов, Антощенко и Дарбадаев поспешили к колонне.

Теперь колонна, сокращая путь, движется по узкой просеке. И бойцы идут гуськом, держась протоптанной тропы, чтобы не увязнуть в глубоком снегу.

Матросов задумчив, неразговорчив: «Как же эти люди до лета проживут?»

Молчит он долго, наконец говорит друзьям:

— По той земле идем, по какой Лиза Чайкина ходила. — И, помолчав, тихо, будто про себя, замечает: — Много, много у нас таких... Антошка, — слышь? Вот вспомнилось. Когда-то я записал в своем блокноте такие слова, чьи, — не помню: «У большевика нет более высокой и благородной цели, как служение народу и борьба за его счастье. И только вместе с народом можно быть по-настоящему счастливым...» Ох, какая это правда! К примеру сказать, нельзя быть веселым и счастливым, глядя на беженцев. Согласен?

— Та вже ж правда. И дидуса все говорил: кто хочет жить против народа чи за счет народа, тот должен погибнуть. Только чего ты, Сашко, все мудруешь? Нельзя ж одному все горе людское пережить.

Матросов вздохнул и, не ответив, спросил:

— Антошка, черт, что у тебя с ногой? Еще больше ковыляешь.

— Та мовчи, не спрашивай. Пустяки! — И шепотом сказал: — Так больно, точно на нож ступаю. Только никому не говори, а то Валя дознается, — беда будет.

— Вот и пусть Валя перевяжет!

— Эге, «перевяжет»! Валю ж я и боюсь больше тигра. Прицепится и в санбат отправит. Тогда що? Хлопцев потеряю.

На следующем привале Матросов сел в сторонке, прислонясь к сосне и съевшись, как воробей. Друзья сразу заметили: приуныл неугомонный весельчак, шутник и песенник. Это было совсем не похоже на него.

— Притомился, видно, соловей, — вздохнул Воронов.

Дарбадаев накинулся на Костылева:

— Прямо скажу, это не чутко. Перед девушками голем ходишь, а тут навьючили вы с Антощенко свое добро на Сашку, как на верблюда. Совсем надорвался паренек.

Воронов, Антощенко и Дарбадаев подошли к Матросову.

— Устал, тезка? — сочувственно спросил Воронов.

— Да нет, не то, — поморщился Матросов. — И устал, конечно... Но думаю вот... Понимаете, хлопцы, вот закрою глаза, и чудится, будто тысячи и тысячи вот таких, как та женщина и ее девочка, что видели на привале, протягивают к нам руки и просят помочь...

— Мовчи, Сашко, и мне часто сдается, будто кричат и кличут на помощь маты моя и Леся...

— Вот, Петро, и вспоминается та сказка, что говорил дед Макар. «Почему цветет полевой мак»...

— Да-а, — вздохнул Воронов, — много таких еще ждет нас, чтоб скорее освободили!

Задумались друзья.

— Чай остынет, — сказал Дарбадаев. — Идем, Сашок, что-то не клеится у нас без тебя.

Глава XIII

КТО НАСТОЯЩИЙ ДРУГ

О пять бушует вьюга, крутит перед глазами облака снега. Снегом завалены все дороги и тропы — ни проехать, ни пройти. Порой даже угадать трудно, где тут, в лесных дебрях, пролегла дорога.

Уже от Торопца началось бездорожье, и грузовой транспорт бригады все больше отставал; только выносливые маленькие сибирские лошадки, надрываясь, ташили груженные повозки и розвальни. Но вот стали сдавать и они. Когда повозки и сани увязали в снегу, лохматые изнуренные лошадки, с намерзшими под брюхом сосульками, становились на дыбы, мотали кудлатыми, обиндевелыми мордами и, как бешеные, рвали построжки. Иные падали и уже не вставали. Все, что нужно было, теперь несли люди.

В небе стоит почти непрерывный гул советских эскадрилий, летящих на запад. Наступление ширится. Выполнить боевой приказ спешат и пехотинцы девяносто первой бригады, преодолевая заваленные снегом болота и лесные чащобы. Длинной цепочкой идут бойцы, жмурясь от летящего в глаза снега и ногой нащупывая протоптанный след. Хрустит снег под ногами. Глухо брякают котелки, лопаты. Путь солдатский — долгий, и думы, как тропки в снегах, бесконечны. А главная дума у всех одна: как ни трудно, а приказ надо выполнить точно и в срок. Никто не должен отстать в пути.

Вечером — привал в разрушенной деревушке. Усталые люди, как пьяные, валяются на снег. Но мороз крепчает, леденит самое нутро, и на снегу долго не улежать. Согреться бы где, кипятку хлебнуть, но уцелела только одна изба, да в ней окна выбиты, печь развалена.

— Печенки будто примерзли; все болит, а есть хочется, — удивляется Антощенко, лежа на снегу около избы и грызя мерзлый хлеб. — Тай дурень же я был, хлопцы! У нас в колхозе дыни такие большие, як поросята. Разрежешь ее, и мякоть розовая, сладкая, во рту тает, як пирожное. А кавуны были какие! Пудовые, ей-богу! И чуть дотронешься ножом до него, он и треснет, а в середке як жар горит красная сахарная мякоть. Целые бочки с медом стояли, корзины с виноградом. А я ж, дурень, того не любил, а любил тарань с цибулею¹ и кислый квас.

— Да замолчи! — плаксиво ворчит Макеев. — И так в животе мутит. Слышь, хохол?

— Ни, я без очков не слышу, — невозмутимо отвечает Антощенко.

— Верно, Петро, — смеется Матросов. — Рассказывай! Хорошее приятно и вспомнить.

Слушая Антощенко, Матросов вспоминает его деда. Давно он видел и слышал деда Макара, но неизгладимо живет в сердце дедова сказка.

Поеживаясь, Матросов окинул взглядом избу и обратился к друзьям:

— Братки, а что, если палатками завесить окна, печь исправить и затопить? Тут тебе будет и кипяток, жареное и пареное, а сколько народу попеременно погреемся!

— Надоел прямо, — ворчит Макеев. — Тут месту рад, пальцем пошевелить больно, а он лезет с выдумками. Не до печки тут.

Матросов молча засучивает рукава и, посвистывая, идет заделывать печь. Потом Воронов, Костылев и Дарбадаев приходят ему на помощь и работают тоже молча.

Макеев смущенно косится на них, жуя мерзлый хлеб.

— Минутку быть нам тут, а вы зря возитесь.

¹ Цибуля — лук.

— Минутки-то и должно хватить, — усмехается Матросов.

Вскоре в печке разгорается пламя, и в нее со всех сторон суют набитые снегом котелки, кружки, куски мерзлого хлеба. В избу до отказа набились бойцы. В самый темный угол пробрался и Макеев. Отогревшись и повеселев, люди едят разогретые консервы, пьют чай.

— У солдата домов — что кустов и холмов, а любая хата и дворца краше, — смеется Матросов, снимая с печки котелок с кипящей водой. — Держи кружку, браток! — подмигивает он Макееву.

Макеев сконфуженно бормочет:

— Мы ж лодыри, мы ж не строили дворцов.

— Ну, не ершись, тезка, наливай, грейся!

— Знаешь, Сашка, — пристально смотрит ему в глаза Макеев, — хоть ты часто и сердисься на меня, а все-таки ты друг настоящий.

Воронов язвительно заметил:

— Выходит, Макеев, твою дружбу за кружку кипятку или за табачную понюшку купить можно.

— А что? Дружбу, как и брюхо, подкармливать надо.

— Ерунда! Настоящий друг даже на смерть пойдет за друга. Как смотришь, тезка?

— Братки, да это трудно сразу, — смутился Матросов. — Помню, кто-то сказал: если ты ищешь друга без недостатков, рискуешь остаться без друзей. Это верно, по-моему. Но это не значит, что друзья — все без разбора. Для меня друг — это тот человек, которому хочется сделать что-нибудь хорошее. И я в нем вижу хорошее.

— Больно много у тебя хороших!

— Их много и есть. Да не всегда скоро в человеке разглядишь хорошее. Иногда сцепишься с человеком, обозлишься на него, а приглядишься — душевный он человек. А чем больше друзей, тем лучше, — ясно? Жить легче, в бою порука и душу отвести есть с кем.

В избу вошли взводный Кораблев и старшина Кедров. В мигающем свете горящих лучин люди, звеня кружками, пили чай, оживленно беседовали.

— Э, да у вас тут настоящий ресторан! — подмигнул Кедров.

— Богато живете, — одобрительно кивнул взводный. — А у всех ли порядок, не стер ли кто ноги?

Никто не жалуется. Антощенко опускает глаза.

— Матросов, я куницу видел, — весело говорит Кедров, срывая ледяшки с усов. — Гналась за белкой! Понимаешь, с дерева на дерево, ну, летом летит проклятая! Насилу удержался. Ух, как хотелось подшибить ее! Еще видел, как шныряли в рябиннике и клевали подмороженную красную рябину хохлачи-свиристели. Занятные птицы...

Матросов рад приходу Кедрова.

— Товарищ старшина, садитесь поближе... У нас тепло. Чайку попейте. Табачком снабдим. Расскажите нам, как охотились в тайге.

— Некогда, Матросов, после расскажу, после.

Когда взводный и старшина ушли, усталые бойцы притихли. Лучина погасла. Кое-кто уже спал, лежа или сидя. Только в углу кряхтел Антощенко.

— Антошка, что с тобой? — спросил Матросов.

— Та ничего.

Но в голосе его что-то недоброе. Матросов пробрался к нему, допытывается, что случилось.

— Та шо говорить — сердится Антощенко. — Ну, коли пристал як репьяк, то скажи: ты мне друг, Сашко?

— Вот чудак, еще спрашивает!

— Я до кости растер ноги, на портянках кровь заскорузла, а сказать кому — боюсь, бо меня в медсанбат отошлют.

— Не солдат ты, Антошка, а дите малое.

— Побачим, хто солдат, — обиделся Антощенко. — Не кажи гоп, поки не перескочишь. Сукно трет, — понимаешь?

Матросов порылся в вещевом мешке.

— Возьми, вот мягкие портянки. Фланель.

— Оно коли б такие онучи, як дома, — кряхтит Антощенко, обертывая ногу. — У Леси холстына мягче ваты. Чуешь, Сашко?

Но Матросов уже крепко спал, неловко склонясь набок и держа сухарь в руке. Антощенко осторожно подложил под его голову вещевой мешок.

Через несколько минут, отвернув палатку, в окно заглянул Кедров и с суровой хрипотцой скомандовал:

— Встать! — и тихо, отечески добавил: — Вставай, сынки, подымайся. Дома выспимся.

Матросов зевнул, поднялся и строго потребовал:

— Давай, Антошка, твоего «сидора» я понесу.

— Ну, бери.

Антощенко, благодарный, шагал за Матросовым, не отставая.

— Ну, Сашко, и накатаемся ж на човне по Днепру и напиваемся ж, когда отвоюемся!

Ночью вьюга стихла. Небо прояснилось. В большом оранжево-голубом круге показалась ущербленная луна. В серебристом прозрачном мареве выступили, как в сказочном уборе, облепленные снегом деревья, и низкие звезды словно повисли на их седых кронах.

Люди идут тихо. Слышен только глухой скрип снега. Иногда по рядам летит суровое предупреждение: «Не курить!», «Громко не разговаривать!»

Следующий привал был перед рассветом. Люди сразу же повалились на снег и заснули.

Матросов отдал Антощенко вещевой мешок, автомат и, вытягиваясь на снегу, спросил его, болят ли ноги.

— Та ничего. Занемели, боли не чую.

Они сразу же уснули. Матросову казалось, что спал он очень долго, когда пронизывающая все тело зябкая дрожь разбудила его. Но спал он всего несколько минут. Мороз пощипывал лицо. Матросов хотел повернуться на бок, свернуться в комок, согреться и снова уснуть, но его что-то держало: оказалось, шинель примерзла к коряге. Александр осторожно отодрал ее и встал.

«И хорошо, что проснулся, а то совсем заочечел бы».

Он с тревогой окликнул спящих на снегу людей. Не чувствуя холода во сне, они могут простудиться, заболеть, замерзнуть. Он идет от одного бойца к другому, будит их, требует повернуться на другой бок.

Некоторые спросонья недовольно ворчат.

— Вот пристал, как оса! — трясет головой Воронов. — Ни минуты покоя от тебя.

Матросов разложил маленький костер, протянул растопыренные пальцы над колеблющимся оранжевым языком пламени.

— А ну, братки, кто замерз, — грейся.

Темнота вокруг сгустилась. Из темноты выходят люди, окружают костер, греют руки, закуривают.

— Молодчина, Сашка, что разбудил, — говорит Воронов. — А то будто живот уже обледенел.

Макеев хочет встать — и не может.

→ Да кто меня держит? — злится он. — Олух, не до шуток тут!

Воронов и Матросов берут его за руки и поднимают. Оказалось, и его одежда примерзла.

Суслов, отогревшись у костра, рассуждает:

— До войны, бывало, дома босиком зимой по полу походишь — и зачихал: насморк. А тут в октябре я переплывал речку — ледок уже ломался. Ну, думаю, простужусь. А побегал, градусного хлебнул — и хоть бы что!

Раскачиваясь, выходит из темноты великан Дарбадаев и хрипит простуженным басом:

— А ну, у кого табачок, угощай!

Все молчат: табачок на исходе, побережь надо.

— На, прожора, — протягивает кисет Матросов.

— Да у тебя тут, Сашутка, всего на закурку.

— Бери, бери, я себе всегда добуду. Мне, спасибо, не отказывают.

Ему нравилось угощать других, и он делился всем, что имел. Матросову платили тем же.

Снова растянувшись в лесной чаще и сугробах, торопливо идет колонна. Опять Матросов несет вещевой мешок Антощенко. Он сам уже устал и пошатывается. Дарбадаев берет у него вещи Петра.

— И верно, понеси, Миша, до привала. Ты ведь здоровей верблюда.

— Не говори, и я качаюсь; ноги будто не мои.

Взошло над лесом и пригрело февральское солнце, и утренний привал был особенно желанным. Под теплыми лучами так сладостно вздремнуть! Сон теперь был милее всего на свете. Даже про еду люди забыли, направляя под солнцем ноющее тело. Матросов, лежа на спине, с удивлением увидел на ветках ракиты сизо-серебристый пушок распускающихся почек. Еще больше удивил его тончайший цветочный запах. Откуда он? Почудилось, что ли? Он принялся: ветерок нес запах молодого тополя, что стоял шагах в двадцати. Матросов не вытерпел, встал, сломал веточку тополя, размял

липкую от зеленоватого, густого, как смола, сока почку, понюхал и повеселел. Вот она, жизнь! Еще кругом белым-бело от снегов, и ночью он примерз, а почки уже наливаются соком, набухают. Значит, весна уже идет. Он прячет ветки тополя и ракиты в карман ватника, чтоб показать их Кедрову.

Улыбаясь, Матросов ложится, чтобы хоть немного подремать, но, увидев Антощенко, настораживается. Петр уединился за сосной и, воровски озираясь, снимает валенок. Матросов, вздохнув, направляется к нему. Антощенко прикрывает ногу.

— Покажи, — требует Матросов.

— Та чего тут показывать? Не театры, — сердится Антощенко и нехотя открывает окровавленную ногу. — Вот натер. Только будь другом, никому не говори.

Матросов хмурится:

— Ну, ты, Петро, прямо балда балдой. Побить тебя мало. Нет, кончу я с тобой дружить. Довольно возился. Ну, что это? Хлястик оборван. Искалечил себя — значит, неловкий, неумелый боец, не знаешь, как нужно ноги обернуть. Сам себя из строя выводил, когда каждый боец на счету... Ну, кому все это на руку? Врагу, вот кому. А еще комсомолец! И на собрании обещал быть примерным.

Антощенко смутился. Он знает: Матросов аккуратен до щепетильности. Непорядка в его одежде еще никто не видел.

— Та не бурчи, Сашко. Мне ж и так тошно. И нога горит, и хлястик пришить не могу: пальцы задубели, иголку не держат. Хоть в петлю лезь!

Матросов сразу смягчился.

— Уже и раскис. При чем тут петля? Вот что надо...

Он вскрыл индивидуальный пакет, чтоб забинтовать Петру ногу, но увидел на икре глубокую кровоточащую рану с обсохшей по краям кровью и опустил руки.

— Врешь, Антошка! Ты не натер ногу, тут дырка.

— Ну, нехай дырка, — усмехнулся Антощенко. — Тебе веселей, шо дырка? А все-таки и натер — показал он на растертую щиколотку. — Не дуйся, Сашко. Я уже тебе говорил: на тактических учениях напоролся на проволоку. Це ж оно и есть, только растер. Да никому ж не говори, а то, знаешь, какие у нас языкастые хлопцы — сразу донесут Вале, а та в санбат вернет меня.

— Ладно, плакса, — сказал Матросов.

Когда Александр прикладывал к ране вату и потуже закручивал бинтами, почувствовал братскую нежность к этому большому, скромному и беспомощному парню.

— Ты, Антошка, не сердись, что нашумел. Сам знаешь, какой я горячий, но и отходчивый. У меня в Уфе есть братишка — Тимоня. Ну, точь-в-точь вроде тебя неумелка. Ты его и обмой, ты его и обшей. А все-таки я его больше всех люблю.

Антощенко растроганно отозвался:

— Так и я ж тебя, черта, больше всех... Больше нема у меня таких, как ты. Иной, видишь, дружит, пока ему выгодно, а как друг в беде — моя хата с краю, ничего не знаю. — Хмурое лицо Петра прояснилось.

— Без дружбы, Петро, нельзя! — говорит Александр. — Не имеющий друзей — самый бедный человек. Ну, снимай шинель.

Матросов вынул из вещевого мешка узелок, где были иголки и мотки разных ниток, и стал пришивать хлястик.

— Знаешь, Антошка, Горький в повести «Мать» говорит: наступит время, когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет, как звезда, перед другим... То, думаю, Горький про наше время и говорил. Разве не такие Лиза Чайкина, Гастелло, Зоя Космодемьянская?

— Такие... На такое дело шли.

Огрубелые пальцы Матросова соскользнули с иголки, застрявшей в толстом сукне; он зубами вытащил иглу.

— Нет, Петрусь, нам хныкать никак нельзя!

— Ясно, нельзя.

— На нас ведь народ глядит. Вот разобьем фашистов — все люди заживут хорошо. А разобьем обязательно! Фашист — это дикарь с бронированной дубиной.

Валя Щепица, завидя их, пошла к ним напрямик, с трудом вытаскивая из нетоптаного снега большие валенки, балансируя и взмахивая руками. На боку ее, как всегда, — огромная парусиновая сумка с красным крестом, набитая медикаментами, с которой она, как с личным оружием, никогда не расстается.

Подойдя, она строго спросила Антощенко:

— Ты чего хромаешь? Натертость, что ли?

— Да нет... — нехотя ответил Петр.



— Врешь! Профилактику против инфекции проделал? Нет? Снимай валенки.

— Да нема там ничего. Смотри ж ты, глазастая какая, заметила, що я шкандыбаю.¹ Ничого, Валюшечко, иди ты отсюдова, иди, дивчинка.

Валя рассердилась; круглые щеки ее вспыхнули румянцем.

— Ты мне, знаешь, голову не морочь! Наживешь гангрену — возись потом с тобой. Из строя выйдешь. Армия бойца потеряет через наши любезности. Не дозволю этого. Давай перевяжу. Видела, на левую припал. — И, не дожидаясь согласия, стащила с ноги валенок.

¹ Шкандыбать — хромать.

Оторопевший Антощенко растерянно смотрел то на Валью, то на Матросова.

— Ох жулье, ох, пройдоха! — заворчала Валя, разглядывая рану. — Так и есть. Икроножное ранение. Да какой дурак тебе еще перевязку делал не по правилам? Нет, я тебя немедленно эвакуирую в медсанбат.

— Да, Валя, не кричи ж, а то почует кто, — просит Антощенко. — Не отсылай меня в санбат, не разлучай с хлопцами...

— Даже слушать не хочу. А инструкция что гласит? Что, я из-за тебя инструкцию буду нарушать? По-комсомольски это? — Промывая и забинтовывая рану, Валя покачивает головой. — Ну и пройдохи! Ишь, сами вздумали перевязки делать. Видали? Да вы что — курсы, мединституты кончали? Да разве есть у вас риваноль, скипидар и марганцовка? То-то и оно-то! Умники! — Но голос ее становился все мягче. Наконец, заканчивая перевязку, она вздохнула: — Эх вы, хлопяти, и смех, и горе с вами!..

Тут Антощенко, улучив минуту, взмолился:

— Ну, Валечка, ну сестричка родненькая, не отрывай меня от дружков, не гони в санбат!

— Ладно, пушу тебя еще на один переход, а там посмотрим, что ты за герой. — И прямая, гордая, Валя Щепица зашагала прочь.

— Вальюша, — сказал вдогонку благодарный Антощенко, — може, Пашке привет передать?

— Не люблю посредников, сама передам, — не оборачиваясь, ответила девушка. — Скажи ему, чтоб меньше ругался, а то я ему такой привет задам, — три года чихать будет.

Довольная улыбка расплылась по обветренному лицу Антощенко:

— Смотри ж ты, Сашко. Думал, она деревянная формалистка, а она душевная, ценит солдатскую дружбу.

— Ну и отчитала нас, просто чудо-девушка! — засмеялся Матросов, продолжая пришивать хлястик.

Подошел старшина Кедров, пристально поглядел на немудреную работу Матросова, расправил усы.

— Это по-моему! Солдат все должен уметь. Заплатать, зашить, из топора кашу сварить, из земли дом сделать. А дружку подсобить — так и вдвойне хорошо.

— Да это сможет всякий, товарищ старшина.

— Не скажи. Как там... Рожь и пшеница летом родится, а хороший человек всегда пригодится. В бою да в беде друзья познаются... Вот гляжу на тебя, Матросов, — артельный ты, брат, человек!

— Я хитрый, товарищ старшина, — смеется Матросов. — У меня такой расчет: чем крепче каждый в отдельности, тем сильнее мы все вместе.

Старшина вдруг прислушался, значительно взглянул на Матросова, как смотрят на ребятишек, которых хотят удивить чем-нибудь приятным, и глазами показал вверх, где дятел старательно долбил корявый сук старой сосны.

— Слышишь? Вот она, дятлова кузница. Засунул шишку в щель, рябой, и выклеывает семена. Ишь, наработал! — Кедров показал на расклеванные сосновые шишки, разбросанные по снегу. — Каждая тварь, видишь, приспособляется, свои повадки имеет. Бывало, выйдешь в лес — и заглядишься. Тут видишь, как беляк по снегу петлял, там выдра-каналья с горки каталась, а то, глядишь, следок, будто цепочка на снегу — по две лапки все, а левая чуточку впереди, — значит, горностаи или ласка прогуливалась... Ну, отдыхай, ребята, подъем скоро!

Вскоре раздалась команда продолжать путь, но изнуренные, пригретые солнцем люди, казалось, не в силах были подняться. Воронов спросонья никак не мог обмотать портянкой ногу. Макеев несколько раз привставал и снова валился, засыпая.

Кедров лежал на снегу, положив голову на низкий трухлявый пенек. Все изможденное тело его болело. Старик поймал себя на мысли, что и ему страсть как хочется положить голову не на пенек, а на пуховую подушку, отдохнуть и выспаться в тепле. Но, услышав команду «Встать!», он сам себе скомандовал: «Встать, встать, старина! По тебе другие равняются».

И, когда впереди колонна тронулась, он уже стоял на обочине дороги, под сосной, подтянутый, бодрый.

Матросов поглядывал на старшину. Он тоже чувствовал себя настолько уставшим, что трудно было пошевелить пальцем. Даже после команды о подъеме ему хотелось еще хоть несколько секунд полежать. Но, как только старик поднялся, Матросов тоже сразу встал.

Кедров увидел нахмуренные лица солдат и, лихо подкручивая седые усы, задорно крикнул:

— Эй, песельники-запевалы, давай песню повеселей!

— Есть песню повеселей! — отозвался Матросов и запел:

Пролетают кони да шляхом каменистым,
В стремени привстал передовой.
И поэскадронно бойцы-кавалеристы,
Подтянув поводья, вылетают в бой.

Друзья — Воронов, Антощенко, Дарбадаев и Костылев — подхватывают:

Не разбил в боях нас да
Враг в былые годы,
И дружны, как прежде, мы с клинком.
Мчится кавалерия,
И в бои-походы
Танк несется вместе с боевым конем.

Хмурь и дрема сходят с лиц бойцов. Стараясь шагать в ногу, один за другим все дружно подхватывают песню.

Глава XIV

ПИСЬМА

В селе Михаи, у реки Ловать, была последняя дневка этого трудного марша. Линия фронта близко. Из-за Большого Ломоватого бора уже слышен орудийный гул. Трудный марш позади.

Шесть дней и ночей шли люди, останавливаясь только на короткие привалы. Часто менялась погода. Порой крепкие морозы сдавливали дыхание. Порой пригревало солнце, на ветках блестели капли, и веселым птичьим перезвоном наполнялся лес. Потом бушевала вьюга, заваливая сугробами тропы, слепя глаза и сбивая человека с ног. Но и в этой частой смене февральской погоды уже угадывалось приближение весны.

Теперь двухсоткилометровый поход заканчивался.

В село еще втягивался хвост колонны, а в штабах бригады уже шла напряженная работа.

Штаб второго батальона разместился в одной из уцелевших изб на краю села. Автоматчики расположились здесь же по соседству, в сараях. Бойцы рады, что хоть несколько часов проведут под крышей, и сразу валятся на раскиданное по сараю порыжелое сено.

Матросов, довольно растянувшись на сене, подмигнул друзьям:

— Не сарай, а спальня с пуховиками.

Но из-за туч выглянуло солнце и так пригрело, что с крыш часто закапало. Из «спальни», где под тонким

слоем сена была мерзлая земля, бойцов потянуло погреться на солнце. Снег стал мягкий, как вата. Вышел и Матросов.

Открылась дверь в штабной избе, послышался сердитый голос комбата Афанасьева:

— Что я их, на горбу понесу?

И тихий, но твердый голос замполита Климских:

— Сам знаешь, Алексеич: если надо, то и на горбу! Дверь захлопнули. Там шло совещание.

Батальон получил боевую задачу: быстро пройти Большой Ломоватый бор, на рассвете овладеть деревней Чернушки и продвигаться дальше в своей полосе наступления. Это была часть общей задачи корпуса. Но выяснилось, что выполнение задачи, поставленной батальону, усложняется. Деревня была мощным укрепленным опорным пунктом противника, со сложной системой дзотов и других огневых точек, а из-за лесного и болотного бездорожья туда сейчас невозможно продвинуть нашу тяжелую технику, которая, к тому же, где-то отстала. Решался вопрос, как подтянуть хотя бы две поляковые пушки.

Солдаты еще не знали о боевой задаче, о предстоящих трудностях. Они грелись под теплыми лучами ласкового солнца, старались как можно лучше использовать каждую минуту отдыха. Кое-кто уже крепко спал. Но вот всех сразу взбудоражил возбужденный крик с улицы:

— Почта! Письма!

Известно, с каким волнением фронтовики ждут писем. Удивительно, что даже на таком долгом и трудном марше полевая почта не отстала от движущихся частей. Но сомнений не было: невзрачный и шустрый батальонный почтарь — «Окопная радость» — Ефим Гусев, поводя раскосыми смеющимися глазами, раздавал письма, и вокруг него, забыв усталость, толкались люди. Гусев лучше других знал, с каким нетерпением бойцы ждут писем, и одному ему известными путями разыскал и перед боем доставил письма. Теперь он доволен собой, обласканный приветливыми словами и благодарными взглядами бойцов.

Матросов не ждал писем: мал срок, чтобы они успели прийти по новому адресу, да еще на марше. Тем больше он обрадовался, получив сразу три письма —

от Лины, Тимошки и от Еремина. Отойдя в сторону, он стал читать письмо Лины. Она писала о напряженной трудовой жизни колонийского коллектива. Многие воспитанники на фабрике выполняют по две—три нормы. Александр несколько раз перечитывал то место, где она писала, что теперь только по-настоящему поняла, какое это счастье, когда они были вместе. «Говорить о путешественниках, об открытиях науки, вместе слушать музыку, мечтать — у меня дух захватывает, когда об этом думаю. Не умели мы ценить! Ты говорил, Сашок: хорошо, когда человеку хочется стать лучше, чем он есть. Вот и я хочу быть более полезной, поэтому решила вернуться в Ленинград. Там блокада уже прорвана, но враг еще у стен города. Я стану за тот станок, на котором работал мой отец, или, если разрешат, возьму в руки оружие. Там я и к тебе ближе буду, может, и увидимся скорее... Воюй же, как надо, Сашенька, и возвращайся с победой. Помни: где бы я ни была, — я тебя жду, жду, жду»...

Точно горячей воздушной волной охватило Матросова. Лина... Милая...

Тимошка Щукин писал, что его имя занесено на Доску почета. Альбом героев Отечественной войны он значительно пополнил, а на днях поместил туда вырезанный из газеты портрет колонийского однокашника, а теперь летчика Георгия Брызгина, который в боях за Сталинград сбил три немецких самолета. Вот каков Гошка Брызгин! Еще Тимошка мельком обмолвился, что изучает английский язык и следующее письмо, может, напишет по-английски. Матросов довольно рассмеялся, представив себе Тимошку, говорящего по-английски.

Еремин писал коротко: работает мастером столярного цеха, и работы так много, что он днюет и ночует в цехе. Впрочем, все много работают. Силач Клыков, например, чтоб не отвлекать других от дела, один выносит из мастерской изготовленные снарядные ящики, работая за пятерых.

И странной казалась Матросову смешная и забытая теперь кличка Клыкова — «граф Скуловорот». И еще Еремин сообщал, что получил письмо от Виктора Чайки, который учится в военном училище, и заканчивал письмо так: «Как видишь, все слово держим и нашей дружбы не посраим».

«Не посраим! — улыбается Матросов. Эх, дружки, дружки! Много пережито с вами хорошего и плохого, веселого и грустного, но все испытания выдержала наша дружба, и как отрадно гордиться другом своим!» Легко у Александра на душе, и он идет со своей радостью к фронтовым друзьям. Они уже собрались в веселый кружок у плетня и оживленно говорят о новостях, что принесли письма с разных концов страны.

К автоматчикам подходит Буграчев.

— Ну, че-пэ есть, хлопцы?

— Совсем наоборот, товарищ капитан, — смеется Дарбадаев и первый рассказывает о полученном письме. Его Магрифа стала бригадиром-полеводом. Хотя в колхозе остались одни старики и женщины и работать им трудно, все-таки урожай собрали больше довоенного. Теперь уже наверняка Магрифа быстро, как птица, летает на коне по полям.

Костылев получил письмо от сестры-геолога из-за Полярного круга. В вековых тундрах найдены неисчислимые запасы каменного угля и уже строится новый город Воркута. И хотя там стоят шестидесятиградусные морозы, люди согреты дерзновенной мечтой, людям жарко от спешной работы: Донбасс временно захватили гитлеровцы, а стране нужен уголь.

А Воронову пишет девушка из Сужуми. Там сейчас так тепло, что цветут мушмула и миндаль.

Из Магнитогорска Макееву пишет брат Герасим, сталевар. У него почернела кожа на лице от бессменной работы у мартеновской печи, но он готов еще больше трудиться, только бы скорее прогнали врага. Так работают и думают все рабочие завода.

И еще Макеев не вытерпел, похвастался, что написала ему, наконец, и жена Анка: любит, ждет его; значит, — все хорошо!

Буграчев внимательно слушает, хитровато косясь на бойцов, — он знает, какое значение имеют для них письма.

— Получил, товарищи, и я письмецо, — говорит он. — Такой у меня есть друг, Володя Яковенко. Думаю, таким другом и погордиться можно. Пишет мне из госпиталя. Знаете, ему ногу до самого бедра ампутировали, а он не хнычет — напротив, готовится сдать экзамены за весь третий курс института. Так и пишет: «Не хочу

в госпитале зря времени терять и кашу есть». Вот он какой!

Беседа, возникшая внезапно, могла продолжаться часами, и у всех бы нашлось, о чем рассказать.

Комсорг Брагин, который всегда хочет знать все горести и радости комсомольцев, спросил, где Антощенко.

— И он как будто тоже получил письмо?

Матросов кинулся разыскивать друга.

В стороне, у сарая, надвинув на глаза шапку, сидит на бревне Михась Белевич и поет грустную песню про «перепелачку», у которой «грудка балить, хлебца няма...»

— Михась, не получил письма? — спросил Матросов.

— Жду все... Да чи дождусь? — махнул он рукой.

— Жди, Михаська, не унывай, — ласково сказал Матросов. — Антощенко не видел?

Антощенко сидит один за сараем на пне спиленной сосны, задумчиво смотрит в лес.

Увидев Матросова, он отворачивается и, быстро мигая полными слез глазами, подает ему письмо.

— От Леси, — доверительно говорит он дрожащими губами и тяжело вздыхает. — Ты, Сашко, тильки послухай, что она пишет. — И стал читать: «...Ище пишу тобі, Петрику любый, про наших дидусю Макара. Коли их эсэсовцы вешали в саду на груше, дидуся крикнули так, що аж залунало¹ по-над Днипром: «Брежете, вороги, все одно не одолеете нашу землю, народною кровью политую, а сгниете, як та чорная чума под солнцем». А повесили дидусю за то, що ходили по селам с бандурою и сказку говорили про то, вид чего польовый мак цвите, и в партизаны селян кликали».

Матросов слушает и мрачно глядит в землю. Совсем отлетела его радость, еще минуту назад наполнявшая сердце. Не может он радоваться, когда кругом горе, а гибель деда — это и его печаль. Дидуся, дидуся! Давняя встреча с тобой там, в саду, так взволновала его, бездомного хлопчика, глубиной твоего человеколюбия, что не забудется никогда! Не разошлось у тебя слово с делом, дидуся. Ты умер за людей так же, как герой сказки твоей — Данько. Как утрата самого близкого

¹ З а л у н а л о — эхо разнеслось.

человека, потрясла Матросова гибель деда. Но молчит Александр, чтобы не усугублять горе друга.

— «А ище пишу тобі, любый Петрику, що я теперь калека, — читает Антощенко, задыхаясь, точно слова застревают в горле. — Гнали нас, дивчат и молодежи, в неметчину, мы падали, целовали землю, плакали, прощались. А комендант Друцкер кричит: «Шнель!¹ Вперед, марш!» И як дотронулся он до меня, я не стерпела, плюнула ему в рыло, потом схватила каменюку и ударила его по голове... Началась потасовка. И неначе на всю степь я закричала: «Утекайте все в лес до партизан!» И все побегли. А мене подстрелили. Дивчата Крутою Балкою несли мене до самого леса. Теперь партизанский врач лечит мене. Нога перебита, и, може, хромой буду. А все село наше вороги спалили, а колхозный сад порубали...»

Длинными путями кочевало это письмо, сложенное треугольником, пока дошло сюда. Советский летчик доставил его из партизанского края в Москву, отсюда оно пошло в Краснохолмское училище. Там в судьбе его, видимо, принял участие начальник училища полковник Рябченко и дал ему дальнейший ход. И вот теперь этот листок бумаги, казалось, еще хранивший теплоту десятков человеческих рук, поведал неизбывную печаль именно тому, для кого она наиболее мучительна. Антощенко уже несколько раз перечитывал письмо и все не мог оторвать от него глаз.

Александр крепко сжал его дрожащую руку и сквозь стиснутые зубы проговорил:

— Мы им за все отплатим, Петруся! А ты не горюй, этим не поможешь. Почему ты прячешься?

— Та не хочу на хлопцев тоску нагонять.

— Чудак! Наоборот, всем ребятам надо почитать это письмо. Пусть знают, что люди терпят... Пойдем к ним, Петрусь, пойдем, браток.

— Та що я — артист? Не пойду, — упрямо заявил Антощенко.

Матросов понимающе взглянул ему в глаза и не стал принуждать.

¹ Шнель! (нем.) — быстро!

Глава XV

В РАЗВЕДКЕ

Командование отбирало самых расторопных бойцов из разведвзвода и автоматчиков. Матросову очень хотелось скорее проверить себя в опасном деле. У него дух захватывало, — так хотелось побывать в разведке. Еще в пору своего бездомного детства и потом за школьной партой в Уфимской трудовой колонии он мечтал о таких лихих делах, какими славились разведчики легендарных дивизий Чапаева, Щорса и Конной армии Буденного. В военном пехотном училище и в роте автоматчиков на учениях его хвалили за выполнение разведочных операций.

Он побежал к командиру роты автоматчиков, Артюхову:

— Разрешите и мне в разведку, товарищ старший лейтенант. Ну, прошу вас, разрешите. Верьте совести, не подведу!

Артюхов вначале отказал ему.

— Разведка — не прогулка с веселыми приключениями, а трудное и опасное дело. Разведгруппе поставлена очень ответственная задача, и посылают в разведку самых опытных людей.

На лице Матросова выразилось такое огорчение, что Артюхов даже отвернулся. Видно, что неугомонный паренек теперь не успокоится. Артюхов поразмыслил и признал свои доводы несправедливыми: Матросов до-

статочно серьезен и понимает важность предполагаемой разведки, да и расторопный, не хуже других.

— Ладно, разрешаю тебе идти в разведку, — сказал Артюхов. — Только смотри, не подведи. Отвечаю за тебя.

Когда все необходимые приготовления уже заканчивались, партийные, комсомольские билеты и другие документы были сданы на хранение, старшина Кедров особо напутствовал разведчиков деловыми советами и напомнил, как во время опасности должны вести себя коммунисты и комсомольцы. И он строго предупредил Матросова:

— Ты смотри, не подкачай, — и поправил на нем маскировочный халат.

«Все поучает меня, как мальчишку-несмысленщика», — недовольно подумал Александр и вместе с тем чувствовал за внешней суровостью старшины его отеческую заботу.

Вечером разведгруппа углубилась в лес. Взмолванный Матросов настороженно смотрел вокруг и следил за каждым движением опытных разведчиков.

В лесу стемнело раньше обычного. Плотные сизые облака будто непроницаемым пологом окутали лес. Зашумели, качаясь, верхушки высоких сосен, повалил снег, и вскоре поднялась такая вьюга, что все потонуло в снежной кипящей мгле и за несколько шагов ничего не стало видно.

Командир разведгруппы лейтенант Вагин все чаще смотрел на компас со светящимся циферблатом и торопил людей. Он волновался, хотя и скрывал это, стараясь казаться спокойным. Под прикрытием вьюги легче было пробраться к переднему краю противника, но вьюга же могла и погубить разведчиков, скрыв от них какую-нибудь хитрую ловушку, минное поле или проволочное заграждение с условной сигнализацией. Вагин не раз ходил в ночной поиск и считался опытным разведчиком, но теперь данные наблюдения за противником и вообще всю подготовку поиска он считал недостаточным, а более тщательно подготовиться было некогда.

Матросов, как и другие разведчики, непоколебимо верил в способности лейтенанта Вагина и в удачный исход дела. Озабочен он был лишь тем, как ему самому лучше выполнить свои обязанности. Александр знал

свою скромную роль в этом поиске: в случае надобности он вместе с Сизовым и Лыковым будет огнем прикрывать отход группы захвата. Мысленно он представлял себе, как воплотится в действие та тщательно расчерченная на листе бумаги схема, которую разъяснил Вагин.

Пока все шло не так, как он предполагал раньше, воображая себя разведчиком. Не было приподнятой романтической взволнованности, и он вовсе не чувствовал себя отчаянным и лихим героем. Напротив, он ловил себя на том, что вздрагивал, когда в окружающей крошечной тьме вдруг раздавался треск и глухой шум падающего дерева, поваленного бурей, или из-под ног вдруг со свистом и странным хрипом взлетала какая-то большая птица, или на голову падал сорвавшийся с ветки ком снега. Ныло плечо от автоматного ремня, на левой ноге сбилась и терла портянка, и все тело, точно свинцом, наливалось усталостью. Идти было трудно: часто ноги глубоко проваливались в снег, цеплялись за коряги. От нервного напряжения шумело в ушах. Путь казался нескончаемо долгим.

Наконец они вышли на передний край, долго шли траншеями, в темноте натыкаясь на сидящих там людей. Потом разведчики остановились, потянув Матросова за полу шинели.

— Садись. Привал, — прошептал Сизов.

Это было расположение боевого охранения, исходная позиция разведгруппы. На переднем крае тихо. Лишь изредка где-то, будто сонный клекот диковинной птицы, раздавались короткие тупые пулеметные очереди да вспыхивали ракеты. А на участке, где были разведчики, стояла зловещая тишина. Только слышались завывания вьюги и шум деревьев.

Лейтенант Вагин шепотом сделал последние распоряжения и еще раз предупредил:

— Ползти бесшумно, действовать решительно, быстро и смело!

Они прошли еще метров с полсотни по траншее, выведенной в глубь нейтральной зоны. Вагин о чем-то пошептался с дозорным, и разведчики выбрались из траншеи на голую кочковатую поляну, за которой начинался вражеский передний край. На поляне темнота была сероватая, сквозь вьюжную мглу еле проступали

контуры леса, ветер налетал порывами и захлестывал глаза снегом.

Когда Матросов в группе прикрытия полз по снежной целине, то невольно думал о разнообразных минах — минах натяжного и нажимного действия; все чудились проклятые усики особо чувствительных немецких противопехотных мин («чуть заденешь усик — и взрыв»); и от холодка, проникающего будто в самое сердце, у него перехватывало дыхание. Но Александр упрямо полз вперед, гоня мысли о минах, и плотнее прижимался к земле.

Вдруг он услышал: справа кто-то промычал и сразу стих. Опять звенящая в ушах тишина да шум ветра. Он с напряжением взгляделся в темноту и увидел, как «группа захвата» волокла «языка», и чуть не вскрикнул от радости.

Но внезапно его ослепил яркий свет вспыхнувшей над поляной ракеты. Лихорадочно затрещал пулемет. Припав лицом к снегу, Матросов решил: «Надо действовать!»

Открыв глаза, он увидел: Сизов и Лыков, отползая, били короткими автоматными очередями по вражескому пулемету. Александр тоже дал несколько очередей из своего автомата. Огонь пулемета был перенесен на группу прикрытия.

Сизова ранили, он упал и не мог ползти. Матросов кинулся к Сизову, стал было тащить его. Но тотчас же увидел совсем близко частые пулеметные вспышки. Пулемет бил прямо по ним. От его огня могли погибнуть все трое.

— Я его заставлю замолчать! — сказал Матросов Лыкову. — Я обману фашистов, отвлеку огонь на себя, а ты скорей тащи Сизова.

Так оно и вышло. Матросов отполз в сторону, залег за кочкой, и после его третьей короткой автоматной очереди вражеский пулемет смолк. Потом снова заработал, пули полетели в сторону Матросова. Александр этого и добивался. Лыков утащил раненого. Скрылись в траншее разведчики. Убедившись, что все ушли, побежал было и Матросов.

Но над самой его головой опять ослепительно вспыхнула ракета. Поднялся страшный треск и грохот от разрывов снарядов и мин. Александр казалось, что каждый

снаряд, каждая мина и пуля летят в него. За каждым кустом и деревом ему чудился враг. Оглушенный взрывами, Матросов прыгнул в глубокую воронку, зияющую вывороченным суглинком, как свежая рана, припал щекой к вздрагивающей, теплой, еще дымящейся земле, пахнущей гарью.

Огонь и выюга бушевали на всей поляне нейтральной зоны. Кипела снежная предрассветная мгла, разрываемая вспышками взрывов.

Не утихал оглушающий оружийный и минометный грохот, лихорадочный пулеметный треск, зловещий свист осколков и цветных трассирующих пуль, пронизывающих мутную мглу.

Гитлеровцы неистовствовали: наши разведчики из-под носа у них увели «языка» — часового-эсэсовца 285-й пехотной дивизии. Теперь они старались плотным огнем накрыть и уничтожить разведгруппу вместе со своим незадачливым часовым.

Но били они наугад: снежная муть поглощала мертвенный бледно-зеленый свет ракет и цветные нити трассирующих пуль.

Матросову трудно было понять: беснующаяся выюга или взрывные волны швыряли в лицо тучи колючего снега, слепили глаза. Тяжело падали на каску комья мерзлого суглинка. Оцепенев, некоторое время он лежал бездумно, инстинктивно желая одного — плотнее прижаться к земле, укрыться от огненного вихря.

Спохватился Матросов, когда уже рассвело и фашисты перенесли огонь дальше. Он вспомнил, что в тот момент, когда прыгнул в воронку, прикрывающие отход разведчики, пригибаясь, побежали к траншее, к опушке леса. Все разведчики, видимо, благополучно вернулись к своим. Ему тоже надо было скорее покинуть поляну и укрыться в лесу.

«Струсил!» — сознался он со свойственной ему прямоотой, и щемящая тоска сжала сердце.

Как же теперь он доберется до своих? Сидя на дне воронки, он видел на фоне прояснившегося утреннего розоватого неба верхушки сосен и елей желанного Большого Ломоватого бора, где были свои. Хотелось немедленно бежать туда, но он не решался: враги так близко, что слышны их голоса. На этой открытой поляне фашисты могут легко подсесть его огнем и взять в плен. Но



К стр. 303.

оставаться в воронке тоже опасно: и здесь они могут захватить его.

Он решил не обнаруживать себя, пока не придумает выхода из этого трудного положения. Затаив дыхание и напрягая слух, он прижимал к груди автомат и наготове держал в руке гранату. Если фашисты полезут, он будет отбиваться до последнего дыхания, а если попытаются взять живьем, гранатой подорвет их и себя.

Все тело дрожало от озноба и нервного напряжения. Но страшнее беснующегося вокруг огня было сознание совершенной непростительной ошибки. Так долго и упорно он готовил себя к боевым делам, так настойчиво просился в разведку — и вот в самую решительную минуту не выдержал испытания. Сам себя посадил в эту гибельную западню.

Как-то в Краснохолмском военном пехотном училище он с азартным волнением и горящими глазами стал говорить участнику многих боев, офицеру-преподавателю, какие отважные дела он, Матросов, мог бы совершить, если бы стал разведчиком.

«Романтика, — с улыбкой сказал капитан. — Все гораздо проще и труднее. Каждое движение должно быть обдумано и рассчитано до сотой доли секунды. Подвиг — не озорство, а хладнокровный умелый труд».

«Да, да. я растерялся, прозевал эту сотую долю секунды и решил не так, как надо. А надо было, несмотря на огонь, короткими перебежками скорее добраться до леса, а не прыгать в воронку и не сидеть тут».

В полдень ветер стих, небо очистилось, пригрело солнце. Затих и огонь. Матросов, полусидя, все держал наготове автомат и гранату, не смея пошевелиться и высунуть из воронки голову. Руки затекли, онемели. Окоченевшее тело мучительно ныло. Время тянулось нестерпимо медленно.

От нервного перенапряжения, бессонной ночи и солнечного тепла ему неодолимо хотелось спать. Веки отяжелели, сами собой слипались, трудно было открыть глаза. Все в сознании куда-то плыло. Уснуть, уснуть и забыться хоть на одну секунду.

Но уснуть — значит погибнуть. Враги могли нагрянуть в любую минуту и захватить его. Он ненавидел себя, свое тело за его немощи. Ведь немало он, черт возьми, учился у других выдержке, самообладанию,

упорству, а тут раскис, когда каждую секунду угрожает смертельная опасность.

Порой ему хотелось бежать отсюда, бежать без оглядки, несмотря ни на что. Но ни бежать, ни даже ползти было нельзя. В испачканном глиной маскировочном халате он сразу был бы обнаружен на снежной поляне. До боли стиснув зубы, он терпел, дожидаясь ночи.

Когда сгустились сумерки и он с трепетом теперь уже отсчитывал минуты, готовясь покинуть ненавистную воронку, случилось то, чего он опасался: к воронке подползли фашисты. Сначала послышался тихий хриплый и настороженный голос еще невидимого эсэсовца:

— Рус, капут! Сдавайсь!

Матросов молчал, повернув ствол автомата туда, откуда слышался голос.

— Ганс Эркель! Ганс! — помолчав, позвал солдат кого-то, может быть часового, увиденного нашими разведчиками.

Матросов ждал. И, едва показалась голова фашиста, дал короткую очередь. Тут мелькнула мысль, что солдат не один и воронку могут забросать гранатами. И молниеносно вспомнилось, как учили его вести себя в таких случаях: на лету схватить летящую к тебе гранату и мгновенно послать ее обратно тому, кто ее бросил. А упустишь нужное мгновение — погибнешь. Но лучше предупредить эту опасность. Матросов выскочил из воронки и бросил гранату в другого эсэсовца, залегшего метрах в десяти. Взрыв гранаты Матросов услышал, когда бежал уже туда, откуда выходили в разведку.

...Друзья его еще не спали, когда Матросов вернулся в землянку. У него, охмеленного радостью освобождения от страшной воронки, было хорошее настроение, когда шел по лесу, и ноги, казалось несли его сами. Но, входя в землянку, Александр вспомнил свой позорный, как ему казалось, поступок на поляне, и сердце захолонуло от стыда. Что скажут командиры и друзья? Легче было сквозь землю провалиться, чем показаться им на глаза.

Произошло же нечто неожиданное. Увидев его, испачканного, изнуренного и хмурого, все обрадованно

кинулись навстречу, стали тискать, обнимать, пожимать ему руки. Его считали погибшим.

— Вернулся наш Сашка! Пришел-таки!

— Молодец! Герой, не сдрейфил!

— Хватит издеваться! — вдруг крикнул Матросов, и злые слезы блеснули в глазах. Он считал себя виновным, ждал презрения и насмешек и не верил в искренность друзей.

Но вот вошел комроты Артюхов и тоже стал хвалить его. Матросов не вытерпел:

— Товарищ старший лейтенант, лучше накажите меня, чем насмехаться.

— Чего ты кипятишься? — спросил озадаченный Артюхов. — Устал, что ли? Ведь ты действовал хорошо. Сознательно отвлек на себя огонь противника, способствовал удачному исходу разведки. И верно, герой! Я даже думаю тебя представить к награде.

Командир говорил серьезно, и Матросов, наконец, поверил в искренность его слов. Что же, он ведь, правда, помог товарищам, а об его минутной растерянности, из-за которой попал в воронку, здесь никто не знает. Можно успокоиться, доложить командиру о замеченных огневых точках противника, об убитых им фашистах и, чувствуя себя героем, вместе с товарищами порадоваться общей удаче.

Но Матросов вспомнил, как, просясь в разведку, он сказал: «Верьте совести, не подведу». Десять лет уже пуше глаза дорожит он этими словами. Тем более теперь комсомольскую совесть свою запятнать он никак не может.

— Не разведчик я, а растяпа, — сердито сказал Матросов. — Рано меня хвалить и награждать. Я растерялся, да, растерялся и с испугу кинулся в воронку, там и просидел весь день.

Глава XVI

БОЛЬШОЙ ЛОМОВАТЫЙ БОР

Батальон вступил в лес, когда стемнело, и даже бывалые солдаты сразу почувствовали необычайную трудность этого перехода. Проваливаясь по пояс в снег, бойцы все необходимое для боя несли на себе: пулеметы, противотанковые ружья, пулеметные ленты и диски, цинки с патронами, гранаты, мины, вещевые мешки с продовольствием.

Станковые пулеметы и тяжелые минометы тащили на волокушах, но это было, пожалуй, не легче: волокуши проваливались, глубоко бороздили рыхлый снег, опрокидывались. В лесу было темно, люди натыкались на сучья, ветви; на их головы падали комья снега. И трудно было освободить зацепившуюся за сук одежду: каждое лишнее усилие мучительно. Ноги глубоко под снегом попадали в болотные лужи, увязали в грязи.

— Хоть бы погромче ругнуться — душу облегчить, — прошептал Матросову Дарбадаев.

— В кулак, Мишка, про себя, — тоже шепотом отвечал Матросов.

В лесу тихо. Батальон шел кратчайшим путем с большими предосторожностями. Нельзя громко говорить, курить, стучать. Слышалось только непрерывное шуршание снега, да порой доносился откуда-то волчий вой.

Теперь командиру батальона Афанасьеву ясно, что не только танки, пушки-самоходки, тягачи, «катюши» и прочую технику, но даже простую повозку протащить

невозможно в болотах этой лесной чашобы. Но позади все же тащили полковые пушки, впрягаясь в них целыми подразделениями.

Полный, добродушный комбриг Деревянко обычно говорил с людьми мягко, с улыбкой, но перед началом этого перехода, подчеркивая важность предстоящей операции, хмуро и строго напомнил капитану Афанасьеву:

— Боевой приказ во что бы то ни стало выполнить точно и полностью.

Горячий, вспыльчивый Афанасьев даже покраснел — видимо, его обидело это настойчивое напоминание.

— Слушаюсь, — сказал он сдержанно, только ноздри его нервно дрогнули.

Теперь он, преодолевая глубокий снег, так быстро пробирался в голову растянувшейся колонны, что за ним еле поспевал связной. Капитан заботливо советовал, как удобнее нести тяжести, как выбирать твердый, не проваливающийся снег. Обогнав колонну, он останавливался, пропускал ее мимо себя, подбадривал бойцов, потом снова обгонял их, следя за движением каждого человека.

Вскоре немного прояснилось. В небе засверкали звезды, над лесом поднялась луна. На белом снегу обозначились темные тени деревьев.

Матросова удивляла неутомимая подвижность комбата Афанасьева. Забегая вперед и возвращаясь назад, он удлинял свой трудный путь вдвое, втрое, всей душой отдаваясь делу. Вот он, взволнованный, торопится назад. С пригорка видна растянувшаяся колонна. Сзади почему-то остановилась минометная рота. А дальше в ложине тащили и не могли вытащить увязшую в болоте пушку. Там же возбужденно размахивал руками замполит Климских. Теперь ясно, что на дневке комбат сказал именно о пушках: «Что я их, на горбу понесу?»

Матросов увидел отстающего Антощенко, махнул ему рукой, будто говоря: «Поднатужься, иди вперед, помогу».

Но тут же автоматчикам было приказано вернуться к минометчикам и помочь им нести минометы.

Матросов с другими бойцами подошел к заместителю командира минометной роты по строевой части — лейтенанту Курташову. Он впервые увидел лейтенанта не-

сколько часов назад в селе Михаи и проникся уважением к нему.

После тяжелого ранения в ногу Курташов лечился в московском госпитале и, боясь, что потеряет свою часть, не долечившись, поехал ее разыскивать. От Торопца трое суток, дни и ночи, припадая на больную ногу, Курташов шел, догоняя свою часть. Он отлично знал, что часть, преодолевая трудности, торопилась в бой, и боялся опоздать.

Матросов видел, как в селе Михаи Курташов крепко обнимал и целовал людей своей роты. Было ясно: в этом с виду неповоротливом сероглазом казаке из станицы Цимлянской жила упрямая, страстная солдатская любовь к своей части, к своим боевым друзьям.

И теперь, распределяя между бойцами ношу, он был особенно подвижен, хотя от него, разгоряченного, шел пар и мокрые от пота пряди волос прилипли ко лбу. Глаза его так и поблескивали, будто говорили: «Вот я и дорвался-таки до настоящего дела!»

— Это разрешите мне, товарищ лейтенант, — сказал Матросов, схватившись за плиту миномета.

— Что ты, брат! В ней девятнадцать килограммов, — возразил Курташов. — Ты мал, надорвешься. Пусть кто покрупнее.

— Ничего, я попробую. Потом с Дарбадаевым буду чередоваться.

И Матросов взвалил плиту на спину.

Колонна снова двинулась вперед, вытянувшись в цепочку. И опять всех обогнал комбат со связным. С застрявшими пушками он оставил замполита Климских, а сам вел батальон вперед. Дорога каждая минута. Всякое промедление пагубно для успеха операции, — эта мысль не покидала его и воплощалась в каждом его движении, поступке. Это чувствовали бойцы и подтягивались.

Теперь все были нагружены ношей, даже офицеры. Старшина Кедров был обвешан вещевыми мешками, а под мышкой нес бумажный мешок с сухарями.

— На поляне волчий след я разглядел, — поравнявшись с Матросовым, шепнул он. — Знаешь, след будто один, а вижу — шел целый выводок, голов шесть — семь. Это они так идут за вожакom, ступка в ступку. А вечером видел поползня. Кургулый такой остронос, будто

в голубом плаще. Ползет, понимаешь, по дереву головой вниз и поклевывает кору. Смехота! Жаль, тебя близко не было; тут на виду так и шныряют белки, зайцы, тетерева, а стрелять нельзя! Вот обида!

Неусыпная страсть охотника или желание развлечь людей заставляло этого седоусого сибиряка говорить о зверях и птицах.

— Эх, мне бы на охоте с вами побывать, товарищ старшина! — сказал Матросов, сгибаясь под ношей.

Старшина, и правда, на несколько минут отвлек его от беспокойной мысли. Сбилась вниз портянка и жмет левую ногу. Нельзя переобуться, шагая в общей веревнице по тропе, глубокой, как канава, нельзя и свернуть с тропы: справа и слева заснеженная чащоба. Да и что получится, если бойцы начнут сворачивать в сторону? И он старается шагать, ставя ногу ступней внутрь, чтобы не терла портянка.

Александр растрогался, когда Дарбадаев сам осторожно снял с его спины минометную плиту.

— Скоро ли хоть привал? — спросил Макеев.

— Лучше не знать, когда привал, — ответил Матросов. — Когда знаешь, трудней всего идти последние километры, даже метры.

— Вообще лучше скорей в бой, чем это, — с раздражением говорил Макеев. — Что это за война? Как ишак навьюченный, из последних сил выбиваешься.

Матросов снимает с его плеч минометный ствол.

— Это, Макеша, и есть война — испытание во всем: кто выносливее, у кого крепче нервы, выдержка. Слов нет, тяжело, а я доволен. Пришел, значит, наш час; и можно показать, что мы настоящие солдаты. Верно, тезка? — обратился он к Воронову.

— Правильно, — ответил тот.

— Привал, привал! — вдруг полетело по цепи желанное слово, и люди опустились в снег кто где стоял.

— Эх, покурить бы! — вздохнул Костылев.

— Можно изловчиться, в рукаве потягивать.

Антощенко все время молчал, и Матросов спросил его, переобуваясь:

— Как нога, Антошка?

— Молчи! Нехай хочь як жар пече, — стерплю.

— Ого, какая сила воли! — сказал Воронов.

— Воля? — отозвался Матросов. — Мне вот кажется:

делай все, как надо, — вот тебе и воля. Вовремя пришить хлястик, почистить оружие и смело идти на опасность — это и есть воля. И вообще от дисциплины до героизма — один шаг. Верно я говорю, тезка?

Но Воронов уже спал, сидя с нераскрытым кисетом в руке; спали Дарбадаев и Макеев. Смыкались глаза и у Матросова. Он откинулся назад на вещевой мешок и хотел вздремнуть, но к нему подсел Белевич.

— Перед боем в партию хочу вступить, — одобряешь?

— Это, Михась, очень, очень хорошо, — сразу оживился Матросов.

— Да вот одной рекомендации не хватает.

— А ты попроси у Кедрова. Замечательный старик. — И, помолчав, добавил: — Настоящий коммунист!

Взволнованные, они оба задумчиво смотрят на синие звезды, мерцающие между лапчатыми ветвями елей и сосен.

Глава XVII

С Л О В О — К Л Я Т В А

Это был последний привал батальона перед выходом на исходный рубеж. Еще переход, и кончится Большой Ломоватый бор, а за его западной опушкой — враг.

Предрассветная белесая муть окутала лес. Бойцы наскоро привели в боевой порядок вооружение и повалились на снег. От усталости, бессонных ночей и тяжелой ноши ныло все тело, слипались глаза.

Матросов, пошатываясь от переутомления и дорожа каждой секундой, вытоптал себе ямку под старой елью, бросил туда несколько еловых веток и лег, подложив под голову вещевой мешок. Было зябко. Он втянул шею в поднятый ворот шинели и, чтоб скорей согреться, свернулся калачиком, как в детстве. По телу разлилась ноющая истома, и сразу же сладостная дрема сомкнула веки.

Он, кажется, крепко уснул, но его разбудил знакомый голос комсорга:

— Комсомольцы, вставай! Живенько — на собрание.

«Снится или взаправду?» — в полусне подумал Матросов. Неодолимое желание продлить сон еще хоть на секунду покорило его, и, забыв обо всем, он опять крепко заснул.

Но неусыпная сила сознания, что довела его и до этого привала, помогла ему открыть отяжелевшие веки. «Меня ведь это зовут! Идти надо! Надо!»

Разминая ноющее и будто свинцом налитое тело, он поднялся. Зябкая дрожь пронизала его с головы до ног. Болят ступни, болит каждый сустав. Нестерпимо надоел постоянный холод, а кругом опять снега, снега, снега...

— Как медведи живем, — тихо пробормотал Макеев, натягивая на лицо плащ-палатку.

Поодаль в серой мгле среди деревьев Матросов разглядел группу людей. Туда же подходят комсомольцы, поеживаясь от холода и дивясь, что так рано назначили собрание.

— Мать честная! — потирая руки, сказал Воронов. — Совсем память проспал: мы ведь именинники! Завтра двадцать третье февраля. Годовщина Красной Армии! Может, потому и собрание: именинникам подарки дадут.

— Верно, тезка, — сказал Матросов, уже подтянутый и бодрый, — завтра великий праздник. Только я так понимаю: не нам подарки, а от нас полагается подарок матушке нашей Родине, верно?

— Так выходит, — ответил Дарбадаев. — Верно!

Подошли Артюхов, парторг Кедров и комсорг Брагин. Все притихли. Артюхов, как всегда, аккуратно затянутый ремнями, выступил вперед и обратился к собравшимся:

— Товарищи, завтра двадцать пятая годовщина героической нашей Красной Армии. Она отстояла наше молодое государство в великих боях гражданской войны. Она, как нерушимая скала, четверть века стоит на страже нашей Родины. И теперь в жестоких боях изгоняет врага, посягнувшего на священную нашу землю.

Артюхов сдвинул на лоб шапку-ушанку и быстрым взглядом окинул бойцов.

— Нам выпала великая честь — ознаменовать славную годовщину нашей армии боевыми делами. Товарищи, я имею важный приказ командования. Мы должны занять деревню Чернушки, и для выполнения этой ответственной задачи мы выступаем через несколько минут.

Матросов и Воронов переглянулись: «Вот и подарок матушке-Родине!»

— Я уверен, — продолжал Артюхов, — что все трудности, какие возникнут перед нами, мы преодолеем и приказ выполним. Враг считает, что места эти непроходимые, а мы их прошли. Гитлеровцы настроили тут раз-

ных укреплений и думают, что они неприступны, а мы их опрокинем. Деревню Чернушки во что бы то ни стало надо взять, и мы ее возьмем. Мы возьмем любые крепости, потому что мы солдаты большевистской закалки!

Артюхов объяснил, как следует решать боевую задачу, подчеркнул, что только быстрота, молниеносный удар обеспечат успех операции.

— Надеюсь, что коммунисты и комсомольцы и в этих боях, как всегда, будут служить примером для всех! — закончил он.

Командир, конечно, знал больше, чем сказал на собрании. Успешное наступление под городом Локня и выход на железнодорожную линию Локня — Насва открывали широкий оперативный простор. Но первое большое препятствие перед батальоном — деревня Чернушки.

— Кто хочет выступить? — спросил Брагин.

Матросов считал, что на собраниях он горячится, говорит нескладно, и неохотно выступал, но на этом собрании попросил слова одним из первых. Он сказал то, о чем много раз думал. На дорогах войны он видел много руин и людского горя. Александр с этого и начал, выйдя в круг:

— Что ж тут говорить?.. За что фашисты убивают наших людей? За что?..

Он помолчал. Поправил на груди автомат. Посмотрел на сидящих и стоящих бойцов, сурово сдвинул брови, и глаза его зажглись гневом.

— Только за то фашисты убивают нас, что мы — русские, советские, что любим нашу землю, Родину. Великая правда озарила наш созидательный, вдохновенный труд, нашу счастливую жизнь. Рабство и смерть несет нам враг. Значит, священная наша обязанность — беспощадно бить фашистов, освободить от них родную землю.

Он еще подумал, переступая с ноги на ногу, крепче сжал автомат и продолжал раздельно и взволнованно, точно произнося присягу:

— Пришел наш час, и мы отомстим врагу за все муки наших людей. Приказ командования мы выполним! И за нашу Родину, за наш народ, за вечный мир и счастье на земле я буду бить врагов по-комсомольски, буду бить, пока руки мои держат оружие, пока бьется мое сердце.



Верьте совести, товарищи, драться буду, презирая смерть.

— Верно сказал! — слышались голоса.

— Презирая смерть!..

После собрания его окружили друзья. Обычно холодновато-насмешливые глаза Воронова заблестели, когда он крепко сжал руку Матросова:

— Саша, хорошо ты сказал! Мне даже вспомнилось: «и сердце его пылало так ярко, как солнце...»

Матросов оживился. Обветренное лицо его посветлело:

— «...ярко, как солнце, и даже ярче солнца...» Хорошо-то как сказано!.. А ты слышал, почему полевой мак цветет?

— Ты рассказывал в землянке.

— Тише,— шепнул Матросов, показав глазами в сторону.

Под ветвями огромной ели, как под шатром, шло партийное собрание.

Парторг Кедров, выпрямившись, читал заявление Михася Белевича:

«Ленинская наша партия ведет народ к победе, и я хочу в бой идти коммунистом...»

— Молодец Михась! — шепнул Матросов.

Парторг сам дал Белевичу недостающую рекомендацию. И хотя теперь дорога была каждая минута, партбюро поставило вопрос о приеме Белевича на общем партсобрании. Он был принят единогласно. Кроме Белевича, на этом собрании в партию были приняты еще семнадцать автоматчиков, пожелавших в бой идти коммунистами.

Когда двинулись на исходный рубеж, подул предупредительный ветер. С деревьев падали комья снега.

Бойцы шли молча, вслушиваясь в отдаленный оружейный гул. Под ногами монотонно хрустел снег, и сами бойцы в маскировочных халатах теперь белели, как снег.

Дарбадаев шел за Матросовым. Обладая большой физической силой, он завидовал внутренней собранности и душевной силе друга.

— Ты вот на собрании сказал, Саша: «пока бьется сердце...» — сильно сказал. А если, к примеру, танк на тебя одного пойдет?

— Ну и что ж? И танк человек сделал. Значит, человек и сильнее. Постараюсь подшибить танк, вот и все.

— Так-то оно так... А если не подшибешь?

— Глупости говоришь, — нахмурился Матросов. — «Если да если», — хоть и «распроесли», а не убегу! Придумаю что-нибудь, выстою. Да я понимаю, Михаил, куда ты клонишь... Думаешь, мне жить не хочется? Чудак! Да я очень хочу жить! Сам прикинь: меня ждут Лина, Тимошка... Учиться я хочу... Да что толковать? По-настоящему только начинаем жить-то. Помню, инженер один сказал мне, что человек будет управлять даже ветрами и тучами. Понимаешь, как это интересно? Я, может, инженером буду...

— А я хочу агрономом, — сказал Антощенко. — У нас земля такая жирная, родячая, что, коли умело обрабатывать ее, весь мир пшеницей засыплем.

— А как твоя нога? — тихо спросил Матросов.

— Молчи, Сашко. Часом так больно, что в глазах мутится. А как сгадаю про Лесю и дидусю, то и не чую боли: в душе больней.

— Ничего, Петро, крепись. А ногами своими ты и до Берлина еще дойдешь.

У Матросова приподнятое настроение. Хочется каждому сказать что-нибудь хорошее. Он рад, что участвует в большом деле.

Рота автоматчиков идет впереди колонны.

Комроты Артюхов чувствует приближение важных событий. Ему нужен расторопный и смелый связной. Он решает взять Матросова. Парень в общем неплохо вел себя в разведке. По душе ему и выступление Матросова на комсомольском собрании.

Артюхов посоветовался со старшиной, и Кедров одобрил его выбор:

— Гожий вполне, — вся рота любит его.

— Вызвать его ко мне.

— Слушаюсь.

Матросов идет впереди автоматчиков. Кедров хочет сам передать приказание ротного и догоняет его:

— К ротному, живо! С повышением тебя...

— С каким, товарищ старшина?

— Иди, иди, узнаешь.

Кедров усмехается: воинский устав велит называть солдата по фамилии и обращаться на «вы», а он никак не может говорить этому безусому пареньку «вы».

Матросов сошел с тропы и остановился, поджидая ротного.

Артюхов, подходя, тихо окликнул:

— Матросов!

— Я, товарищ старший лейтенант.

— Будешь моим связным. Иди за мной.

— Есть идти за вами!

На рассвете батальон вышел на опушку Большого Ломоватого бора. За поляной начинались вражеские укрепления.

Глава XVIII

БОЙ ЗА ЧЕРНУЮ РОЩУ

Всерой рассветной мгле комбат Афанасьев, комроты Артюхов и его связной Матросов увидели за поляной в заснеженных кустарниках холмы дзотов и густо нагроможденные на опушке Черной рощи снежные глыбы, имеющие форму треугольников, обращенных острием к поляне. Эти сооружения, видно, были выложены из снега и, облитые водой, обледенели. Правее, где разведгруппа была в ночном поиске, таких сооружений не было. Афанасьев разгадал их назначение. За этими неуклюжими глыбами находились огневые точки. Разведчики донесли, что дзоты были и перед деревней Чернушки.

Кругом стояла зловещая тишина. Противник или еще не заметил передвижения наших подразделений, либо заметил, но выжидал выгодной для себя минуты, чтобы разом обрушить огонь всей своей лесной крепости на наших людей.

Комбат Афанасьев недовольно хмурился: батальону приказано взять деревню Чернушки с ходу на рассвете; уже начинало светать, а пушки застряли где-то в болоте и не все подразделения еще вышли на исходный рубеж. Время может быть упущено, медлить нельзя ни минуты. И комбат принимает смелое, рискованное решение: напасть на противника внезапно, стремительно ворваться в Черную рощу, затем подавить с тыла расставленные

на опушке рощи огневые точки противника и двигаться дальше, к деревне Чернушки.

Автоматчики, готовые каждую секунду вступить в бой, тихо и настороженно двинулись за боевым охранением вперед по узкой поляне, а за ними потянулись другие подразделения. Чтоб лучше руководить боем, с автоматчиками идет и Афанасьев. Идти трудно. Ноги увязают в глубоком нетоптаном снегу. Невзначай можно напороться на минное заграждение. А комбат молча машет рукой, торопит: «Скорей, скорей!»

Люди ускоряют шаг. Автоматчики, пересекая поляну, уже подходят к кустарникам.

Вдруг впереди лихорадочно застучал пулемет, взвилась ракета, заливая поляну бледно-зеленым мертвенным светом. И сразу кругом поднялся оглушительный грохот. Частые ослепительные вспышки возникали кругом; пули, осколки мин и снарядов, трассирующие пули, казалось, летели со всех сторон.

Фашисты, видно, не ждали наступления на этом участке фронта, защищенном многокилометровыми лесами и болотами, и подняли тревогу лишь в тот момент, когда автоматчики приблизились к дзоту. Зато теперь ошалело заработала вся сложная система огня. По вспышкам было видно, что ожили и неуклюжие ледяные треугольники.

Где-то совсем близко послышались возгласы:

— Ауфштеен! ¹ — приказывал один голос.

— Цетер! — взвизгивал другой. — Цетер! О, майн готт, цетер! ²

Третий командовал:

— Цу мир!.. Фор ! Фор! ³

— Скорей! Скорей! — уже кричал комбат Афанасьев. — Ура-а!

И многоголосое «ура» смешалось с грохотом взрывов. Автоматчики ворвались в Черную рощу.

Огонь усиливался с каждой минутой, особенно бушевал он позади вышедших на поляну подразделений. Тут, на болотной низине, не было траншей и обычного расположения боевых порядков противника. Судя по огню, вдоль поляны полукругом густо насажены дзоты и снеж-

¹ Встать!

² Караул! О, боже мой, караул!

³ Ко мне! Вперед!

ными глыбами возвышающиеся треугольники, из-за которых били пулеметы.

Командир батальона быстро разгадал замысел врагов. Отсечным огнем они хотели отрезать путь к отступлению и уничтожить подразделения, вырвавшиеся вперед.

Комбат приказал командиру роты автоматчиков Артюхову быстрее втягиваться в рощу, расширяя ворота прорыва, а сам со стрелковой ротой стал продвигаться рощей направо, чтобы потом развернуть для боя выходящую на поляну часть батальона.

Оставшаяся группа во главе с Артюховым быстро приняла боевой порядок.

Матросов бежал по роще и поляне, передавая приказания Артюхова командирам взводов, минометчикам. Раньше он много думал и готовился к опасности и преодолению страха. После ночного поиска он уже считал себя обстрелянным, бывалым. Но здесь в первые минуты его снова потряс оглушающий грохот боя, и было опять так страшно, что подкашивались ноги и сами несли в сторону. Гулкое лесное эхо многократно повторяло каждый звук, а винтовочный выстрел казался пушечным. Зловеще свистя, все чаще пролетали снаряды, от взрывов которых, как живая, вздрагивала земля, часто рвались мины, огненными разноцветными струями проносились трассирующие пули. Но теперь Матросов увидел, как хладнокровно работали в бою, именно работали, бывалые солдаты, и овладел собой.

— Оглушай «лимонкой» и выковыривай их оттуда! — кричал кому-то Кедров неузнаваемо строгим басом, окружая с группой автоматчиков один из треугольников, и голос его звучал властно, по-хозяйски.

Лицо Матросова стало напряженным, брови гневно сдвинулись, глаза глядели зорко. Он следил за каждым движением командира роты, готовый в любую секунду выполнить его приказания. И когда вел по гитлеровцам огонь из автомата или бросал гранаты, боялся, как бы не проглядеть какой-нибудь жест, сигнал Артюхова.

Автоматчики отбивали треугольники один за другим и втягивались в рощу. Все понимали: в этом жестоком бою они сами хозяева своей судьбы. Смерть можно победить только хладнокровием и стойкостью. И люди дрались упорно и сосредоточенно.

Утром Артюхов уже хорошо изучил вражеские укрепления. Треугольники, сложенные из бревен в две стены, внутри стен и снаружи были засыпаны землей, обложены снегом. Снег, политый водой, превратился в лед. А на каждой высоте стояли дзоты. Дзоты находились и за рощей, на подступах к деревне Чернушки. Это была лесная крепость со сложной системой огня — одно из сильных укреплений врага на этом важном участке.

И вот, когда противник был выбит из нескольких дзотов и треугольников, в самый разгар боя ранило Артюхова. Пуля пробила кисть правой руки, и пистолет упал на снег. Но Артюхов левой рукой зажал правую выше простреленной кисти и продолжал руководить боем.

— Разрешите, перевяжу, — предложил Матросов.

— Курташова ко мне! — не слушая его, приказал Артюхов.

Матросов побежал по опушке рощи к минометчикам. Увидев в кустах сандружинницу Валю — девушка забинтовывала голову автоматчику, — Александр сказал, чтобы она скорее сделала перевязку командиру роты. Когда же он с Курташовым вернулся к Артюхову, за командиром уже гонялась Валя, упрасывая:

— Разрешите, а то заражение будет, гангрена!

Артюхов быстро повернулся к Курташову:

— Подави мне скорее вон те огневые точки!

— Слушаюсь!

— Ну, разрешите, перевяжу! — просила Валя.

— Постой, постой! — увертывался от нее Артюхов и, будто забыв о ране, из которой лилась кровь на одежду, на снег, давал указания, пока Курташов с минометчиками устанавливали минометы. — Снег разгреби, чтобы лучше плита легла. Живей, живей!

«Неужели ему не больно? — дивился Матросов. — Терпит».

— Расчеты к бою! — торопливо командовал Курташов. — По пулемету! Заряд — основной. Угломер — тридцать два сорок. Прицел — шесть ноль-ноль. О готовности доложить!

Матросов смотрел на возбужденные глаза Артюхова, и ему казалось, что команда Курташова слишком длинна.

— Первый! — отозвался командир первого минометного расчета и, повторив всю команду Курташова, крикнул: — Готов!

Так же заявил о своей готовности и командир второго расчета.

«Как они долго, как долго!» — думал Матросов.

— Первому! — командовал Курташов. — Одна мина — огонь!

Мина не долетела до треугольника, откуда бил пулемет. Курташов волновался:

— Прицел шесть двадцать!

— Разрешите перевязать, — с бинтом в руке топталась Валя около Артюхова, не обращая внимания на пролетающие пули и осколки. Но Артюхов следил за полетом второй мины Курташова. Он довольно усмехнулся, увидев, как мина рванула снег у самого треугольника.

— Стрелять взводом! — повеселел Курташов. — Три мины — беглый огонь!

Мины подавили огневую точку.

— Давай огонь туда! — указал Артюхов Курташову, и сам теперь протянул Вале простреленную руку, устало садясь на пень. Но тут же заметил, как из рукава шинели у Курташова потекла кровь.

— Скорей перевяжи ему, — зло сказал он. — Ишь, разгорячился, не замечает!

Курташов, обычно тихий, застенчивый и неуклюжий, теперь, как ветер, носился от миномета к миномету, уверенным, твердым голосом указывал расчетам данные на подавление огневых точек врага. И когда к нему подошла сандружинница, закричал на нее, сверкая глазами:

— Не путайся тут. Не на танцах!

Тогда Артюхов строго прикрикнул:

— Чего петушишься? Ишь, прохлаждался тут, как на бульваре, не берегся, пока не ранило. Пусть перевяжет!

Курташов сердито глянул на Артюхова. Не берегся? Он мог бы этот упрек вернуть самому Артюхову, но вытянулся и хотел вскинуть руку ко лбу.

— Слушаюсь, — сказал он, а руку так и не смог поднять. Весь пронзенный острой болью, охнув, он тихо опустился на колени.

Матросов успел поддержать его.

Валя разрезала сукно на рукаве шинели Курташова и, перевязывая, сказала, что должна эвакуировать его.

— Куда? — злобно спросил Курташов. — Что я, из госпиталя добирался сюда, чтоб только сутки повоевать и опять в госпиталь?

— Оставь его пока, — сказал Артюхов Вале. — Все равно эвакуировать некуда.

Курташов продолжал свою работу. Иногда он ложился на снег, минуту лежал в оцепенении, потом, опираясь на здоровую руку, приподнимался, всматривался вперед и подавал команды.

Бой продолжался весь день. К вечеру было подавлено десятка два огневых точек, враги вытеснены из половины рощи. Теперь невозможно было продвинуться ни вперед, к Чернушкам, ни назад, к бору, на соединение с остальными подразделениями батальона, отрезанными бушующим на поляне огнем.

Уже накапливались раненые, кончались боеприпасы, а фашисты все усиливали огонь, видно, готовясь к контратаке.

Глава XIX

СПАСТИ КОМБАТА!

Вечером враг пошел в контратаку. Днем он, видимо, собирался с силами, подтягивая подкрепления, и теперь с лихорадочной торопливостью ошалело лез со всех сторон, окружая рошу, где находились подразделения батальона. Местами красноармейцы отбивались врукопашную, дорожа каждой пулей, каждой гранатой, которые были на исходе.

Порывистый, горячий капитан Афанасьев не мог усидеть на командном пункте и неожиданно появлялся в разных местах роши, руководя боем. Лицо его было озабоченно. В людях он уверен, но приказ пока не только не выполнен, большая и лучшая часть его батальона находилась под угрозой.

Капитан подошел к Артюхову. С виду Афанасьев был спокоен, но вздрагивающие бледные губы выдавали его волнение.

— Рошу я обратно не отдам, но и к нашим скорей пробиться надо. Как думаешь?

— Если рошу держать...

— А как же? — вспыхив, перебил его капитан. — Роша теперь лучший плацдарм к броску на Чернушки.

— Я и говорю, — ответил, поморщившись, Артюхов, — если рошу держать, нельзя отвлекать людей на прорыв обратно: противник сильно жмет. Надо скорей установить живую связь.

Пули просвистели над головами.

— Что такое? — удивился Афанасьев, глядя на царапины, прочеркнутые пулями на коре осины. — Сверху откуда-то бьет.

— Очевидно, с колокольни, что за Чернушками, в деревне Черной, — сказал Артюхов. — Надо живую связь во что бы то ни стало. Пусть четвертый батальон ударит слева. Тут легче пробить брешь.

— Но кого послать?

Матросов вскинул руку к ушанке:

— Мне разрешите, товарищ комбат. Я проберусь!

Командиры переглянулись.

— Ты мне нужен, — отрезал Артюхов.

— У меня своих молодых хватит, — сказал капитан и поспешно отошел, заслышав учащенную стрельбу в другом конце роши.

А через несколько минут к Артюхову прибежал запыхавшийся связной Афанасьева в изодранном осколками маскировочном халате.

— Разрешите доложить... тяжело ранен комбат, в бок и бедро.

Артюхов мучительно скривился.

— Жив? — почти крикнул он.

— Жив, но сразу упал, хрипит, — говорил связной все тише и, бледнея, клонился набок. — Фашисты насаждают, — с трудом промолвил он и упал лицом в снег. Стала видна его окровавленная спина.

— Возьми двух автоматчиков, — приказал Артюхов Матросову. — Беги туда. Спасти комбата во что бы то ни стало!

— Есть спасти комбата!

Когда Матросов, Воронов и Антощенко кинулись к раненому Афанасьеву, туда уже бежала всюду успевающая Валя Щепица.

Но вот между ними и Валею разорвался снаряд, и она потонула в вихрящемся облаке дыма, только взвилась вверх, как оторванное крыло птицы, пола ее шинели.

Автоматчики на секунду остановились: их испугала мысль о гибели веселой краснощекой песенницы.

— Валя, Валя! — страшным голосом крикнул Костылев в надежде, что она откликнется.

Но внимание автоматчиков отвлекло другое событие: фашисты нажали с фланга и стали теснить взвод Ду-

бина, приближаясь к тому месту, где лежал раненый комбат. Автоматчики побежали на помощь.

И неожиданно в дыму показалась во весь рост Валя Щепица. Взмахнув автоматом, выхваченным из рук тяжело раненного солдата, она закричала:

— За мной, вперед! — Перебегая от дерева к дереву, от куста к кусту, она стреляла, падала, стреляла лежа, опять бежала и стреляла из-за дерева, взъерошенная и юркая.

— Молодец, Валя! — крикнул Матросов. — Так их!

Но впереди Вали, слева, уже строчил из автомата Костылев, время от времени поглядывая на нее.

Матросов, Антощенко и Воронов опередили Валью и вместе с другими автоматчиками погнали врагов назад. Тогда Матросов и крикнул ей, чтобы скорей делала перевязку комбату.

Будто очнувшись от забытья, сандружинница трянула опаленной челкой и подбежала к Афанасьеву.

Он лежал на снегу в зарослях багульника.

— Отбили? — хрипло спросил он, тяжело дыша.

— Отбили, товарищ капитан.

— Орлы! — улыбнулся он побелевшими губами.

Но похвала не радовала Валью. Раны у комбата тяжелые и опасные. Кровью смочена одежда и снег под ним. Валью терзало сомнение: она считала себя виноватой в том, что не сразу принялась за перевязку, а сгоряча побежала с автоматом, но было бы еще хуже, если бы сюда прорвались враги.

К ней поспешил Матросов и помог втащить комбата в воронку.

Перестрелка опять приближалась. Десятка два фашистов пробивались правее автоматчиков. Лицо Матросова на миг просветлело, когда он увидел, как Антощенко по-оленьи быстро перебежал от сосны к сосне и точной автоматной очередью скосил четырех вражеских солдат. «Да у него ж нога до кости растерта!» — удивился Матросов. К Антощенко пробрались Воронов и Костылев. Но фашисты стали окружать их. Матросов побежал к друзьям.

— Держись, ребята! — крикнул он и, прислонясь к дереву, дал из автомата очередь — одну, другую; несколько фашистов упало, остальные скрылись в густом кустарнике.



У Антощенко росинками покрыла лоб испарина. Матросов усмехнулся:

— Так их, Антошка! Пришла наша работа!

— Даю им жару, — сквозь зубы ответил Петр.

А вражеские пули летели все гуще. И все чаще шевелились кусты ольшаника, где накапливались вражеские солдаты. Их уже было в несколько раз больше, чем автоматчиков.

— Держись, братки! — повторял Матросов, и те держались, не отходя ни на шаг.

Со стороны Большого Ломоватого бора слышалось, наконец, долгожданное грозное «ура!»: то пробивался на помощь четвертый батальон. Враг ослабил нажим на рошу.

— Вытащим теперь комбата из-под огня, — сказал Матросов и вместе с Вороновым под огнем поволок на

волокуше Афанасьева. Валя и Антощенко прикрывали их огнем автоматов. В безопасном месте Матросов сдал комбата сандружиннице и вернулся к Артюхову.

Жизнь комбата была отвоевана.

Артюхов принял командование батальоном и руководил боем.

Теперь у него слева был надежный сосед — четвертый батальон.

Противника за ночь выбили из роши и прогнали за открытую лошину. Но со стороны Чернушек автоматчики были встречены таким плотным огнем, что открытую лошину пересечь стало немыслимо, и они закрепились на западной опушке роши.

На рассвете Артюхов увидел за ложиной заваленные снегом три мощных фашистских дзота. Они охватывали полукругом лошину, прикрывая видневшуюся на пригорке деревню Чернушки, вернее, то, что осталось от нее: две—три разбитые избы. Но пробиться к деревне было трудно. Амбразуры дзотов изрыгали такой яростный огонь, поливая поляну свинцом, что дальше двигаться было невозможно. Наступление приостановилось.

Глава XX
ЗА РОДИНУ!

Багряные лучи восходящего солнца хлынули на заснеженные верхушки леса. Дохнул морозный легкий ветерок. Затрепетали позолоченные солнцем тонкие корочки на стволах сосен, потом лучи его пробивались все ниже сквозь облепленные снегом лапчатые ветви и ложились на снегу светло-голубыми пятнами. Синий в тени, снег на поляне уже искрился, слепя глаза сверкающей белизной. Предутренний снегопад прикрыл следы ночного боя.

Матросов и в это минутное затишье глядел вокруг удивленно-пытливыми глазами на волнующую красоту зимнего лесного утра. Ночью ему удалось соснуть часок-другой под какой-то корягой, а утром подкрепиться и согреться чайком с сухарями. Теперь снова он повеселел, и ему хотелось, как всегда, все приметить, узнать. Он вспоминал и не мог вспомнить: кто же из художников изобразил зимний лес таким, каким он его видит в эту минуту? «Все музеи осмотрю, а дознаюсь обязательно».

Поеживаясь от холода, он усмехнулся: две желтозобые синицы сели на сосну совсем рядом, смахнув крыльями снежную пыль, и, испуганно оглядевшись, начали бойко цвикать, перекликаясь.

«Смелые пичужки!»

Но, взглянув на суровое, озабоченное лицо Артюхова,

на его раненую руку, Матросов сам нахмурился, сдвинул брови.

Артюхов, лежа возле Матросова на еловых ветках, неловко оперся на локоть правой руки, приподняв забинтованную кисть. Намокший от крови бинт обледел. Матросов дивился терпению командира, который будто не замечал своей раненой руки.

— Товарищ комбат, разрешите, я скоренько вам перевяжу, — предложил Матросов. — У меня есть индивидуальный пакет. А то еще гангрена или...

— Не до нежностей, — сердито проворчал Артюхов.

Да, боль все острее жгла его застуженную рану, но во сто крат мучительнее сознание невыполненного боевого приказа. Артюхов нарочно выполз сюда, на самую опушку рощи, чтоб лучше разглядеть укрепления противника. Он неотрывно смотрел сквозь кусты на огромные снежные холмы, под которыми легко угадывались три больших дзота на подступах к деревне Чернушки. Это их бешеный огонь мешал продвижению. Дзоты сейчас молчат и похожи на безобидные сугробы или снежные горки, с каких на салазках катаются детишки.

Артюхов стиснул зубы от щемящей обиды: вот они перед носом, проклятые дзоты! Из пушки в пять минут можно бы разбить их прямой наводкой, а батальон вторые сутки из-за них пройти не может. При малейшем движении наших бойцов дзоты покрывают огнем всю поляну, где ими пристреляна каждая точка. А подавить дзоты нечем. Пушки, видно, и теперь все еще тащат, одолевая лесное бездорожье. И вызвать на дзоты огонь дальнобойных батарей нельзя: слишком сближены с противником боевые порядки. А фашисты зловеще умолкли, — видно, готовят контратаку или подтягивают подкрепления.

Артюхов повернулся к Матросову. Лицо командира за эти дни сильно исхудало.

— Матросов, живо узнай у старшего адъютанта, — может, подтянули хоть одно орудие?

— Есть, товарищ старший лейтенант, — ответил Александр и пополз назад. Начинается новый трудный день.

Он чуть задел ветку; с нее полетели хлопья снега, и сразу же гулко затукал вражеский пулемет, захлопали в ветвях разрывные пули. Желтозобые синицы сорвались

с веток. Одна упала на снег, другая заметалась меж сосен. Матросов на минуту замер, потом пополз, глубже врываясь в снег и стараясь не задевать веток.

Скоро он вернулся. Нет, ни одного орудия не подтянули и едва ли скоро подтянут.

— Еще адъютант старший докладывает... Звонил «хозяин», очень сердится и требует, чтобы мы скорее выполнили боевой приказ. Говорит, что мы задерживаем весь ход наступления.

Артюхов поморщился, кусая губы.

Всегда такой выдержанный, теперь он заметно нервничал, не находя выхода из тупика. Он добровольно принял на себя командование батальоном, когда был тяжело ранен комбат Афанасьев; принял, как велел устав. Теперь от решительных действий его батальона зависит успех всей части.

Матросов выжидающе смотрел на командира. Он, как и все бойцы, был уверен в опытности Артюхова и знал, что зря он не пошлет на погибель ни одного человека.

Но Артюхов избегал смотреть в глаза своему связному, который не раз слышал, как он говорил подчиненным, что безвыходных положений нет. Что ж придумать, чтобы с наименьшими потерями и скорей выполнить боевой приказ?

Командир батальона, наконец, принял решение. Он приказал штурмовым группам автоматчиков блокировать сначала фланговые дзоты — они ближе среднего, и к ним кустарниками легче добраться. Атаковать сперва левый дзот и, когда противник сосредоточит здесь огонь, рывком броситься к правому, а потом штурмовать центральный.

Но едва бойцы двинулись к левому дзоту, как сразу же опять застучали пулеметы всех дзотов.

Матросов с волнением смотрел, как по снегу в кустарнике ползли автоматчики его роты. Некоторые из них недвижно замирали на снегу, остальные ползли все быстрее и быстрее. Вот Щеглов и Суслов вскочили, перебежали под огнем несколько метров, упали, потом уже, несмотря на шквальный огонь, продвигались вперед короткими перебежками, будто вперегонки. За ними следовали другие автоматчики. Почти у самого дзота Суслов взмахнул автоматом и упал. Но Щеглов уже подбежал

к дзоту сбоку и бросил в его амбразуру гранату. Поднялся и раненный в ногу Суслов. Сильно хромая, он взбежал на дзот и бросил гранату в дымовую дыру. На дзот вскочил и Щеглов. Они что-то кричали бойцам, окружавшим дзот.

Матросов увидел в дыму на умолкшем дзоте Щеглова и Суслова и взмахнул варежкой:

— Молодец, комсомол! Здорово, братки!

Улыбнулся и комбат, кривя губы.

Левый дзот умолк, но бойцы залегли под бушующим огнем.

Артюхов приказал штурмовать правый дзот.

Матросов встал на колени; глаза его горели. Ему хотелось туда, в бой. После того как он отбил раненого капитана Афанасьева и сам видел, как враги падали от его пуль, им овладело чувство солдатской удали, отваги; его не покидало приподнятое настроение. Когда бой затянулся у правого дзота, он не вытерпел:

— Товарищ старший лейтенант, разрешите мне туда, — кивнул он на дзот. — Там надо бы перебежками в обход...

— Сиди, не кипятись, — строго взглянул на него Артюхов. — Нужно будет — сам пошлю.

Но вот несколько бойцов сделали именно так, как думал Матросов: перебежками обошли дзот справа, забросали его гранатами. Через минуту уже бойцы овладели и правым дзотом. Быстрота и ловкость привели к успеху.

С бешенством обреченного неистовствовал только центральный дзот. Его три амбразуры били одновременно по фронту и флангам и не давали бойцам продвинуться вперед. Группа лейтенанта Кораблева несколько раз поднималась на штурм дзота, но сильный огонь косящим свинцовым веером покрывал поляну и валил людей, едва они успевали сделать несколько шагов.

За час бойцы продвинулись кустарниками всего на несколько метров. Теперь их отделяла от дзота снежная поляна метров на полсотни, где была пристреляна каждая пядь.

Двигаться дальше было невозможно, и на месте оставаться нельзя. Каждая секунда промедления уносила человеческие жизни. Но не отступить же! Нет, отступ-

ление теперь было бы равно позорной смерти. Ярость бойцов усилилась. Они снова и снова кидаются в атаку, но, неся тяжелый урон, падают и залегают на снег.

Артюхов, разгорячась и забыв про опасность, ползет в кустарнике вперед, правее залегшей цепи Кораблева, чтоб лучше руководить боем. За ним ползет и его связной Матросов. Они залегли за старой обомшелой елью. Дзот уже близко. Хорошо видны его амбразуры, изрыгающие огонь.

Артюхову трудно что-нибудь придумать. Он убедился, как тяжело брать эту лесную крепость. Все чаще бьет вражеская артиллерия, и снаряды ложатся все ближе. За деревней Чернушки поодаль виднеется деревня Черная, и оттуда, из двери церкви, бьет пушка, а с колокольни строчит пулемет.

Артюхов чувствует возрастающую ответственность за исход операции, за судьбу лежащих под огнем людей, которыми он командует.

А минуты текут, время идет, и растет угроза: если приказ сейчас не будет выполнен, потеряют смысл и трудный поход и боевые усилия батальона. И эта неудача и напрасная гибель людей, как знать, может, повлекут целую цепь неудач по фронту.

Вот небо уже заполнено гулом от летящих наших эскадрилий. Вторые сутки журавлиным треугольным строем летят и летят они на запад. Все время доносятся с вражьей стороны раскаты бомбежек. Впереди, справа и слева слышен громовый говор «катюш» и многочисленных орудий. Этот неумолчный гул заметно отдаляется, — наша техника огнем своим все крушит и сметает на пути, наступление развивается. А под Чернушками — заминка, тупик.

Командир батальона нервно кусает губы, прислонившись разгоряченным виском к обледенелой коре ели. Может, его решения ждут штабы дивизий, армий, ждет Кремль? Каждая секунда промедления несет неотвратимую и непоправимую опасность. Что делать?

Матросов понимающе смотрит на командира и с замиранием сердца ждет. Если бы только он мог помочь чем-нибудь этому отважному человеку...

Артюхов принимает решение.

— Шесть автоматчиков ко мне.

Матросов кинулся выполнять приказание. Он еще не

знал, что задумал Артюхов, но его обрадовал твердый голос командира, его ободряющая решительность.

Примечая, куда летят и где хлопают разрывные пули, посланные в него, Матросов ползком и перебежками быстро и ловко добирается до залегшей цепи солдат.

— Ну и жара, хлопцы! Прямо, как ящерка, от пуль увертываешься. — И в который уже раз вслух с благодарностью вспомнил трудные тактические учения в Земцах. Хорош бы он был тут, под огнем, без той спасительной выучки!

Подобравшись к взводному Кораблеву, Матросов передал ему приказание комбата. Кораблев, сидя в воронке, перебинтовывал себе задетую осколком шею.

— Сам отбери людей, — сказал он Матросову. — Знаешь ведь всех.

Да, Матросов хорошо знал людей своей роты и решил отобрать самых умелых и храбрых коммунистов и комсомольцев. И принято ведь так, что в трудных случаях боя командиры говорят: «Коммунисты и комсомольцы, вперед!» Но когда отбирал, произошла минутная заминка.

— Куда, Сашко? — спросил Антощенко, обиженный, что его Матросов не позвал.

— На особое задание.

— Ну, а я ж, по-твоему, инвалид, чи шо? Бери и меня.

— Нельзя, Петро, у тебя нога ранена.

— Та чи ты сдурел? — вспыхнул Антощенко. — Я тымы ногами ще до Берлина дойду!

— Понимаешь, нельзя, — строго ответил Матросов, досадуя, что тратит время на разговоры.

— Так друг же ты мне чи не друг? — почти крикнул Антощенко, и злые слезы блеснули у него на глазах.

Матросов пристально взглянул на друга, понял его неутолимую, жгучую жажду мести за Лесю, за деда Макара, за Украину. Это она, месть, давала ему силы терпеть боль. Что ж, он достоин быть избранным в число шести.

— Ладно, Петро, беру, — отрывисто сказал Матросов. Антощенко улыбнулся:

— Добро, Сашко. Я буду по-комсомольски...

Воронов, Дарбадаев тоже потребовали, чтобы Матросов взял их.

— Не могу, — рассердился Александр. — Приказано только шесть человек...

Артюхов напряженно ждал, считая секунды. Когда автоматчики подползли, он приказал троем:

— Подползите к дзоту вон там, справа, и гранатами — по амбразуре.

— Есть, товарищ старший лейтенант, — ответил Михась Белевич и пополз впереди Костылева и Антощенко.

Автоматчики из штурмовой группы Кораблева, готовые каждый миг ринуться вперед, затаив дыхание смотрели на ползущих товарищей и ждали. Туда же, на друзей, с волнением смотрел и Матросов. Справа, впереди всех полз Костылев, быстро загребая руками, в середине — Петро Антощенко. Он полз, опираясь на колени и приподнимая ступни: нога, видно, причиняла ему острую боль. Но вот Костылев взмахнул автоматом и замер на снегу. Антощенко покосился на него и поспешно пополз дальше. Склонив голову в снег, остался недвижим и Белевич. Теперь полз один Антощенко. Он торопливо забрасывал вперед руки и полз то вправо, то влево, видно, обманывая пулеметчика, и приближался к дзоту.

Матросов ежился от ледяного холодка, охватывающего самое сердце, и ему хотелось всю свою силу влить в каждое движение друга.

Но вот и Антощенко неловко завалился на правый бок, взмахнув рукой, как пловец для нового броска в волны, — и замер. Рука упала на снег.

«Петро, Петро! — мучительно сморщился Матросов, крепко стиснув зубы, чтобы не крикнуть. — Как же я напишу твоей Лесе?»

Теперь все три бойца в светлых маскировочных халатах неподвижно лежали на чистом снегу, окрашивая его кровью.

Смолк и вражеский пулемет, будто выжидая.

Артюхов на секунду закрыл глаза: люди у этого дзота пока гибнут зря. И миновать нельзя это проклятое место.

Но бледное лицо Артюхова опять приняло упрямое выражение. Он повернулся к ожидающим бойцам.

— Приказ ясен?

— Ясен! — ответили все трое.

— Ползите еще правее. И живо!

— Есть ползти! — разом сказали три комсомольца.

Макеев даже чуть подмигнул Матросову: знай, мол, наших, — чем совсем озадачил Александра. Пойми его! То все хныкал, ворчал, жалуясь на трудности, а теперь охотно идет на опасное дело. Макеев и пополз впереди других, видно, торопясь скорей выполнить приказ. Матросов с надеждой пристально смотрел теперь на него.

— Правее, Макеша, правей! — страстно шептал Александр.

Но Макеев почему-то полз напрямик, на виду у гитлеровцев.

— Что он делает? — возмутился Артюхов. — Хочет, чтобы все его видели? Кому нужна такая дурацкая храбрость?

Матросов даже вздрогнул от страшной догадки: Макеев хочет доказать, что он совсем не такой, каким его все считали, что в минуту опасности он — герой.

Опять яростно заревел вражеский дзот. Макеев даже вскочил было и побежал к дзоту, но тут же был скошен пулями и упал.

— Дурак! — мучительно простонал Артюхов.

Через несколько минут были сражены и остальные два бойца.

Дзот не утихал. Фашисты-пулеметчики точно злорадствовали. Неумолчно хлопали пули, все чаще раскаливалось небо, и раскатисто ревел бор от взрывов.

Артюхов и Матросов переглянулись. Холодные росинки пота проступили на лбу командира. Он сдвинул на затылок сивую цигейковую ушанку, и от виска до виска лоб пересекли морщины, которых раньше Матросов не видел. Ноздри и запекшиеся губы комбата вздрагивали.

Матросов часто дышал, будто ему не хватало воздуха, глядел на командира и с трепетом ждал. Все понятно: настала самая решительная минута боя. Командира и связного угнетала одна мысль: приказ не выполнен, бесцельно гибнут бойцы, под угрозой и жизнь остальных.

Матросов нахмурил темные брови. Суровая решимость легла тенью на его юное обветренное лицо.

— Теперь мне разрешите, — сказал он тихо, но требовательно.

Артюхов взглянул на Матросова без обычной командирской строгости. Лицо его даже посветлело от теплой отеческой улыбки, и на миг он забыл про окружающий адский грохот. Он никогда не думал, что так трудно бу-

дет оторвать от себя этого шустрого паренька, который стал роднее сына.

«Что смотрите? — говорили чуть прищуренные ясные глаза Александра. — Опасно, да? Могу не встать, как и те шесть? Знаю. Но ждать больше нельзя — и я иду».

И командир молча кивнул ему:

«Иди, Сашок. Надо».

Матросов пополз еще правее, кустарниками, точно бы и не к дзоту. Плотно припадая к снегу, он ловко загребал руками и быстро двигался вперед.

Старшина Кедров узнал Матросова в этой быстро скользящей по снегу фигуре в белом маскировочном халате и удивился:

«Куда, куда он один, если не может весь батальон?»

За движением Матросова с волнением следили десятки людей, лежащих под огнем и готовых броситься вперед при первой возможности. Только бы дополз! Доползет ли? Или упадет на снег, как те шесть?

Он и сам понимал и чувствовал: на него с надеждой смотрели все друзья, бойцы, командиры — его фронтовые учителя: и любимый командир Артюхов, и старый большевик сибиряк Кедров, и комсомольский вожак Буграчев, и Воронов, и Дарбадаев. И еще смотрели на него все, кто в жизни чистой рукой коснулся его сердца, поверил в благородство его души: и днепровский пасечник дед Макар, и учительница Лидия Власьевна, и воспитатель Трофим Денисович, и синеглазая Лина. Ему казалось, что сама Родина смотрит сейчас на него

Вот он уже прополз полпути. Фашисты или не замечали его, или нарочно подпускали ближе. Пулемет их бил куда-то влево.

Матросов мельком взглянул туда и чуть не вскрикнул от удивления, радости и тревоги: окровавленный Антощенко тоже полз к дзоту. По нему и бил пулемет. Движения Петра были неловки, он все заваливался на бок, падал лицом в снег, но, осыпаясь пулями, без каски и без автомата, упрямо полз вперед. Весь израненный, он, видно, и сам не верил, что доползет до дзота, но полз и полз на виду у врагов, презирая их огонь.

Какая сила, какие помыслы влекли вперед этого простого солдата? Он ведь, кажется, уже сделал все, что мог. Что он еще может противопоставить встречному огню, израненный и безоружный?

Изумленное лицо Матросова просветлело: «Петро, ты идешь на гибель, чтобы отвлечь на себя огонь вражеского пулемета, чтобы помочь мне и всем нам в общем деле! Петруся, друже верный. . .»

Александр стал ползти быстрее. Еще метр, еще два. Вот доползти бы до той маленькой елочки, что под снежной шапкой. Там начинается мертвое пространство, где пули уже не заденут его. Помоги, друже, еще немного.

Но гитлеровцы повернули дуло пулемета к Матросову, и пули стали решетить снег то впереди него, то позади. Матросов замер, выжидая. Вот-вот могут задеть, проклятые. Если б была у него броня из крепчайшей стали, — напрямик пошел бы, а то у него такое же тело, как у тех друзей, что полегли на снегу.

Матросов совсем окоченел; его усталое, обессилевшее от напряжения тело дрожало. Как трудно оторвать голову от земли! Может быть, отползти за кусты и переждать опасность?

Но он тут же подавил эту мысль. Люди лежали под огнем на снегу и ждали его помощи. И он поможет им, чего бы это ни стоило.

Александр стал хитрить с фашистскими пулеметчиками. Когда струю огня отводили от него, он, чуть приподняв автомат, быстро полз вперед; когда пули ложились близко, он замирал, чтобы сойти за одного из убитых.

Жесткий комочек снега с задетой ветки упал за воротник и неприятно охлаждал тело, но стряхнуть его нельзя. И на задубелые пальцы подышать некогда. Каждый миг, может, равен векам. Раньше он много думал, кем быть. В эту минуту ему хотелось стать быстроскрылой птицей, чтобы скорей налететь на врага.

Дзот уже близко — на бросок гранаты; и Александр, лежа на боку за кочками и кустиками можжевельника, вытащил гранаты; став на колено, бросил их одну за другой. Они взорвались у самого дзота. Пулемет на минуту смолк, потом опять заработал. Но Александр был в выигрыше: пока рвались гранаты и длилась заминка, он сделал несколько прыжков вперед и снова упал на снег. Он только на миг увидел уже недвижно лежавшего на снегу иссеченного пулями Антощенко с откинутой рукой, вспомнил его улыбку и слова: «Я буду по-комсомольски. . .»

Александр сжался в комок, замер. Он тоже будет идти на врага по-комсомольски. Теперь надо действовать еще осмотрительнее. Только не оледенели бы совсем коченеющие пальцы на правой руке. Он мельком взглянул на облепленную снегом варежку и вспомнил Лидию Власьевну. В прощальную минуту, когда учительница дарила ему эти самодельные варежки, она сказала: «Воюй, сынок, за Родину так, чтобы нам, твоим учителям, не было совестно за тебя. » И почудилось ему, будто она находится тут же, рядом, склоняется над ним и спрашивает: «Тяжело тебе, Сашенька?» И он мысленно отвечает: «Тяжело, Лидия Власьевна. Очень тяжело. Но я все исполню, как надо...»

Неизъяснимая теплота согрела все тело Александра. И снова пополз он, увертываясь от огня, прячась за низкими кустиками и кочками, пополз так быстро и ловко, как учил его старшина Кедров.

Дзот был уже совсем близко.

Александр приложился к автомату и дал по амбразуре длинную очередь. В дзоте грянул взрыв, и густой дым хлынул из амбразуры. После узнали: взорвалась мина от попавших в нее пуль.

Александр поднялся во весь рост, вскинул над головой автомат и крикнул лежащим на снегу и нетерпеливо ждущим атаки бойцам:

— За Родину! Вперед! — и сам рванулся к дзоту.

Бойцы мгновенно вскочили и тоже бросились вперед.

— Ура-а! Ура-а! — загремело над полем боя.

На поляне приподнялся на руках тяжело раненный Белевич. Он не мог ползти, но горящие глаза его тоже были устремлены вперед.

Умолкший было пулемет в дзоте опять заработал и заставил бойцов снова залечь. Упал Матросов. Но, видно, прежней уверенности и крепости в руках пулеметчика уже не было.

Александр лежал впереди сраженных товарищей так близко от дзота, что его обдавало пороховым дымом. Теперь он был особенно осмотрителен. Малейшее необдуманное движение могло погубить его, но и медлить опасно. Он должен действовать только наверняка.

Под правой щекой таял колючий снег, и ледяной холодок проникал в сердце. И билось оно так сильно, словно вздрагивал весь мир.

Трудно Александру одному на этом открытом смертном поле. Почти на виду у врагов он лежал тут, на этой заснеженной поляне, перед огнедышащей, как пасть чудовища, амбразурой дзота. Любая пуля теперь могла скосить его.

И пронеслись ясные и быстрые, как блеск молнии, мысли о том, что наполняло беспокойным, но счастливым светом всю его жизнь. Он вспомнил сказку, отчего цветет полевой мак; вспомнил солнечный пахучий простор на училищном холме, синеглазую девушку — Лину.

Еще помнил Александр: сотни глаз с надеждой устремлены на него и ждут. Ждут города и села, ждет народ...

И торжествующей отвагой зажглось его сердце, неоценимой силой налились мышцы.

Он выждал момент, когда фашист отвел от него пулемет. Пулеметчик стал бить по залегшим бойцам.

Александр вскочил, мгновенно обшарил свое боевое хозяйство, но у него уже не было ни одной гранаты и опустел автоматный диск. Что делать, как скорее и лучше исполнить свой воинский долг?

Обветренное, почти детское лицо его озарила богатырская решимость. Теперь он был сильнее огня, сильнее страха смерти.

Стремительными прыжками он побежал вправо, как бы мимо дзота, потом, почти поравнявшись с ним, резко свернул влево и, подавшись вперед, подбежал к задымленной, черной, изрыгающей огонь амбразуре и грудью своей закрыл ее.

Пулемет захлебнулся. На миг стало так тихо, что слышно было, как шумят сосны да звенит в ушах только что утихший грохот боя.

Бойцы замерли в оцепенении, дивясь величию подвига собрата по оружию ради их жизни и победы. Потом они вскочили и, как по команде, хотя команда не успела последовать, бросились вперед, к дзоту. Теперь путь к нему был открыт.

И нечем стало дышать Александру Воронову. Он рванул ворот гимнастерки и на бегу закричал:

— Впере-о-од!

На все поле боя раздавался голос Дарбадаева:

— За Матросова — вперед!!

Все стремительно бежали к дзоту. Туда же полз,

часто падая, и окровавленный Михась Белевич и тоже хрипел:

— Вперед! Вперед!

Через минуту в дзоте закончилась рукопашная схватка, и враги лежали на куче гильз, среди обломков оружия.

Бойцы устремились к деревне Чернушки, выбили фашистов и оттуда погнали их дальше — на запад.

К дзоту подбежали капитан Буграчев и парторг роты старшина Кедров.

Александр Матросов лежал у амбразуры, и кровь его под солнцем алела на снегу ярко, как полевой мак, о котором когда-то рассказывал ему дед-пасечник. Буграчев стиснул вздрагивающие губы и стал выполнять суровое воинское правило: расстегнув белый маскировочный халат сраженного комсомольца, из левого бокового кармана гимнастерки он вынул то, что у самого сердца носил Александр Матросов, — комсомольский билет с именем Ленина. Буграчев, став на колено и расправив на полевой сумке комсомольский билет, наискось написал на нем:

«Лег на огневую точку противника и заглушил ее, проявил героизм».

Потом стали искать остальные документы. Вытащили из кармана фотокарточки девушки со светлыми волосами и неизвестного паренька — может, названного брата Тимошки. Еще вынули из кармана телогрейки две ветки с распускающимися почками — тополевою и ракитовую. В походе Матросов все хотел спросить старшину, почему они распускаются в такую раннюю пору.

Ветки попросил старшина. Нюхая пахучие тополевые почки и глядя серебристый пушок ракитовых, Кедров глухо сказал:

— Жизнь любил Сашок...

И положил ветки под каску, чтобы не сломались.

Потом, поправив усы, он взял могучими руками тело Александра и, как любимого сына, бережно положил его лицом к небу на плащ-палатку, разостланную на сугробе.

— Солдату, сынок, на снегу, как на лебяжьем пуху.

И, нагладевшись, осторожно закрыл огрубелыми пальцами его недвижные голубые, как небо, глаза.

Глава XXI

МАТРОСОВЦЫ

Рота автоматчиков выстроилась, чтобы отдать воинские почести герою. Люди только что вышли из боя. Одежда их испачкана глиной, изодрана осколками, пулями и пропахла копотью и пороховой гарью. Еще слышен гул боя и земля вздрагивает от взрывов. Но воспаленные суровые глаза друзей неотрывно смотрят в эти последние секунды на Александра Матросова. Выражение его просветленного тихой улыбкой лица будто говорит: «Ну вот, я сделал все, что смог».

Тяжело шагая, подходит Артюхов с подвязанной рукой и молча смотрит на своего связного. Не видно ни капельки крови, — смертельная рана тщательно прикрыта. Рана сердца, ибо сердцем своим Александр заслонил друзей от губельного вражеского огня. И сдается, скажи этому, будто уснувшему пареньку: «Есть важное, но опасное задание», — и он, неустрашимый, сразу проснется, блеснет быстрыми голубыми глазами: «Мне разрешите...»

Тяжело дышит командир; трудно ему начать свое краткое прощальное слово.

Белоснежные редкие облака плывут и плывут над головой. На истоптанном снегу недавнего поля боя валяются обломки оружия. Воронки с вывороченным суглинком зияют, как раны. Но там, где не было боевых схваток, сверкание снега под солнцем слепит глаза.

Наконец командир заговорил, и голос его тверд, как

в бою. Он говорит о великом подвиге, совершенном рядовым Александром Матросовым.

— Сегодня двадцать пятая годовщина нашей славной Красной Армии, единственной армии в мире, которая всегда боролась за освобождение человека, за его мирный созидательный труд и теперь в жестокой борьбе отстаивает нашу Родину, ее великие идеалы, мировую культуру от фашистского варварства... В день годовщины нашей армии товарищ Матросов принес ей самый драгоценный дар — свою жизнь. Грудью, сердцем своим закрыв он от врага своих друзей, всех нас.

Потом говорит седоусый парторг Кедров, и голос его дрожит:

— Погиб пламенный советский патриот — Матросов... Его вскормила, вспоила и научила наша партия, мать-Родина... Научила любить народ больше своей жизни. И такой веселый был парнишка... — вдруг сбился старик с торжественно-мужественного тона, губы его задрожали, и он умолк.

Говорят друзья Александра — комсорг Брагин, Воронов, Дарбадаев, и каждый клянется, что будет таким же беззаветно преданным сыном своей Родины, как Саша Матросов, и так же, как он, будет бить врага бесстрашно, по-комсомольски, по-матросовски.

На опаленной щеке сандружинницы дрожит слеза. Но Валя стоит в строю с высоко поднятой головой.

Недолго солдаты говорят у могилы: надо в бой.

Вся рота становится на колени, прощаясь с героем.

Троекратно гремят ружейные залпы.

Воины засыпают могильный холмик землей и чистейшим снегом и снова идут в сражение.

Только один боец вернулся в Большой Ломоватый бор: посыльный нес в политотдел донесение о подвиге рядового Александра Матросова. А ночью полевой телеграф, наряду с боевыми оперативными сводками, сообщал об этом событии штабам корпуса, армии, фронта.

Журнал боевых действий заполнялся скупыми строками:

«В районе Западной Двины, в Земцах, получили пополнение из курсантов Краснохолмского пехотного училища. В их числе прибыл рядовой Матросов. 23 февраля 1943 года во взаимодействии с другими соединениями корпуса перешли в наступление под городом Локня с за-

дачей выйти на линию железной дороги Локня — Насва. В результате этих боевых действий были разгромлены и частично уничтожены: 2-я авиадесантная пехотная дивизия немцев, 19-я, 93-я и 41-я пехотные дивизии, 20-я танковая дивизия, 113-й полк 285-й пехотной дивизии СС. В этих боях совершил великий подвиг мужества и героизма красноармеец 42-го батальона 19-летний комсомолец Александр Матросов. Второй батальон имел задачу наступать на деревню Чернушки и овладеть ею. Противник из дзота открыл сильный пулеметный огонь, не давая продвигаться нашей пехоте. Товарищ Матросов, получив приказ уничтожить укрепленную огневую точку противника, подполз и своим телом закрыл амбразуру дзота. Пулемет врага замолчал. Пехота пошла вперед и овладела Чернушками. Товарищ Матросов погиб смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками...»

До сердца необъятной страны, до Кремля, долетела скорбная и гордая весть о подвиге рядового советского воина.

Президиум Верховного Совета Союза ССР посмертно присвоил Александру Матросову звание Героя Советского Союза.

Батальон, где служил Матросов, стал гвардейским полком.

На весь Советский Союз прозвучали слова приказа:

**ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
№ 269**

8 сентября 1943 г.

г. Москва.

23 февраля 1943 года гвардии рядовой 254 Гвардейского стрелкового полка 56 Гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за дер. Чернушки, прорвавшись к вражескому ДЗОТу, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. гвардии рядовому тов. Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии.

Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова приказываю:

1. 254 Гвардейскому стрелковому полку 56 Гвардейской стрелковой дивизии присвоить наименование:

«254 Гвардейский стрелковый полк имени Александра Матросова».

2. Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова зачислить навечно в списки 1-й роты 254 Гвардейского полка имени Александра Матросова.

Народный Комиссар Обороны
Маршал Советского Союза

И. Сталин.

Гвардейцы-матросовцы перед новым алым шелковым знаменем, на котором золотыми буквами вышито имя их однополчанина, поклялись воевать по-матросовски. И многократно в боях они сдержали эту клятву.

...Жаркий бой идет за высоту, господствующую над местностью. Три раза отважные гвардейцы поднимаются на штурм высоты, и каждый раз враг прижимает их огнем к земле. Тогда встает друг Матросова комсорг полка Александр Воронов:

— Товарищи, если кому станет трудно, если кому станет страшно, вспомните Матросова. За мной, друзья, вперед!

И все как один поднялись гвардейцы на штурм и сбили фашистов с высоты — по-матросовски.

...Вражеский танк идет прямо на пулеметчика матросовского полка Павлова. Фашисты бегут за танком и сидят на нем. Павлов пулями косит гитлеровцев. Будто ветром их сдувает с танка. Как гора, танк наплывает на матросовца, но он, не дрогнув, до последнего вздоха все бьет и бьет из пулемета — по-матросовски.

... Бои идут за Пушкинский заповедник на Псковщине. Село Михайловское, Тригорское, парки — здесь каждый куст и каждая пядь земли освящены памятью великого поэта. Вот уже прорвана оборона врага, наступ-



ление ширится. Но на одном участке высоты бьет фашистский пулемет и не дает продвинуться. Тогда к пулемету бежит гвардеец Трошин и, ловко увертываясь от пуль, петляет, падает, встает и, подбежав на двадцать метров, гранатой взрывает огневую точку.

— За Матросова, вперед! — кричит он.

Гвардейцы рванулись вперед, обогнали Трошина. Смахнув рукавом пот, заливающий глаза, бежит с ними и Трошин, бьет врага — по-матросовски.

...Гитлеровцы идут в атаку во много раз превосходящими силами. Кропачев сдерживает их огнем своего «максима». Вот уже отбиты четвертая, пятая атака. Но судорога вдруг стала сводить тело пулеметчика. Кровь от раны заливает одежду; мутится в глазах гвардейца, но Кропачев знает: если утихнет пулемет, трудно станет его товарищам, и продолжает бить из пулемета.

Шесть атак отбили гвардейцы. Но вот осколком вы-

веден из строя пулемет Кропачева. Теперь враги могут смять гвардейцев. Кропачев, безоружный, окровавленный, встает и кричит:

— Матросовцы, вперед!

И бросаются за ним на врага люди, сбивают и гонят фашистов. Подобрал в бою ручной пулемет, бежит и Кропачев и бьет из пулемета. И еще раз раненный, он бежит и стреляет, пока гвардейцы выполняют боевую задачу, — по-матросовски.

...Гвардеец Дубницкий с несколькими бойцами пробрался в тыл противника и занял важную высоту, парализовав вражескую оборону на этом участке. Четыре дня и ночи пытались гитлеровцы взять эту высоту обратно — и не могли. На высоте под конец остался в живых только Дубницкий и держал высоту один. И когда была установлена с высотой радиосвязь, командир стал благодарить защитников высоты:

— Спасибо, гвардейцы! Держитесь, шлю подмогу.

— Благодарю за помощь, — ответил Дубницкий. — Но мы, комсомольцы, держимся крепко.

— А сколько вас?

— Матросов да я.

Уфимской детской трудовой воспитательной колонии присвоено имя ее бывшего воспитанника — Александра Матросова, и в альбом героев войны Тимофей Щукин поместил портрет своего названного братишки. Все воспитанники колонии поклялись учиться, работать и, когда придется, воевать — по-матросовски.

...В цехах заводов и фабрик, на колхозных полях необъятной страны комсомольцы в труде и борьбе берут пример с Матросова.

...Под знаменем с его именем гвардейцы-матросовцы били врага под Ельней, Смоленском, Оршей, освобождали от фашистских захватчиков Белоруссию, Латвию. На руках неся пушки, они прошли считавшиеся непроходимыми болота и топи, лесные чащобы Лубанской низменности, взяли Ригу, сбросили гитлеровцев в море.

В день Победы, в день всенародного ликования, по Красной площади перед древними стенами Кремля, перед мавзолеем Ленина, с чьим именем армии шли к победе, торжественно пронесли однополчане Матросова свое победоносное гордое знамя.

Кремлевские куранты отзванивают вечерний час. И в это время каждый день во всех частях и подразделениях Советской Армии люди выстраиваются на поверку.

По сигналу горниста «повестка» выстраивается на поверку и первая, матросовская, рота. Вот солдаты замерли в строю. Старшина называет первое имя в списках полка:

— Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов.

Тихо. Так тихо, что слышно дыхание бойцов. И в торжественной тишине звучит твердый голос правого фланга:

— Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость нашей Родины.

Так вечно будут вспоминать в полку благородный подвиг рядового Матросова. Да, его нет на поверке, но в светлых помыслах, в сердце каждого солдата живет его бессмертный образ. О нем знают в народе стар и мал. Художники пишут его портреты, поэты воспевают его в поэмах, композиторы — в симфониях, кантатах. Его имя присвоено кораблям и поездам, дворцам культуры и паркам, школам и улицам, пионеротрядам и рабочим бригадам. Ему воздвигают памятники. Легенды и песни о нем слагает народ.

Далеко за пределами нашей Родины — в Китае, Корее, Вьетнаме, Малайе и всюду, где народы боролись и борются за свою свободу и независимость, верные сыны этих народов берут пример с простого советского юноши Александра Матросова и воюют так же, как он, умело, отважно, бесстрашно, а если того требует дело, — повторяют его бессмертный подвиг, как сделали это «китайский Матросов» Хуан Цзи-гуан, кореец Ким Чон Квор и вьетнамец Тран Ку.

...Яркий летний день. Слепящие лучи солнца заливают мирные поля и леса. Дремотно шумит под солнцем Большой Ломоватый бор. Воздух напоен запахами трав, цветов и сосновой смолы. Лесными тропами и дорогами от разных городов и сел, далеких и близких, идут к деревне Чернушки отряды молодежи, идут и поют песни о голубоглазом пареньке, рожденном днепровскими про-

сторами, о юноше, отдавшем свою молодую прекрасную жизнь за мир и счастье людей на земле:

И когда тяжело нам будет,
Враг захочет нас вспять повернуть,
Вспомним мы, как Матросов грудью
Проложил нам к победе путь.
И друзей его, старых и новых,
Враг не сможет упорство сломить.
Мы в любую минуту готовы
Его подвиг святой повторить.

Песня затихает. Девушки и юноши в праздничных нарядах подходят к зеленому холмику с красной звездой над алым обелиском и кладут на холмик цветы и венки. Много цветов кладут они, и цветочный холм растет, растет... И каждый юноша и каждая девушка дают здесь нерушимую клятву — в труде и в бою быть такими же, как был Саша Матросов.

Шумит лес. И летит под солнцем вечно молодая песня.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

Глава I. Алмазная гора	5
Глава II. Вчерашний день	9
Глава III. Почему цветет мак	15
Глава IV. Днепровские огни	28
Глава V. Крутые повороты	33
Глава VI. Новая семья	40
Глава VII. «Осколок старого мира»	50
Глава VIII. Первая операция	54
Глава IX. Суд друзей	58
Глава X. Легко ли бить друга?	63
Глава XI. Пути к звездам	68
Глава XII. Необыкновенная ночь	77
Глава XIII. «Трудно, но интересно»	84
Глава XIV. Тяжелое испытание	100
Глава XV. «Только вперед!»	104
Глава XVI. Урок истории	115
Глава XVII. Война	125
Глава XVIII. Все для фронта!	130
Глава XIX. Прощай, дорогой человек!	138
Глава XX. Учительница Лидия Власьева	141
Глава XXI. Дружба	144
Глава XXII. Срыв	151
Глава XXIII. Сердце заговорило	157
Глава XXIV. Закалка	162
Глава XXV. Любовь	170
Глава XXVI. «Прости-прощай!»	183

Часть вторая

Глава I. Военное пехотное училище	189
Глава II. Важное событие	199
Глава III. На фронт!	204
Глава IV. Фили	211
Глава V. «Нужны самые смелые»	216

Глава VI. В землянке	223
Глава VII. Фронтовые будни	232
Глава VIII. «Добру молодцу — рост и сила»	240
Глава IX. Замполит	247
Глава X. Комсомольцы	257
Глава XI. На марше	263
Глава XII. Беженцы	276
Глава XIII. Кто настоящий друг	282
Глава XIV. Письма	294
Глава XV. В разведке	300
Глава XVI. Большой Ломоватый бор	308
Глава XVII. Слово — клятва	313
Глава XVIII. Бой за Черную рощу	319
Глава XIX. Спаси комбата!	325
Глава XX. За Родину!	330
Глава XXI. Матросовцы	343

ст
ж 91

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Журба Павел Терентьевич
«АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ»

Ответственный редактор Г. В. Антонова. Художник-редактор Ю. Н. Киселев. Технический редактор Н. М. Сусленникова. Корректоры А. К. Петрова и Л. К. Маляко. Печ. л. 22 + 5 вклеек. Усл. печ. л. 18,58. Уч.-изд. л. 17,32. М-35044. Формат 84 × 108¹/₃₂. Тираж 75 000 экз. Подписано к набору 21/III 1958 г. Подписано к печати 2/VI 1958 г. Заказ № 1132. Цена 6 р. 35 к. Ленинградское отделение Детгиза. Ленинград, наб. Кутузова, 6.

2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства просвещения РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7.

Отпечатано с готовых матриц в типографии № 4 УПП Ленсовнархоза. Ленинград, Социалистическая, 14.

6 р. 35 к.

30 м / ш 6